

ЛЕСЛИ ХАЗЛТОН

ПЕРВЫЙ МУСУЛЬМАНИН

СОДЕРЖАНИЕ

ЧАСТЬ 1 СИРОТА	2
Первая глава.....	2
Вторая глава.....	9
Третья глава	20
Четвертая глава.....	26
Пятая глава.....	36
Шестая глава	48
Седьмая глава.....	58
ЧАСТЬ 2 ИЗГНАНИЕ	66
Восьмая глава.....	66
Девятая глава.....	76
Десятая глава	84
Одиннадцатая глава	94
Двенадцатая глава	102
Тринадцатая глава.....	112
Четырнадцатая глава	121
Пятнадцатая глава.....	132
Шестнадцатая глава.....	142
Семнадцатая глава	150
ЧАСТЬ 3. ПРЕДВОДИТЕЛЬ.....	170
Девятнадцатая глава	170

ЧАСТЬ 1 СИРОТА

Первая глава

Если бы он не стоял на горе, в одиночестве предаваясь размышлениям, можно было бы сказать, что в нём нет ничего необычного. Самые ранние источники описывают его с раздражающей неопределённостью для тех, кому необходимы подобные образы. «Он был ни высоким, ни низкорослым», говорят они. - «Он был ни темнокожим, ни светлокожим, ни худым, ни полным». Но иногда сквозь эти описания просачиваются конкретные детали, и они удивляют. Казалось бы, человек, проводящий ночь за ночью в одиночной медитации, должен быть измождённой, аскетичной фигурой, но вместо бледности и слабости у него были круглые, румяные щеки и здоровый цвет лица. Он был крепко сложен, почти с бочкообразной грудной клеткой, что, возможно, частично объясняет его характерную походку, всегда «слегка наклонённую вперёд, как будто он спешил к чему-то». И, должно быть, у него был жёсткий затылок, потому что люди вспоминали, что, поворачиваясь посмотреть на кого-то, он разворачивал всё тело, а не только голову. Единственной чертой, которая делала его традиционно красивым, был его профиль: загнутый, как у ястреба, нос, долгое время считавшийся признаком знатности на Ближнем Востоке.

На первый взгляд можно было бы заключить, что он был обычным мекканцем. В свои сорок лет, сын, никогда не видевший своего отца, добился в жизни куда большего, чем могло казаться возможным. Ребёнок, родившийся чужаком в своём собственном обществе, наконец завоевал признание и, несмотря на все трудности, построил себе хорошую жизнь. Он был обеспечен, счастливо женат, занимался торговыми делами и пользовался уважением сверстников. Да, он не был среди тех, кто вершил судьбы процветающего города, но может быть поэтому ему доверяли представлять их интересы. Его считали бескорыстным, то бишь человеком, который мог рассмотреть предложение или спор по существу и принять соответствующее решение. Он нашёл себе прочное место в мире и заслужил право в среднем возрасте отдохнуть и насладиться своим ростом в обществе. Так что же он делает здесь, в одиночестве, на одной из гор, окружающих спящий город?

Почему счастливо женатый мужчина изолировал себя таким образом, стоя в медитации ночью?

Подсказка, возможно, крылась в его одежде. К этому моменту он мог бы позволить себе сложные вышитые шелка богатых, но его одежда была скромной. Его сандалии были изношены, кожаные ремешки выгорели на солнце и стали светлее его кожи. Его тканая вручную туника почти истерлась, если бы не был так тщательно заштопан, и эта туника едва ли могла защитить его от ночного холода в высокогорной пустыне. И всё же что-то в том, как он стоял на склоне горы, делало холод несущественным. Лёгкий наклон вперёд, словно он противостоял невидимому ветру, придавал его фигуре ощущение человека, который существует в постоянном напряжении, будто находясь в противоречии с самой землёй.

Конечно, с высоты мир смотрится иначе. Здесь можно найти покой в тишине, где лишь ветер, пронизывающий скалы, составляет тебе компанию, вдали от раздоров и сплетен города, вдали от споров о деньгах и власти. Здесь человек — всего лишь точка на фоне горного пейзажа, его разум свободен думать, размышлять, а затем, наконец, перестать думать, перестать размышлять и погрузиться в необъятность.

Присмотревшись, можно заметить тень одиночества в уголках его глаз, нечто, напоминающее о том, что он когда-то был чужаком, как будто его преследовала мысль, что всё, чего он добился долгими усилиями, может быть отнято в любой момент. Возможно, тот же отблеск уязвимости и решимости проявлялся в его губах, слегка приоткрытых, когда он шептал в темноте. И тогда, возможно, вы бы спросили, почему ему недостаточно быть довольным. Может быть, именно потому, что его положение было так тяжело завоёвано, он не мог воспринимать его как данность, не мог чувствовать себя в нём уверенно? Но что могло бы дать ему желанное? Чего он искал? Был ли это внутренний покой? Или что-то большее — проблеск, намёк на нечто большее?

Одно можно сказать уверенно: по словам самого Мухаммада, он был совершенно не готов к тому, что пережил в ту ночь 610 года. Человек встречает божественное: для рационалиста это вопрос не факта, а возжеланной выдумки. И если бы Мухаммад повёл себя так, как можно было бы ожидать после его первого откровения на горе Хира, это было бы легко назвать просто сказкой, придуманной ведомый благочестием и верой. Но он не повёл себя таким образом.

Он не спустился с горы, словно паря в воздухе. Он не бежал вниз, крича «Аллилуйя» или «Благословен Господь». Он не излучал света и радости. Не было ни ангельских хоров, ни небесной музыки. Ни восторга, ни экстаза, ни золотого сияния вокруг него. Ни осознания своей абсолютной, предначертанной,

неоспоримой роли посланника Бога. Не было даже полного откровения Корана — лишь несколько коротких аятов. Короче говоря, Мухаммад не сделал ничего такого, что казалось бы необходимым для создания легенды о человеке, который совершил невозможное и пересёк границу между этим миром и иным, — ничего такого, что облегчило бы задачу скептикам, позволив им обвинить его в обмане, выдумке или в личных амбициях.

Напротив: он был убеждён, что то, с чем он столкнулся, не могло быть реальностью. В лучшем случае это было галлюцинацией: обманом зрения или слуха, или игрой его собственного разума против него. В худшем случае — одержимостью, и его захватил злой джинн, дух, стремящийся обмануть его, даже уничтожить. Он был настолько уверен, что стал *маджнун* (буквально «одержимым джинном»), что, оказавшись живым, первое, что он хотел сделать, — это покончить с собой, броситься с самой высокой скалы и прекратить ужас того, что он пережил, раз и навсегда.

Так что человек, спустившийся с горы Хира, дрожал не от радости, а от первобытного страха. Его переполняли не уверенность, а сомнения. Он был уверен только в одном: что бы это ни было, это не предназначалось ему. Не мужчине среднего возраста, который, возможно, надеялся лишь на простой момент благодати, а вместо этого получил этот ослепительный груз откровения. Если он больше не боялся за свою жизнь, то всё ещё боялся за свой разум, болезненно осознавая, что слишком много ночей в одиночной медитации могли подтолкнуть его к краю безумия.

Что бы ни произошло там, на горе Хира, чисто человеческая реакция Мухаммада, возможно, является самым убедительным аргументом в пользу исторической реальности этого события. Независимо от того, считаете ли вы, что слова, которые он услышал, пришли изнутри него самого или извне, очевидно, что Мухаммад пережил их с такой силой, что это потрясло его представление о себе и своём мире. Страх был единственно разумной реакцией. Страх и отрицание. И если эта реакция кажется нам неожиданной, даже шокирующей, это лишь отражение того, насколько мы введены в заблуждение стереотипным образом экстатического мистического блаженства.

Отбросьте на мгновение такие предвзятые представления, и вы, возможно, увидите, что страх Мухаммада говорит о реальном переживании. На самом деле, он звучит до боли человечески — слишком человечески для некоторых, например, для консервативных мусульманских богословов, которые утверждают, что упоминание о его попытке убить себя не должно даже обсуждаться, несмотря на

то, что это записано в самых ранних исламских биографиях. Мусульманские богословы настаивают, что Мухаммад никогда не сомневался ни на мгновение, не говоря уже о том, чтобы впасть в отчаяние. Требуя совершенства, они не могут терпеть обычные человеческие несовершенства.

Возможно, именно поэтому так сложно понять, кем на самом деле был Мухаммад. Чистота совершенства отрицает сложность прожитой жизни. Для мусульман всего мира Мухаммад — это идеальный человек, пророк, посланник Бога, и хотя в Коране ему снова и снова велют говорить: «Я всего лишь один из вас», — благоговение и любовь не могут удержаться от желания укутать его в серебро и золото. К нему испытывают чувство собственнической привязанности, яростной заботы, которая становится ещё сильнее в то время, когда сам ислам находится под столь пристальным вниманием на Западе

Действует закон непреднамеренных последствий. Идеализируя кого-то, мы тем самым, в некотором смысле, обесчеловечиваем, демонизируем его. Несмотря на миллионы, если не миллиарды написанных о Мухаммаде слов, может быть сложно ощутить его как реального человека. Чем больше вы читаете, тем сильнее может становиться чувство, что, хотя вы, возможно, многое узнали о Мухаммаде, вы всё ещё не знаете, кем он был. Кажется, что он почти задушен под тяжестью накопленной массы слов.

Хотя легенды о Мухаммаде часто бывают величественными, они, как и любые легенды, скрывают больше, чем раскрывают, превращая его скорее в символ, чем в человека. Даже несмотря на то, что ислам стремительно приближается к христианству как к крупнейшей мировой религии, мы до сих пор имеем мало реального представления о человеке, которому в Коране трижды велено назвать себя «первым мусульманином». Его жизнь — одна из самых значительных в истории, но, возможно, именно из-за символической силы одного только его имени (или, наоборот, благодаря ей) она остаётся во многом неисследованной.

Как получилось, что человек, которого в детстве общество оттолкнуло на обочину («человек без значения», как его называют противники в Коране), смог перевернуть свой мир? Как младенец, отправленный прочь от своей семьи, вырос и переосмыслил саму концепцию семьи и племени, превратив её в нечто гораздо большее — *умму*, народ или общину ислама? Как торговец стал радикальным мыслителем, переосмыслившим как Бога, так и общество, бросив прямой вызов установленному социальному и политическому порядку? Как человек, изгнанный из Мекки, превратил своё изгнание в новый и победоносный старт, чтобы всего через

восемь лет вернуться как национальный герой? Как он смог достичь такого успеха вопреки всем препятствиям?

Ответы на такие вопросы требуют привилегии биографа, чья задача заключается не только в том, чтобы проследить ход событий, но и в том, чтобы раскрыть их смысл и значение. Это означает соединение сложных элементов жизни Мухаммада, создание трёхмерного портрета, который не столько противоречит «официальной» версии, сколько расширяет её.

Великий британский философ и историк Р. Г. Коллингвуд утверждал в своей работе «Идея истории», что для того чтобы писать о какой-либо исторической личности, нужны как эмпатия, так и воображение. Но он не имел в виду выдумывание историй из воздуха, а использование известных фактов, их исследование в полном контексте времени и места, следуя нитям истории до тех пор, пока они не начнут переплетаться и не создадут плотную ткань реальности. Если мы хотим понять динамику жизни, которую можно назвать не иначе как выдающейся, — жизни, которая радикально изменила его мир и продолжает формировать наш, — мы должны дать Мухаммаду право на реальность и увидеть его целостно.

Его история — это необычайное слияние человека, времени и культуры, и она ставит кажущееся простым, но в действительности сложное вопрос: почему именно он? Почему Мухаммад, в VII веке, в Аравии?

Одни только эти вопросы способны напугать и одновременно вдохновить. С одной стороны, они ведут прямо в минное поле глубоко укоренившихся убеждений, невольных предрассудков и культурных допущений. С другой — они позволяют нам увидеть Мухаммада ясно и понять, как он прошёл путь от беспомощности к власти, от безвестности к известности, от незначительности к вечной значимости.

Основными проводниками через его жизнь остаются две ранние исламские хроники: обширная биография, написанная в VIII веке в Дамаске ибн Исхаком, на которую опираются все последующие биографии, и более политически направленная история раннего ислама, созданная аль-Табари в IX веке в Багдаде. Эта работа насчитывает внушительные тридцать девять томов в переводе, из которых четыре посвящены жизни Мухаммада.

Эти ранние историки отличались добросовестностью. Их авторитетность заключалась в их стремлении к полноте. Они писали спустя время, работая с устной историей, полностью осознавая, как время и благочестие искажают память, размывая границу между тем, что было, и тем, что должно было быть. Если они

ошибались, то намеренно в пользу тщательности, а не суждения. Читая их работы, чувствуешь их осознание того, что они балансируют между ответственностью перед историей с одной стороны и традицией с другой. Этот деликатный баланс между историей и верой идёт рука об руку с их признанием неуловимости окончательной истины — качества столь же ускользающего в наш гипердокументированный мир, как и в их устной традиции. Вместо того чтобы стремиться к всеведению, они включали противоречивые рассказы и оставляли читателю право самому решать, чему верить, хотя и указывали на свою точку зрения. Например, в работе ибн Исхака часто встречаются фразы вроде «говорят, что» или «мне поведали». А когда несколько свидетельств очевидцев противоречат друг другу, он нередко подытоживает: «Что из этого верно, знает только Бог», — что звучит почти как беспомощное «Одному лишь Богу известно!»

Возможно, единственная другая жизнь, о которой написано столько же, но которая всё ещё остаётся загадкой, — это жизнь Иисуса. Однако благодаря усилиям исследовательских групп, таких как Семинар Иисуса, в последние десятилетия появились новые исследования, выходящие за рамки буквального текста Евангелий, создавая не только более человеческий портрет, но и более глубокое понимание его влияния. Эти учёные углубились не только в теологию, но и в историю, политологию, сравнительное религиоведение и психологию, выявляя радикальную политическую значимость послания Иисуса. Рассматривая его в полном контексте времени, они сделали его не менее, а более актуальным для нашего времени.

Параллели между Мухаммадом и Иисусом поразительны. Оба были движимы сильным чувством социальной справедливости; оба подчеркивали непосредственный доступ к божественному; оба бросали вызов установленным властным структурам своего времени. Как и в случае с Иисусом, теология и история идут рука об руку в любом рассказе о жизни Мухаммада: иногда параллельно, как рельсы поезда, а иногда расходясь далеко в стороны. Рассказы о чудесах изобилуют в священном предании, созданном теми, кто ценит то, что должно было случиться, даже если этого не произошло. Несмотря на настойчивое отрицание чудес в Коране, существует глубоко человеческая потребность в них и в том, чтобы теология требовала веры в невероятное — а порой и в невозможное — как испытание приверженности.

Консервативная исламская традиция, таким образом, утверждает, что Мухаммад изначально был предназначен быть посланником Бога. Но если это так, то история его жизни перестаёт существовать. Она становится просто предопределённым свершением божественной воли и, следовательно, лишённой конфликта и

напряжения. Для некоторых благочестивых верующих этого более чем достаточно; исключительность пророка — аксиома, а любая биография становится неактуальной. Но для многих других важным оказывается не чудесное, а человечески возможное. Жизнь Мухаммада — одна из тех редких, что в реальности драматичнее, чем в легендах. На самом деле, чем меньше упоминаются чудеса, тем более невероятной становится его жизнь. Возникает нечто большее именно потому, что это человеческое, в той мере, в какой его реальная жизнь заслуживает слова «легендарная».

Его история следует классической дуге, которую Джозеф Кэмпбелл назвал «путешествием героя», от скромного начала к невероятному успеху. Но это путешествие никогда не бывает лёгким. Оно включает борьбу, опасности и конфликты — как с самим собой, так и с окружающими. Опускание спорных аспектов жизни Мухаммада не служит ему доброй службой. Напротив, если мы хотим увидеть его живым и сложным человеком, мы должны рассмотреть его целиком. Это значит занять, так сказать, агностическую позицию, отбросив как благочестие и почтение с одной стороны, так и стереотипы и осуждение с другой, не говоря уже о мёртвой тяжести излишней осторожности. Это значит найти человеческий рассказ о человеке, балансирующем между идеализмом и прагматизмом, верой и политикой, ненасилием и насилием, ловушками признания и опасностями отвержения.

Переломным моментом его жизни, несомненно, стала та ночь на горе Хира. Именно тогда он вступил в то, что многие считают его судьбой, и именно поэтому мусульмане называют эту ночь *лейлат аль-кадр*, Ночью Могущества. Это определённо момент, когда он вошёл в историю, хотя и это слово может быть обманчивым. Оно подразумевает, что история Мухаммада принадлежит прошлому, тогда как на самом деле её влияние так велико, что это скорее вопрос текущих событий, чем истории. То, что произошло «тогда», является неотъемлемой частью того, что происходит сейчас, главным фактором в огромной и часто пугающей области, где пересекаются политика и религия.

Чтобы начать понимать этого человека, который боролся с ангелом на вершине горы и сошёл, обожжённый этой встречей, мы должны спросить не только о том, что случилось той ночью на Хира и к чему это привело, но и что привело его к этому моменту. Особенно потому, что с самого начала, несмотря на легенды, знаки были неутешительными. Действительно, любой объективный наблюдатель мог бы заключить, что Мухаммад был крайне маловероятным кандидатом в пророки, поскольку звёзды, под которыми он родился, казались отнюдь не благоприятными.

Вторая глава

Если верить в знамения, тот факт, что Мухаммад родился сиротой, нельзя назвать благоприятным. Большинство биографов обходят этот момент стороной, как будто это всего лишь причуда судьбы, не стоящая внимания. Однако его сиротство несёт на себе психологический груз, который часто определяет ход истории. Особенно если верить легенде о его рождении: он мог бы и вовсе не родиться. Всего за несколько часов до его зачатия его дед едва не убил его отца. И словно отцу было позволено жить лишь для выполнения своей единственной роли, он вскоре умер вдали от дома, так и не узнав, что у него родился сын.

Дедом Мухаммада был Абд аль-Мутталиб, почтенный лидер правящего племени курайшитов и ключевая фигура в короткой, но яркой истории Мекки. Молодым человеком он откопал колодец Замзам, пресноводный источник у святилища Каабы, который привлекал паломников со всей Аравии. Слухи о существовании источника ходили с незапамятных времен. Некоторые говорили, что этот источник впервые обнаружила Агарь после рождения Измаила, а затем им воспользовался Авраам, пока колодец не был заброшен и засыпан, а его местоположение не было забыто. Абд аль-Мутталиб заново открыл этот источник, и, как утверждают легенды, это сопровождалось множеством чудес. Одни рассказывали, что вход к источнику охраняла змея, настолько свирепая, что никто не осмеливался подойти, пока огромный орёл не подхватил её и не унёс в небо. Другие утверждали, что в колодце были найдены несметные сокровища: изысканные мечи, украшенные драгоценными камнями, или газели в натуральную величину, отлитые из чистого золота. Но самая жуткая история напоминает знакомый библейский сюжет о почти принесённом в жертву сыне Авраама.

Поскольку именно он заново открыл Замзам, Абд аль-Мутталиб заявил, что прибыльная монополия на обеспечение паломников водой из этого источника принадлежит его клану Хашим, одному из четырёх основных родов, объединённых в племя курайшитов. Конечно, в Мекке были и другие источники, но ни один не был так удобно расположен, ни один не давал такой сладкой воды, ни один не имел столь мощной легенды. Поэтому неудивительно, что лидеры других кланов курайшитов оспорили его притязания на контроль над этим источником, ставя под сомнение как его мотивы, так и его честь. Однако их поразила его реакция. Абд аль-Мутталиб заставил критиков замолчать ужасной клятвой. Он поклялся, что если у него будет десять сыновей, которые доживут до зрелого возраста, чтобы защищать

его и поддерживать честь Хашимов, он принесёт одного из них в жертву прямо там, в открытом пространстве вокруг Каабы, рядом с источником.

Эта клятва заставила его противников замолчать. Идея человеческой жертвы была ужасна, особенно потому, что она, как считалось, закончилась с легендарной историей об Аврааме и Измаиле. Разве не поэтому, как утверждали, единственным предметом в запретном внутреннем пространстве Каабы были рога барана, заменившего Измаила в том первозданном акте жертвоприношения? Кроме того, было совершенно очевидно, что десять сыновей станут необычайным знаком божественного благоволения. Независимо от того, сколько у мужчины было жён, высокая смертность среди младенцев и риск гибели женщин при родах делали такие богатства потомства почти невозможными. Однако к 570 году у Абд аль-Мутталиба действительно было десять сыновей. И, по словам ибн Исхака, они были необычайно великолепны. «Не было никого более выдающегося и величественного, с более благородным профилем, с носами столь длинными, что нос пил воду прежде губ», — писал он, воспевая черту, столь восхищавшую в обществе, где курносые носы презирали, считая их столь же женственными, как и бледную кожу византийских греков, которых насмешливо называли «жёлтыми людьми».

Пришло время Абд аль-Мутталибу исполнить свою клятву. Он ведь дал слово чести. У него не было выбора, если он хотел сохранить свою репутацию. Единственным вопросом оставалось, какого из сыновей принести в жертву. Поскольку это был невозможный выбор для любого отца, решение должно было быть принято традиционным способом. Он обратился к тотемному символу племени курайшитов: священному камню Хубал, возвышающемуся рядом с Каабой, который служил своего рода жертвенным алтарём. У подножия этого камня приносились клятвы, заключались сделки, в его тени торжественно произносились обеты дружбы и мести. Когда необходимо было принять трудное решение или разрешить неразрешимый спор, этот камень становился оракулом. Если обратиться к нему правильно, Хубал выражал волю Бога — аль-Лаха, буквально «Высшего», великого властелина святилища, настолько далёкого и таинственного, что к нему можно было обратиться только через посредников.

Чтобы не оставалось сомнений в том, что дело касалось жизни и смерти, Хубал говорил через стрелы. Каждая из них была помечена опцией, подходящей для конкретного случая. Если, например, возникал вопрос о времени действия, использовались три стрелы с надписями «сейчас», «позже» или «никогда» или с указанием определённых сроков, таких как «сегодня», «через семь дней», «через месяц». После этого совершались призывы и приносилась жертва — козёл или

даже верблюд — и, наконец, жрец Хубала связывал стрелы вместе, ставил их на землю, направляя вверх, а затем, почти так же, как древние китайцы обращались к И-Цзину с помощью тысячелистниковых стеблей, отпускал их.

Какая бы стрела ни упала, указывая наиболее прямо на Хубала, её надпись становилась решающей. На этот раз было десять стрел, каждая из которых была помечена именем одного из десяти сыновей. Весь город собрался, чтобы стать свидетелем церемонии, одновременно охваченный волнением и ужасом из-за того, что стояло на кону. Шёпот ожидания нарастал, превращаясь в громкий гул, пока не наступила внезапная тишина, когда жрец бросил стрелы.

Все придвинулись ближе, желая первыми услышать имя, указанное на стреле, указывающей на огромный камень. И когда имя было объявлено, по толпе пронёсся вздох ужаса. С неизбежностью греческой трагедии стрела, указывающая на Хубала, была помечена именем самого младшего и любимого сына Абд аль-Мутталиба — Абдаллаха.

Если бы борода отца не была бы седой, она поседела бы в этот момент. Но у него не было выбора. На кону стояла не только его собственная честь, но и честь его клана — Хашимов. Остальные сыновья застыли на месте, пока их отец готовился убить их брата. Ведь сыновьям не подобало ставить под сомнение волю отца, к тому же каждый из них, возможно, испытал облегчение от того, что выбор пал не на него.

Если они всё ещё надеялись на неожиданное вмешательство Хубала в последний момент, этого не произошло. Они пришли в себя только тогда, когда Абд аль-Мутталиб уже приказал Абдаллаху опуститься на колени перед ним и взял в руку нож.

Возможно, это не то, что намеревался сказать Хубал, наконец рискнули предположить они. Его воля могла быть более тонкой, чем кто-либо из них способен был понять. Разве не стоило попробовать обратиться за советом к *кахину* — одному из немногих жрецов-провидцев, чьё название в арабском эквивалентно еврейскому *коэну*, — которые могли входить в духовные трансы и понимать тайну знаков? И если уж обращаться, то кто мог быть лучше, чем одна из самых почитаемых провидиц во всей Аравии? Эта женщина, известная просто как *кахина* (жрица), жила не в Мекке, а в оазисе Медины, в двухстах милях к северу. Само расстояние делало Медину по сути другим миром, что давало гарантию её объективности. Духи, говорившие через неё, принадлежали другому народу — не племени курайшитов, а хазраджам. А поскольку только духи могли понять друг

друга, её духи могли пролить новый свет на приговор Хубала и, возможно, освободить Абд аль-Мутталиба от его ужасной клятвы. «Если кахина прикажет тебе принести в жертву Абдуллаха, ты сделаешь это, — уговаривали его другие сыновья. — Но если она прикажет что-то, что принесёт облегчение, ты будешь вправе принять это».

Отец и сыновья оседлали самых быстрых верблюдов и через семь дней были в Медине, неся дары для *кахины* и её духов. Они с тревогой наблюдали, как её глаза закрылись, и она впала в транс; ждали, пока её тело содрогалось от силы невидимой встречи; затаив дыхание, слушали невнятные шёпоты и нечеловеческие стоны, вырывавшиеся из её губ. Затем наступила долгая напряжённая тишина, когда она наконец успокоилась. Её глаза открылись и медленно вернулись в этот мир, и, наконец, к ней вернулась способность человеческой речи.

Но не с ожидаемыми словами мудрости, а с неожиданным и странно практичным вопросом: «Какова обычная сумма кровавого выкупа за жизнь человека в Мекке?» «Десять верблюдов», — ответили они. Она кивнула, словно знала это заранее. «Возвращайтесь в свою страну, — сказала она. — Выведите юношу и десять верблюдов перед священным камнем и снова бросьте стрелы. Если стрелы укажут на юношу, добавьте ещё десять верблюдов и сделайте это снова. Если стрелы снова укажут на него, добавьте ещё десять и повторите. Продолжайте добавлять верблюдов таким образом, пока ваш бог не будет удовлетворён и не примет верблюдов вместо юноши». Они поступили так, как сказала *кахина*, добавляя по десять верблюдов при каждом новом броске стрел против Абдаллаха. Снова и снова оракул выносил приговор против него, и только когда было предложено сто верблюдов, стрелы наконец указали на них. Это было поразительное число, которое всколыхнуло весь город. Люди обсуждали не только спасение Абдаллаха, но и то, что его жизнь оказалась ценнее в десять раз, чем жизнь любого другого мужчины.

В тот вечер Абд аль-Мутталиб устроил праздник. Ему не нужен был Фрейд, чтобы осознать глубокую связь между Эросом и Танатосом, жизненной силой и силой смерти. Он тут же решил отметить то, что его любимый сын получил новый шанс на жизнь, тем, чтобы эта жизнь была продолжена. В течение нескольких часов после того, как верблюды были принесены в жертву, он уже руководил свадьбой отца и матери Мухаммада — Абдаллаха и Амины.

Некоторые клялись, что на лбу Абдуллаха была вспышка белого света, когда он в ту ночь направлялся к своей невесте, и что утром, когда он вышел, её уже не было.

Была вспышка или нет, но Мухаммад был зачат в ту ночь или одну из двух следующих. Через три дня Абдуллах отправился с караваном в Дамаск, но умер по дороге обратно, в Медине, за десять дней до возвращения домой. Если кто-то находил иронию в том, что он умер близ той самой *кахины*, которая спасла ему жизнь, никто не высказывал этого. Всё-таки тяжёлые караванные переходы на сотни миль через пустыню регулярно уносили человеческие жизни. Несчастный случай, инфекция, укус скорпиона, змеиный яд, болезнь — всё это и многое другое было обычным делом в таких путешествиях. Точная причина смерти Абдуллаха не записана. Всё, что мы знаем, это то, что он был похоронен в безымянной могиле, оставив свою жену вдовой, а единственного ребёнка — сиротой ещё в утробе матери.

Как и в большинстве историй о рождении героев, эта история имеет двойственный характер. Логика легенд редко бывает милосердной, и даже если она придаёт Мухаммаду благородный статус, одновременно она его и лишает. Она настаивает на том, что он родился в самом центре мекканского общества, с глубокими кровными узами через своего отца и деда, связанными с ключевыми событиями создания города. Но в то же время эта история отодвигает его на периферию. Пытаясь создать чудесный аспект его рождения, она, напротив, подчёркивает, что, возможно, стало центральной экзистенциальной темой его жизни: в обществе, где отцы играли важнейшую роль, он родился без отца. А шестой век в Мекке не был добр ни к вдовам, ни к сиротам.

Родиться без отца означало родиться без наследства и без надежды на него. Сын не мог унаследовать имущество, пока не достигал зрелости; если отец умирал до этого момента, всё его имущество переходило к взрослому мужчине из числа родственников, который принимал на себя ответственность за оставшуюся семью. В традиционном племенном обществе эта система работала хорошо. На основании предположения, что личного богатства не существует, а есть только благо племени, она обеспечивала, чтобы ни один член племени не был заброшен, и забота о каждом была гарантирована. Однако в эпоху процветающей Мекки, обогащённой караванной торговлей и управлением паломничеством к святыни Каабы, старые ценности были серьёзно подорваны. За считанные десятилетия богатство сосредоточилось в руках немногих. Каждый был сам за себя, а сирота, каким бы знатным ни было его происхождение, считался скорее бременем, чем благословением.

По крайней мере, пол ребёнка давал некоторую защиту. Если бы Мухаммад родился девочкой, его могли бы оставить в пустыне на съедение стихии или хищникам, а то и тихо задушить при рождении, поскольку акцент на наследниках-

мужчинах приводил к тому, что уровень детоубийств девочек был столь же высок в Мекке, как в Константинополе, Афинах или Риме — практике, на которую Коран впоследствии укажет прямо и неоднократно осудит. Но даже в качестве мальчика судьба Мухаммада казалась predetermined. Его мекканские противники позже назовут его «ником». И эта судьба, казалось, лишь подтверждалась тем фактом, что первые пять лет своей жизни он провёл вдали от Мекки, под опекой той, кого элита курайшитов считала ещё одним «ником»: бедуинской кормилицей, далеко от цивилизованного общества.

Это был год засухи, и, как ни странно, это оказалось удачей для Мухаммада, поскольку отсутствие дождя привело в Мекку молодую женщину по имени Халима, которая искала младенца для вскармливания. Без неё он, возможно, не пережил бы младенчества.

Говорить о засухе в пустыне может показаться излишним, но немногие районы в мировых пустынях вообще не получают осадков. Большинство, как степи северной и центральной Аравии, получают несколько дюймов дождя в год. Внезапные зимние ливни, какими бы краткими они ни были, за считанные часы превращают пересохшую пустынную почву в море зелёной растительности: семена, находящиеся в спячке, оживают благодаря влаге, чтобы дать корм для скота. Но в некоторые годы, как в этот, даже эти краткие зимние дожди не приходили. Как далеко бы бедуины ни уводили свои стада коз и верблюдов, пастбищ не находилось, и ничего не оставалось, кроме как смотреть, как животные худеют, их вымя высыхает, и молоко исчезает. В самые тяжёлые засухи, когда дожди пропускали два или даже три года подряд, скот погибал, и кочевники вынужденно перемещались к окраинам таких поселений, как Мекка. Там они превращались в низший класс дешёвой рабочей силы — гордые люди, вынужденные просить работы. Можно даже сказать, что они опускались до уровня рабов, за исключением того, что рабы, по крайней мере, находились под защитой своих владельцев.

Как и многие бедуинки, Халима избежала этой участи, нанимаясь кормилицей. Это было то, чем бедные женщины занимались для богатых повсюду в мире того времени. Так продолжалось вплоть до двадцатого века, когда широкая доступность детских смесей и разрушение традиционного сельского уклада сделали вскармливание кормилицей устаревшим в большинстве обществ, заменив его няньками и интернатами. Но до тех пор, начиная с древнебиблейских времён и вплоть до эпохи греческих и римских империй, тёмных веков, Ренессанса и Просвещения, дети из богатых городских семей регулярно отправлялись к кормилицам в деревню до времени отлучения. Это было отчасти вопросом статуса

— «так принято», — но также и служило интересам богатых весьма определённым образом.

Основной ролью аристократической жены было рождение наследников мужского пола. Однако при столь высокой младенческой смертности, что едва ли половина всех новорождённых доживала до взрослого возраста, это было непросто. Очевидно, шансы повышались, если жена чаще беременела, а потому важно было, чтобы она вновь становилась плодovитой как можно скорее после родов. Поскольку кормление грудью подавляет овуляцию, лучшим способом обеспечить это было поручить кормление младенца другой женщине. (Обратная сторона заключалась в том, что у женщин из низших классов, таких как бедуинки, рожавшие для богатых, было гораздо меньше беременностей. Угрюмый стереотип высшего класса о низшем, «размножающемся как кролики», на самом деле был обратным: именно высший класс был теми, кто активно производил потомство, а низший класс — теми, кто его вскарммливал.)

По её собственному признанию, Халима была одной из самых бедных бедуинок, пытавшихся найти младенца для вскармливания в конце весны 570 года. Она была из полукочевого племени, едва сводившего концы с концами в сухих степях за горами, к востоку от Мекки. Как и все, кто жил на грани выживания, её племя боролось за существование. Даже её осёл был слабым и исхудавшим. Её грудь почти не давала молока, так что её собственный младенец плакал ночами от голода.

Она знала, что представляла собой не слишком хороший выбор для знатных мекканцев, ищущих здоровую кормилицу, но всё же пыталась, с завистью наблюдая, как другие женщины из её группы находили младенцев для вскармливания, пока выбор стремительно сокращался. Скоро «все женщины, с которыми я пришла в Мекку, уже получили младенцев на вскармливание, кроме меня», — вспоминала она. Оставался лишь один ребёнок, но «каждая из нас отказывалась, когда узнавала, что он сирота, потому что мы хотели получить оплату от отца ребёнка. Мы говорили: "Сирота? Без отца, который бы заплатил нам?" И потому отвергли его».

Халима явно ничего не слышала о вещах, о которых люди позже клялись: о вспышке белого света на лбу Абдуллаха в ночь его свадьбы с Аминой или о том, как её беременный живот, по слухам, светился настолько ярко, что «при его свете можно было видеть замки Сирии». Такие истории начнут распространяться лишь через сто лет. Для Халимы и других кормилиц это был просто младенец, которого никто не хотел. Даже его дед. Хотя формально Амина и её новорождённый сын

находились под защитой главы клана Хашимов, стареющий Абд аль-Мутталиб, по-видимому, считал судьбу ещё одного внука, да ещё и сироты, не своей заботой. Конечно, он не был готов платить за два года вскармливания, необходимых до его отлучения. Ни Амина, ни Халима, разумеется, не имели под рукой статистики, но обе знали, что в городе у любого ребёнка шансы выжить до взрослого возраста были невелики, если его не отправить на вскармливание к кормилице. На самом деле выжить в младенчестве до появления современной медицины уже само по себе считалось достижением. Так, например, в период расцвета Римской империи лишь треть родившихся в этом городе доживала до пятого дня рождения. А записи восемнадцатого века в Лондоне показывают, что более половины рождённых умирали к шестнадцати годам. Будь то Париж или Мекка, простой гнилой зуб или заражённая рана могли стать причиной смерти. Болезни, недоедание, уличное насилие, несчастные случаи, осложнения при родах, загрязнённая вода и испорченная еда, не говоря уже о войнах, — всё это было причиной того, что едва десять процентов людей доживали до сорока пяти лет. Только в начале двадцатого века, когда была осознана роль микробов и впервые появились антибиотики, продолжительность жизни начала расти до уровней, которые мы теперь принимаем как должное.

Одна статистика выделяется из этого мрачного списка: во всём мире младенческая выживаемость в сельских районах была выше, чем в городах. Если точные причины этого не были понятны, то сама концепция свежего воздуха была очевидна. Города не были здоровыми местами для жизни, и даже с новым процветанием шестого века Мекка не была исключением. В разгар лета, когда дневные температуры стабильно превышали сто градусов по Фаренгейту, воздух едва можно было назвать пригодным для дыхания. Дым от кухонных очагов удерживался кольцом гор, окружающих город. Над мусорной свалкой на окраине города, известной как «гора дыма», кружили стервятники. Это была зловонная свалка, где гниющие отходы издавали смрад. Ночью по ней рыскали гиены, рывшие землю в поисках еды, и их вой эхом разносился по узким улочкам города. Без системы канализации и водопровода инфекции распространялись быстро. Ранее в этом же году, когда родился Мухаммад, в Мекке произошла одна из локальных вспышек оспы, которая опустошала Ближний Восток, словно по капризу, исчезая так же внезапно, как появлялась. Города, таким образом, были опасным местом для уязвимых новорождённых, и Амина, должно быть, отчаянно пыталась найти кормилицу, которая бы увезла её единственного сына в безопасность высокогорных пустынь. Почему же Амина согласилась на такую малопривлекательную кандидатуру, как женщина, у которой едва хватало молока для собственного ребёнка, не говоря уже о чужом? И, что не менее важно, почему Халима согласилась взять на воспитание сироту?

Может быть, она уступила, потому что не хотела возвращаться без младенца, как единственная из своей группы. Может быть, она взяла его из жалости или по доброте души, или же из упрямства деревенской гордости: она пришла за младенцем и была достаточно настойчива, чтобы не уйти без него. Она определённо не претендовала на особую проницательность. Как она позже рассказывала: «Когда мы собрались уезжать, я сказала своему мужу: "Клянусь Богом, мне не по душе возвращаться без ребёнка; я пойду и возьму этого сироту." Он ответил: "Делай, как считаешь нужным. Может быть, Бог благословит нас благодаря ему." И я пошла назад и взяла его только потому, что не смогла найти другого младенца».

Эта история перекликается с историями о христианском Рождестве. Халима и её муж выступают как смиренные пастухи. Пусть нет здесь сказаний о волхвах, дары приносящих, о кометах, проносящихся по ночному небу, или о параноидальной мести жестокого правителя народная вера всё равно требует своих знамений. И вот в тот момент, когда Халима решает взять Мухаммада, тон её речи, как передаёт ибн Исхак, меняется. Болтливый стиль, обмен репликами с мужем, жалкое состояние её осла — всё это исчезает, и её история превращается в рассказ о чуде. Её грудь наполняется молоком, как и вымя верблюдицы, которую они привели с собой, так что Халима и её семья теперь могли пить сколько угодно верблюжьего молока. Осёл вдруг становится сильным и быстрым, а когда они возвращаются в своё поселение в высоких пустынях, их овцы и козы начинают процветать, давая небывалое количество молока, несмотря на продолжающуюся засуху. Для Халимы было очевидно, что её решение взять Мухаммада принесло её семье божественное благословение. Или, по крайней мере, это стало очевидным задним числом, к тому времени, когда она рассказала эту историю — или же к тому времени, как она была дополнена в пересказах другими людьми, превращена в апокрифический рассказ, как того требовали благочестие и почтение, подобно тому, как рассказы о младенчестве Иисуса стали и остаются сокровищем народной веры.

Что-то в нас до сих пор верит, что в акте грудного вскармливания есть гораздо больше, чем просто питание и антитела. В древнем Риме, например, считалось, что младенец, вскармливаемый греческой кормилицей, впитает её язык вместе с молоком и вырастет, говоря по-гречески так же, как по-латыни (что часто и происходило, поскольку ребёнок был окружён звучанием греческого языка в первые два года своей жизни).

Сегодня мы говорим о физиологии и психологии связи между матерью и ребёнком, но также склонны считать грудное вскармливание более аутентичным, чем использование детских смесей, придавая ему и моральную ценность как более

подлинному и естественному. В этом отношении мекканцы шестого века могли быть не так уж далеки от нас. Они верили, что в молоке бедуинок-кормилиц заключена некая первобытная, земная жизненная сила, и что эта сила простирается далеко за пределы физического. Амина видела это так: вместе с молоком Халимы её сын питает подлинность — саму сущность того, что значит быть сыном пустыни или, как называли бедуинов мекканцы, арабия, арабами.

Честь, гордость, верность, независимость, стойкость перед трудностями — всё это было сердцем бедуинской культуры, воспеваемой в длинных эпических поэмах. Эти поэмы считались самой ценной формой развлечения на всём Аравийском полуострове — как при королевских дворах, где избалованным бардам платили кошельками с золотом, так и в палатках из верблюжьей шерсти, где дети засыпали под ритмическую колыбельную из стихов, которые напевали старейшины. Если большинство людей не умели ни читать, ни писать, это не означало, что они были нечувствительны к слову. Напротив, устная культура отличалась страстью к языку, к его музыке и величию в руках мастера. То, что людям не хватало грамотности, с лихвой компенсировалось их памятью. Часами поэмы декламировались наизусть — и это выражение было более чем уместным, ведь память в таких культурах исходила прямо из сердца. Барды оплакивали предков, чьи племена практически исчезли в тумане истории. Они воспевали великие битвы, которые, как сказывали, происходили среди созвездий на ночном небе, а также те, что велись на земле, но уже за пределами человеческой памяти. Они увековечивали легенды о героях, дух самопожертвования которых ради общего блага внушал глубокое уважение. В результате был создан литературный канон, столь мощный, что наиболее известные произведения, такие как семь золотых од, до сих пор являются классикой арабской литературы. Это эпические повествования, наполненные подробностями о сексуальной удали, приключениях, бросающих вызов смерти, боли утраченного величия и тоске по потерянной любви. И если мотив утраты звучал снова и снова, это делало произведения ещё более проникновенными и запоминающимися.

Для городской элиты Мекки бедуинская поэзия воплощала всё, чем они хотели быть, но втайне осознавали, что не являются. Их страсть к этим произведениям подпитывалась ностальгией: тоской по романтизированной идее былой чистоты, по строгому моральному кодексу, не затронутому требованиями торговли и прибыли. Бедуинский воин был проще, честнее, олицетворяя время, более достойное уважения. Так же как Европа XVIII века романтизировала жизнь пастухов, а Америка XX века идеализировала силу и стойкость ковбоя из фильмов с Джоном Уэйном, мекканцы VI века видели в бедуинах человеческий фундамент Аравии.

Но настоящие пастухи и пастушки, как и настоящие ковбои, были совершенно иными. Какими бы чистыми и благородными ни были их корни, реальных, из плоти и крови бедуинов в настоящем считали примитивными. Выражения «грубые бедуины» и «бедуинская чернь» часто встречаются в ранних исламских хрониках, всегда из уст привилегированных горожан, которые видели в тех, кто всё ещё жил в шатрах, неотёсанных простаков, всего лишь пастухов коз и верблюдов, годных для ухода за детьми или в качестве проводников караванов, но не более того. Для большинства мекканской аристократии бедуины были неудобным напоминанием о том, что, несмотря на весь их городской лоск, сами они, как говорится, ушли с «фермы» всего пять поколений назад.

Однако Мекка не могла существовать без них. Она полагалась на них не только в вопросах чистокровных скакунов и верховых верблюдов, но и в обеспечении мулами и вьючными верблюдами, без которых торговые караваны никогда бы не смогли преодолевать сотни засушливых миль, превращая город в крупный центр торговли.

Бедуины также производили животноводческую продукцию, жизненно необходимую в повседневной жизни: всё — от упряжи и седел до одежды и одеял, консервированных молочных и мясных продуктов, сандалий и бурдюков для воды. Горожане и кочевники были связаны симбиотическими отношениями, которые обе стороны одновременно ценили и ненавидели. Со стороны мекканцев это было чем-то похожим на то, как американская политическая риторика всё ещё воспекает «сердце страны», даже считая его актуальным только во времена выборов, когда всем кандидатам на политические посты, если это возможно, нужно вспоминать своих дедов, живших тяжёлой жизнью в глубинной Америке, восхваляя предполагаемые добродетели тяжёлого труда, упорства и бережливости. Если мекканцы ценили бедуинское прошлое, даже отказываясь от его ценностей, то они были не более двойственны в этом отношении, чем их современные западные аналоги.

Таким образом, было совершенно естественно, что Мухаммад провёл первые пять лет своей жизни среди бедуинов. Как и они, он был одновременно ценным и игнорируемым, центральной фигурой и одновременно находился на периферии. Как те римские младенцы, слышавшие греческую речь, а затем говорившие на этом языке, он впитывал бедуинские ценности так же естественно, как легендарное материнское молоко. Уважение к силе и таинственности окружающего мира, идея коллективной собственности, где личное богатство было лишено смысла, музыка и величие поэзии и истории, звучащие в его снах, — всё это и многое другое стало основой личности, которой он должен был стать, и неизбежно поставило его в противоречие с городом, в котором он родился.

Третья глава

Халима приняла маленького Мухаммада, несмотря на то что он был сиротой, но именно это обстоятельство стало причиной, по которой он оставался с ней гораздо дольше, чем положенные два года. Однако принятое объяснение гласит другое, то, что сама Халима называла причиной: её семья считала, что ребёнок приносит удачу, позволяя им процветать даже во время засухи. «Мы видели в этом милость Божию на протяжении двух лет, пока я не отняла его от груди», — вспоминала она. «После этого мы вернули его матери в Мекку, хотя мы отчаянно хотели оставить его с нами из-за того счастья, которое он приносил. Я сказала ей: "Лучше оставить мальчика с нами до тех пор, пока он не станет старше и не будет защищён от болезней здесь, в Мекке", и мы настаивали, пока она не согласилась».

Легко представить хитроумные доводы крестьянки, убеждающей мать, что её сын будет в большей безопасности в пустыне, но не менее легко вообразить, как разрывающаяся от противоречий мать сжимает своего малыша в объятиях, разрываемая между желанием видеть его рядом и заботой о его здоровье и благополучии. Однако исторические записи не содержат таких сцен — это скорее фантазия XXI века, нежели реальность VI века. Ведь Амина, мать Мухаммеда, соглашаясь на продление пребывания своего единственного сына в кочевой семье Халимы и отправляя его обратно в пустыню, думала ведь не только о его здоровье и благополучии.

Горькая правда заключалась в том, что Амина не вышла замуж повторно. По традиции, молодая вдова, особенно в двадцать с небольшим лет и с новорождённым на руках, должна была очень быстро найти нового супруга. Один из братьев покойного мужа мог бы взять на себя эту обязанность. Даже в роли второй или третьей жены она бы обеспечила себе защиту и статус для ребёнка. Но в стремительно процветающей Мекке старые правила начинали рушиться. Формально Амина находилась под покровительством своего свёкра, Абд аль-Мутталиба, но после той трагедии, когда он едва не принёс в жертву собственного сына, предводитель Мекки стал быстро стареть. А с упадком его здоровья начал терять влияние и клан Хашимов. В то же время клан Умаййадов набирал силу. Какая выгода была в том, чтобы взять замуж Амину, да и еще усыновлять мальчика без наследства. Судьбой ей было предназначено остаться вдовой до конца своей жизни, а ее сыну, единственному ребенку, не имеющему даже полукровных сестер или братьев, быть отрезанным от сложных семейных связей, столь важных в обществе Мекки. У нее не было другого выбора, кроме как оставить Мухаммеда с приемной семьей, особенно учитывая, что те были согласны повременить с оплатой.

Мухаммада снова увезли через горы, и жизнь в кочевой пустыне глубоко проникла в его душу. «Дайте мне ребёнка до семи лет, и я дам вам человека», — говорил Франциск Ксаверий, один из основателей ордена иезуитов, предвосхищая открытия современной психологии на несколько веков. И так было с Мухаммадом: его детство в пустыне сыграло ключевую роль в том, кем он стал.

Известная чистота жизни в пустыне на самом деле была чистотой почти бедственного существования, где не было места излишествам. После отлучения от груди он ел обычную пищу бедуинов: верблюжье молоко с зерновыми и бобовыми, выращенными на зимних пастбищах. Это была скудная диета для скромного образа жизни, где мясо ели только по большим праздникам или в честь важного гостя. Не было ни изысканных сладостей, ни даже меда с финиками. Но если жизнь в пустыне была лишена удобств, она была здоровой — почти вся проводилась на открытом воздухе.

Высокогорная степь пустыни становилась уроком понимания силы природы и искусства жить с ней в гармонии: как выбрать правильное время для перехода с зимних пастбищ на летние и обратно, как найти воду там, где кажется, что её нет, как настроить длинные чёрные палатки из верблюжьей шерсти, чтобы они давали тень летом и сохраняли тепло зимними ночами. Каждый ребёнок делал ту работу, которую мог. Как только Мухаммад научился ходить, его отправляли пасти стада под присмотром одной из приёмных сестёр, Шаймы. Как это делают старшие дети в больших семьях, она носила его на бедре, когда его ноги уставали, и следила за ним. Он, в свою очередь, наблюдал за ней, учился обращаться с козами и верблюдами, становясь настоящим бедуином, за исключением одного: его всегда называли «Курайшитом», то бишь тем, кто из племени Курайш.

Это имя было постоянным напоминанием о том, что, хотя он жил в семье Халимы, он не был их частью. Он принадлежал к другому миру, тому, что расположился за страшной горной грядой, которую справедливо называли Хиджаз, «преграда». Хотя Мекка находилась всего в пятидесяти милях, казалось, что она могла быть и на тысячу миль дальше. Бедуины говорили о Мекке с содроганием. Как вообще можно жить в таком месте, где люди замкнуты внутри стен, где нет простора для путешествий, а открытый горизонт скрыт горами? Тем не менее в их словах звучала неохотная признательность за экономическую зависимость от жителей городов, напоминанием о которой был сам Мухаммад.

К пяти годам он уже мог пасти стада самостоятельно. Он терпеливо ждал у колодца, пока верблюды, казалось, бесконечно пьют, и их горбы наполняются влагой. Он сражался со сном, охраняя ночами стада от гиен, воющих при запахе добычи,

прислушивался к шороху лис в кустах или к тревожному беспокойству животных, когда неподалёку крался горные хищники, следы которых обнаруживались в пыли поутру. Никто не говорил ему, что пустыня — это урок смирения, лишаящий всякой притворности и амбиций. Он чувствовал всей плотью, насколько огромен и жив мир и насколько мал в нём человек.

Даже обожжённые солнцем скалы пустыни, казалось, дышали, отдавая накопленное за день тепло холодному ночному воздуху. Под огромным звёздным куполом, который двигался над ним, каждое созвездие рассказывало свою историю, оставаясь равнодушным к мальчику, смотрящему снизу. Это был мир, населённый духами, осязаемыми присутствиями вокруг. Как иначе объяснить одинокое дерево, которое вопреки всему стояло прямо посреди безжизненной долины? Или огромный каменный монолит, выделяющийся, словно упавший сверху гигантской рукой? Или источник, скрытый глубоко в расщелине скалы, который внезапно начинал бурлить, когда ты склонялся над ним, чтобы напиться, словно он говорил с тобой? Духи этих мест, джинны, были непредсказуемыми, капризно способными на добро и зло. В любом случае они требовали уважения. Как христиане перекрестились бы для защиты от зла, так путники, разбивающие лагерь на ночь, произносили заклинание: «Сегодня я ищу убежища у властителя этой долины джиннов от любого зла, что здесь таится». Если бы ты вдруг решил воспринимать этот мир как нечто само собой разумеющееся, земля сама могла бы напомнить тебе о твоём безрассудстве: скала, которую ты считал столь прочной, начинала дрожать и трястись, даже стонать, не оставляя тебе места, где укрыться от того, что казалось гневом Бога.

В пустыне никто не нуждался в проповедях о том, что существует сила выше человеческой. Была ли эта сила естественной или сверхъестественной — в VI веке между ними не проводилось различий — любой, кто не осознавал этого, просто не выживал. Но как Мухаммад должен был выжить, когда весь его мир внезапно исчез? Без всякого предупреждения пятилетнего ребёнка оторвали от кочевых братьев и сестёр, которых он знал, перевезли через горы в город, который казался чужим, и передали матери, которую он едва помнил. Спустя полвека ему суждено будет вновь встретиться со своей приемной семьей.

Традиционная история о том, почему Халима вернула Мухаммада в Мекку, рассказывает о своеобразной божественной операции на сердце. Ибн Исхак первым передаёт её в словах самой Халимы: «Он и его приёмный брат были с ягнятами за палатками, когда его брат прибежал к нам и сказал: “Двое мужчин в белых одеждах схватили моего курайшитского брата, повалили его и вскрыли ему живот, что-то там перемешивая”. Мы бросились к нему и нашли его стоящим, с ярко-красным лицом. Мы схватили его и спросили, что случилось. Он сказал: “Двое мужчин пришли, повалили меня, вскрыли мой живот и искали в нём что-то, чего я не знаю”».

Поздние версии этой истории приводят слова взрослого Мухаммада. В первой он не уточняет, сколько ему было лет: «Ко мне пришли двое мужчин с золотой чашей, полной снега. Затем они схватили меня, вскрыли мой живот, достали сердце и открыли его. Они вынули чёрную каплю из него и выбросили её, после чего промыли сердце снегом до полной чистоты».

Во второй, более изысканной версии, Мухаммад переносит это ангельское посещение уже не в детство, а в зрелые годы, когда он покинул Мекку и отправился в Медину. «Два ангела пришли ко мне, когда я находился в долине Медины, — говорил он. — Один из них спустился на землю, другой остался между небом и землёй. Один сказал другому: "Вскрой его грудь", а затем: "Извлеки его сердце". Он сделал это, достал сгусток крови, который был порчей Сатаны, и выбросил его. Затем первый сказал: "Очисти его сердце, как очищают сосуд, и его грудь, как очищают покров". После этого он вызвал *сакину*, божественный дух, у которого было лицо белой кошки, и положил её на моё сердце. Затем другой сказал: "Зашей его грудь". Они зашили мою грудь, поставили печать пророчества между моими плечами и ушли. Всё это время я наблюдал за ними, словно был сторонним наблюдателем».

С каждым новым повторением детали этой истории становятся всё более насыщенными: снег в пустыне, белое лицо божественного духа, диалог между ангелами — всё это делает сюжет похожим на сон. История постепенно утрачивает свои специфически арабские черты, вбирая элементы мировых легенд: греческих и египетских мифов о богах (золотая чаша, лицо кошки); христианских идей о Сатане, запечатлённом в сердце как чёрный сгусток; еврейского мистицизма (*сакина* как арабский аналог каббалистической *шехины*); и буддийской традиции (загадочная печать пророчества между лопатками). В конечном итоге событие принимает почти сюрреалистический образ.

Будучи мальчиком или взрослым, Мухаммед находил внутреннее спокойствие и почти безмятежность в этом событии, что контрастировало со страхом и ужасом последующих событий на горе Хира. Эта детская история должна была быть в биографии, созданной позже верующими, которым, несмотря на настойчивое отрицание чудес и знаков в Коране, хотелось видеть в нём чудотворца. Они требовали физического подтверждения его избранности и настаивали на том, чтобы Мухаммад соответствовал их ожиданиям о человеке, благословлённом свыше. Даже если это было противоречиво духу Корана, они опирались на традиции чудес, создавая осязаемый образ его чистоты, чудо, которое можно было представить и сохранить в памяти. В мире, где тайна была ощутимой, эта история казалась чем-то знакомым. Она перекликалась с другими историями, такими как

яркий свет, озаривший лоб Абдуллы в ночь зачатия Мухаммада, сияние из утробы Амины или внезапное изобилие молока у Халимы.

Однако в версии самой Халимы — или по крайней мере той, что ей приписывают, — она и её муж не воспринимали этот случай как нечто сверхъестественное. Они не обратили внимания на рассказ своего сына о том, как он видел двоих мужчин в белых одеждах, вероятно, считая это плодом детского воображения. Будучи практичными людьми, они решили, что с ребёнком что-то не так. «Мы отнесли Мухаммада обратно в палатку, — вспоминала Халима, — и мой муж сказал: "Боюсь, что у этого мальчика был какой-то припадок, и нам следует вернуть его в Мекку, пока это не повторилось снова"». На самом деле, как она добавила, их беспокоило, что он мог быть одержим джином, и что «с ним может случиться что-то дурное».

Смешно пытаться ставить диагнозы спустя века, основываясь на таких записях, и использовать эту явно чудесную историю как довод в пользу утверждения, что Мухаммад страдал эпилепсией, как это делают некоторые. Особенно, если учесть, что это было, судя по всему, разовым событием. Если бы он действительно страдал от эпилептических припадков, его многочисленные противники в Мекке наверняка использовали бы это против него. Однако, несмотря на все обвинения, которые они приводили против его проповеди — его называли выдумщиком, мечтателем, лжецом, колдуном, да чем угодно, но не эпилептиком.

В конечном итоге, самое важное значение этого ангельского вмешательства, вероятно, лежит в более приземлённой плоскости: оно служит как повествовательное средство. Это способ вернуть Мухаммада в Мекку, предоставляя более убедительное объяснение для мусульманских верующих, чем более вероятная причина его возвращения: поскольку положение Амины не улучшилось, Халима и её муж не видели возможности получить оплату за свои труды. В возрасте пяти лет Мухаммад стал ещё одним ртом, который нужно было кормить, и для семьи, живущей на грани выживания, он был лишним.

Ребёнок, которого Халима вернула его матери, был больше бедуином, чем курайшитом: худощавый, выносливый мальчик, лишённый той пухлости, которую обычно ассоциируют с детьми его возраста. Пустыня оставила свои следы на его руках, пересечённых тонкой сетью пыли, впитавшейся глубоко в поры, на его глазах, прищуренных от солнца и ветра, на его мозолистых ногах с широко расставленными пальцами и потрескавшимися пятками. Когда он въезжал в Мекку на измученном осле, он был олицетворением деревенского мальчика в большом городе, ошеломлённого наплывом запахов, звуков, красок и толпой людей в яркой одежде. Можно представить, как он прятался за юбку своей приёмной матери,

входя в дом Амины, хотя более вероятно, что он стоял прямо и сдержанно, подражая стойкости, столь восхищаемой в пустыне.

Теперь ему предстояло спать за каменными стенами вместо мягкого тепла верблюжьей палатки, в одиночестве на циновке рядом с незнакомой матерью, вместо привычного уюта с приёмными братьями и сёстрами. Он должен был чувствовать себя зажатым между этими стенами, как всегда чувствуют себя бедуины. Его угнетала также и окружавшая Мекку цепь гор, создавая «котловину Мекки». Звёзды, которые в пустыне казались такими близкими, вдруг отдалились, скрытые дымом от готовки. Жажда чистого воздуха и свободы, которые были ему привычны, превращались в тоску, о существовании которой он и не подозревал. Он был знаком с уединением пустыни, но это было другое: не уединение — с таким количеством людей вокруг оно было невозможно, — а чувство изоляции.

Среди людей, которые, по идее, должны были быть его племенем, он чувствовал себя чужаком. Даже его речь выдавала в нём постороннего: бедуинский акцент и манеры становились предметом насмешек со стороны других мальчиков, пока он не научился подражать курайшитским. Как любой ребёнок, он жаждал быть принятым. В уголках его глаз появилась осторожность, а его улыбка стала сдержанной и настороженной. Даже десятилетия спустя, когда он стал предводителем своего народа, его редко видели смеющимся.

Он принадлежал к Курайшитах, к клану Хашим, но, казалось, его существование ничего не значило. В обществе, где твой статус определялся по отцовской линии, он был обречён всегда ощущать отсутствие отца. Даже если у него ещё не было слов, чтобы это выразить, он, должно быть, чувствовал, что ему придётся вновь и вновь доказывать своё право на существование, всегда задаваясь вопросом, на каких условиях и благодаря чьей милости он живет.

Такова была участь сироты: обычная детская свобода быть беззаботным никогда не станет его частью. Он никогда не знал лёгкости, когда можно что-то воспринимать как должное. Но именно это стало ключом к тому, кем он стал. Те, кто прочно устроился в жизни, как правило, не нуждаются в том, чтобы задаваться вопросами о её смысле. Они являются «внутренними» людьми, и для них всё, что есть, — это норма. Статус-кво настолько привычен, что он не только не подвергается сомнению, но даже не замечается. Однако те, чьё место в обществе неопределённо, кто чувствует себя неуютно в своей жизни, вынуждены спрашивать «почему». И зачастую они находят радикально новые ответы.

Психологи обратили внимание на удивительно длинный список выдающихся людей, которые осиротели в юности. Среди них Конфуций, Марк Аврелий, Вильгельм Завоеватель, кардинал Ришельё, поэт Джон Донн, лорд Байрон, Исаак Ньютон, Фридрих Ницше и, возможно, даже Иисус, поскольку Иосиф исчезает из Евангелий почти сразу после рождения Христа. Вопреки ожиданиям, ранняя утрата может стать стимулом к достижению успеха. Как отмечает один исследователь, осознание уязвимости может иметь парадоксальный укрепляющий эффект: «Вопрос морали и совести, который становится отличительной чертой творчества, появляется из чувства несправедливости, которое сирота испытывает в детстве и продолжает чувствовать во взрослой жизни», что в итоге превращается в «жажду самобытности, потребность оставить след в мире».

Если такая жажда существовала в Мухаммаде, то она удвоилась очень быстро. Остаются неизвестными причины, почему так долго Амина оставила своего сына на попечение бедуинов. Амина умерла слишком рано, чтобы кто-либо мог узнать или записать ее историю. Возможно, желание Амины восстановить связь с сыном, или компенсировать его долгое отсутствие, побудило её взять его в Медину — путешествие длиной 200 миль на север, вскоре после того, как он был возвращён из семьи бедуинов

Мы знаем только, что, возвращаясь из Медины, Амина умерла в караванной стоянке Абва, на полпути между двумя городами. Мальчик, родившийся без отца, стал свидетелем смерти своей матери. Небольшой караван, с которым они путешествовали, доставил его обратно в Мекку, в дом его деда. В шесть лет он стал дважды сиротой, его единственным наследством было радикальное чувство неуверенности в своём месте в этом мире.

Четвертая глава

Хадисы утверждают, что Мухаммад был любимцем своего деда. И это не удивительно. Для верующих мусульман идея о том, что такая значительная фигура была бы проигнорирована или заброшена, причиняет боль, поэтому реальность шестого века в Мекке подчиняется более утешительной версии: дважды осиротевший мальчик обретает свою идентичность у ног деда, слушая предания о клане и племени из уст человека, который играл главную роль в этих преданиях.

Абд аль-Мутталиб был настолько немог, что даже ходьба с тростью причиняла ему боль. Каждый день его переносили на носилках, покрытых ковром, в священную зону Каабы, где он лежал в тени пальмового навеса, принимая почести и выступая в качестве советчика, долгожительство которого вознаграждалось уважением.

Хочется представить, как его глаза загораются, когда его любимый внук забирается на носилки рядом с ним и с широко раскрытыми глазами слушает истории о своём наследии, столь же богатом и сложном, как узоры ковров, на которых они лежат.

Это было его наследие, его гордость, если говорить языком мекканцев. Кто вы есть, определялось вашими предками, так сильно, что здесь практически существовал культ предков, их могилы почитались близко к поклонению, как это до сих пор сохраняется в Северной Африке и на Ближнем Востоке — от гробницы Авраама в Хевроне до могил знаменитых раввинов и имамов.

Какое утешение мог юный Мухаммад найти в таком наследии? Что он мог подумать, узнав, например, историю о своем рождении? О том, что его дед едва не принес в жертву своего собственного сына, отца Мухаммада, перед каменной глыбой? Должен ли он был воспринимать это как подтверждение своей исключительности, как предполагают ранние историки? Или же эта история могла вызвать у мальчика, никогда не видевшего своего отца, не чувство гордости, а скорее ужас? Как он мог быть уверен, что этот старик, когда-то готовый пожертвовать своим сыном, не поступил бы так же и с ним?

Маловероятно, что Мухаммад когда-либо слышал эту историю от своего деда. В те времена, задолго до появления концепции детства, детей не воспринимали как отдельный мир, полный нежности и заботы. Их считали лишь уменьшенными версиями взрослых, которые должны были выживать в условиях высокой смертности, где для сентиментальности просто не оставалось места. Особенно это касалось сирот.

Абд аль-Мутталиб, если вообще обращал внимание на мальчика, видел в нём одного из множества детей, мельтешащих вокруг. А если Мухаммад и встречал взгляд деда, то, вероятно, только издалека — как на фигуру, возвышающуюся над всеми, слишком значимую и занятую, чтобы заметить его существование. Скольких внуков с более яркими перспективами окружали старца!

Если же мальчик осмеливался подойти ближе, его встречали холодные взгляды и короткие окрики: «Не путайся под ногами! Лучше сделай что-нибудь полезное: принеси воды, собери хворост!» А если смелости оказывалось слишком много, подзатыльник ставил всё на свои места.

Постепенно Мухаммад понял, что единственный способ удержаться в этой среде — это стать незаметным. И именно в этой незаметности он, возможно, нашёл своё

спасение. Она дала ему возможность наблюдать за миром, видеть его яснее, чем те, кто был занят самими собой.

Быть незаметным стало ключевым навыком его выживания, но одновременно это научило его наблюдать, изучать и понимать мир, в котором он жил. Находясь на периферии общества, он приобрёл острое чувство осознания его противоречий. Несмотря на то что формально он считался частью своего племени, ему постоянно приходилось доказывать своё право на существование. Это же дало ему ясное понимание общества, которому он принадлежал, но которое, казалось, не имело для него места.

Шестилетний Мухаммад жил в обществе, где священное и мирское так тесно переплетались, что было невозможно определить, где заканчивается одно и начинается другое. Мекка не была отсталой изолированной деревней, как её часто представляют современные западные люди, а, напротив, процветающим экономическим центром. Это был важный пункт на северо-южном торговом пути, тянувшемся через весь запад Аравийского полуострова — из портов Йемена на юге в Дамаск и Средиземноморье на севере. Гениальность курайшитов заключалась в их способности объединить коммерцию с паломничеством. Набожность и прибыль стали двумя основными двигателями процветания города.

Прошло всего пять поколений с тех пор, как курайшиты захватили контроль над Меккой, восстановили её древнее святилище и провозгласили себя его новыми хранителями. Они мигрировали на север из Йемена, их движение, как и многие массовые переселения в истории, было вызвано катастрофой. В данном случае катастрофой стал обвал огромной плотины Мариб, руины которой до сих пор можно увидеть в холмах за пределами Саны, библейской Савы.

Четверть миллиона акров орошаемых полей были созданы благодаря этой плотине. Наряду с орошением развилась процветающая цивилизация, значительная часть которой финансировалась за счёт выращивания местных колючих деревьев, которые казались совершенно незначительными для тех, кто не знал ценности их сока: мирры. Но вместе с богатством, как всегда, пришла жадность. А с жадностью — нестабильность. Контроль над Йеменом переходил из рук в руки: сначала христианской Эфиопии, поддерживаемой Византией, затем зороастрийской Персии, потом независимых царей (один из которых был евреем в V веке), и снова по этому циклу. Хаос войн неизбежно сказывался, и уход за плотинной Мариб был заброшен. В конце концов, её разрушение произошло из-за чего-то абсурдно простого: кроты прорыли такие глубокие туннели в её огромном глинистом основании, что оно обрушилось, и земля вновь превратилась в пустыню.

Начался исход на север, в который включилось несколько кланов под предводительством легендарного Кусая, прадеда Абд аль-Мутталиба. Объединившись в одно племя, они приняли название курайш, что означает «собравшиеся вместе», и отвергли не только Йемен, но и сельское хозяйство. Когда они осели в Мекке, они поняли: если ты контролируешь святое, ты никогда не будешь голодать.

Святынище, которое они приняли, вскоре стало известно как Кааба, хотя тогда оно ещё не было высокой кубической структурой (само слово «куб» происходит от арабского «кааба»), которая станет центральной точкой ислама. Когда Мухаммад впервые увидел её, это было относительно скромное сооружение, по современным меркам. Её стены из камня и глины были высотой всего с человека, а крыша представляла собой пальмовые ветви, покрытые тканью. Для мальчика, привыкшего к жизни кочевников-пастухов, это было успокаивающе знакомо, так как это часто называли «ариш» — словом, используемым для обозначения крыши из пальмовых ветвей для овчарни или загона для скота. Но это же слово имело глубокое мистическое значение на всем Ближнем Востоке. Так называли скинию древние евреи, которые построили ее в пустыне еще во времена Моисея, и оно указывало не только на защищённое место, но и на место защиты — святынище и убежище как для людей, так и для животных, как в строках «Господь — пастырь мой». Святынище, таким образом, стало высшим убежищем, содержащим дух Бога в себе: божество аль-Ллах, буквально «высший», подобно его еврейскому эквиваленту Элохим или ещё более древнему месопотамскому Элу — верховному божеству, правящему над всеми меньшими племенными богами и тотемами.

В соответствии с вековыми метафорами высоты и величия можно было бы ожидать, что такое святынище будет возвышаться над своим городом, как Парфенон над Афинами или Храм над древним Иерусалимом. Однако ранняя Кааба нарушала традицию «высоких мест» для общения с божественным. Она находилась в самой низкой точке Мекки, глубоко в углублении, вырезанном пересекающимися *вади*, сухими руслами рек, созданными внезапными наводнениями. И это лишь добавляло ей загадочности. Небольшая открытая территория вокруг неё была скрыта домами, так что вы неожиданно наталкивались на неё, выйдя из лабиринта пыльных переулков с решетчатыми балконами, к свету открытого пространства. Казалось, что город защищает Каабу, словно обнимая её. По сути, это была не корона, а пуповина Мекки — её центр, вокруг которого всё вращалось. Даже в буквальном смысле. Возвращаясь из путешествия, мекканцы делали так же, как паломники: обходили святынище семь раз, левым плечом внутрь — ритуал обхода, который был своего рода печатью, сделанной собственным телом. «Вот я здесь», — как бы говорил он. «Здесь моё место».

Это чувство принадлежности находило отклик у десятков тысяч людей, прибывавших со всей Аравийской полуострова в течение месяца Зуль-хиджа, «месяца хаджа», центрального из трёх священных месяцев, когда вся Мекка считалась священным городом, и всякие сражения были запрещены в её пределах. В эти месяцы население города утраивалось, и паломники заполняли переулки, напевая молитвы, направляясь к Каабе. Они произносили: *«Лаббайка, аллахумма, лаббайка»*, что означает: «Вот я здесь, о Боже всех людей, вот я здесь». А также: *«Ла шарика ляка илла шарикун хува ляк»*, что переводится как: «Нет у Тебя сотоварища, кроме тех, которых Ты сам избрал», — таинственная и неоднозначная формулировка, которая, казалось, включала и признавала всех остальных племенных богов, но при этом удерживала их, так сказать, на своём месте.

Это место находилось не в самой Каабе, а в открытом пространстве вокруг неё. Однако сколько их было, остаётся открытым вопросом. Через три столетия один историк из Дамаска утверждал, что там было триста шестьдесят этих «идолов», как он их называл, и это число часто повторяется современными историками. Но помимо практической невозможности такого количества на столь маленьком пространстве, само число, вероятно, анахронично, так как оно соответствует числу градусов в круге, установленному исламской математикой только в IX веке. На самом деле таких идолов могло быть не больше дюжины, и они действовали не как боги сами по себе, а как племенные тотемы. Тот факт, что они располагались вокруг Каабы, а не внутри неё, ясно давал понять, что они были подчинены единому Богу, чьим святилищем она являлась. Так устроено было язычество. Несмотря на вводящую в заблуждение современную идею о множестве богов, конкурирующих друг с другом, все древние языческие системы почитали одного высшего бога над всеми остальными. Другие же боги считались «сопряжёнными» с высшим богом, и этот термин, использовавшийся как в Ветхом Завете, так и в Коране, ясно указывал на их более низкий статус: не столько «партнёры Бога», сколько младшие товарищи.

Называть их идолами столь же ошибочно, так как это вызывает образы ярко раскрашенных и позолоченных статуй в духе старых голливудских фильмов. Суть в том, что это не были статуи. Ветхий Завет настоятельно требовал, чтобы двенадцать камней для алтаря были «нетесанными», то есть не обработанными рукой человека. Точно так же тотемные камни Мекки считались объектами таинственной силы именно потому, что их не обрабатывали, по крайней мере, люди. Их формировала некая другая, более высокая сила: действие ветра и времени на песчаник, вулканическая энергия, создающая кварц, полевошпат и слюду, или внеземная сила метеоритов, падающих с небес огнём. Эти камни могли

быть величиной с футбольный мяч, как Чёрный камень, встроенный в один из углов святилища Каабы, или округлыми и гладкими, как три «дочери Бога», известные как Манат, Лат и Узза, или огромными, как Хубал, возвышающийся над самым высоким человеком. Благодаря своим размерам, форме или блеску, каждый из них настолько выделялся в пустынном ландшафте, что даже самый светский ум мог почувствовать в их существовании некую духовную силу и стремился найти способ забрать их домой.

Эти камни почитались, украшались гирляндами, им приносили подношения и жертвоприношения животных, но перед ними никто не преклонялся и не молился. Сами камни не обладали силой; она принадлежала духу, который они представляли — духу, создавшему их. Но камни были осязаемыми; их можно было увидеть и потрогать. Они предлагали утешение физического присутствия, выражая человеческую тягу к воплощённому богу, который говорил и которому можно было обратиться. Личностный бог, если можно так выразиться, выступающий в качестве своеобразного «помощника», доступного пользователю, по отношению к непостижимой, невидимой тайне силы, оживляющей мир.

Описания того, что находилось внутри Каабы, стали столь же преувеличенными, как и рассказы о том, что было снаружи. Некоторые ранние исламские историки придерживались сравнительно сдержанных версий, утверждая, что внутри находились лишь рога барана, принесённого в жертву Авраамом вместо Исмаила, или единственная золотая голубка. Другие утверждали, что там были статуи, представляющие все многочисленные племена Аравии, а также христианские изображения Марии и младенца Иисуса. Кроме того, упоминались несметные сокровища, древние мечи и ещё более древние свитки. Каждая версия клятвенно подтверждалась, каждая была «видена своими глазами» или глазами близкого человека, и каждая противоречила следующей. Но самой загадочной, а также наиболее вероятной, возможностью было то, что, как и в святой святых иудейского храма, когда-то стоявшего далеко на севере в Иерусалиме, Кааба была пуста. Ни один физический объект не мог бы вместить сущность единого Бога, и потому эта пустота представляла собой куда большую тайну, чем любое количество идолов или груды сокровищ.

Не сложно понять, почему историки, писавшие в утончённой городской среде поздних Дамаска и Багдада (города, который даже не существовал в VI веке), настаивали на том, что доисламская Мекка была погрязшей в идолопоклонстве. Их ориентиром была кораническая концепция *джахилии*, которую переводят как «идолопоклонство», «варварство», «тьма» или «невежество» — своего рода краткое описание язычества как такового, вызывающее образы безбожных существ, живущих в мрачном невежестве ко всему святому.

Но язычество не было безбожием. Скорее, напротив, оно представляло собой избыток богов: политеизм. Образ язычества как отсутствия морали и ценностей, хаотической бесконечности конкурирующих божеств, варварских ритуалов и эротически насыщенной распущенности был продуктом необходимости зарождающегося монотеизма утвердить свою моральную высоту. Эта концепция была скорее политическим конструктом, чем историческим фактом. Все великие мыслители античности были язычниками, однако у них не было недостатка ни в душе, ни в чувстве святого.

Последнее, как бы они себя ни описывали, было явно неверно. Слово «язычник» и тогда, и сейчас использовалось как оскорбление. Оно происходило от того же корня, что и английское слово «крестьянин» (pagus на латыни, означающее «сельский округ»); для римского аристократа крестьянин по определению был язычником, и наоборот.

Исламский образ доисламской Мекки удивительно напоминал образ Израиля, представленный еврейскими пророками до утверждения монотеизма. Исайя, Иеремия и Иезекииль писали метафорически, когда описывали весь Иерусалим и весь Израиль как «блудницу». Они обвиняли древних израильтян в продаже не их тел, а их душ. И они знали, что делали, когда выбрали слово «блудница». Тогда, как и сейчас, сексуальные метафоры привлекали внимание. Но рано или поздно метафору начинают воспринимать буквально.

Ирония заключается в том, что ранние исламские историки, как и еврейские пророки до них, оказались столь же ориенталистскими, как и европейские учёные XIX века, которых так эффективно критиковал Эдвард Саид в своей работе «Ориентализм». Ориентализм, если говорить честно, начался на самом Ближнем Востоке задолго до европейского империализма и по той же причине: интеллектуальное высокомерие. Эти исключительно городские люди VIII и IX веков, гордясь культурными и интеллектуальными достижениями мусульманской империи — от великолепия Купола Скалы в Иерусалиме до академий, закладывавших основы современной медицины и науки, — противопоставляли своё изящество предполагаемой примитивности прошлого, создавая исламский образ эпохи до и после Просвещения.

Как и мы в современном Западе, они лелеяли иллюзию, что их современники представляли собой вершину цивилизации, утончённых наследников, которые продвинулись далеко вперёд от тех тёмных времён. Подобно нам, они не могли не видеть прошлое через призму собственных достижений, искажая его в процессе, словно смотря через перевёрнутый конец телескопа.

Именно так они интерпретировали единственное кораническое упоминание «мерзости» в Каабе как наготу, что в точности соответствовало их ожиданиям относительно «непросвещённых язычников». Но, подобно тем, кто читал осуждение блудодеяния еврейскими пророками буквально, они уловили образ, но упустили суть. Паломники действительно снимали повседневную одежду, признавая присутствие святого, но затем надевали две бесшовные полосы неотбеленного домотканого льна, известные как *ихрам*, которые до сих пор носят на хадже. По сравнению с обычными широкими одеждами, покрывающими всё, кроме рук и ног, это можно было назвать наготой. Паломники намеренно делали себя уязвимыми, принимая самое простое и скромное одеяние, чтобы не было различий по статусу или племени, подчёркивая, что все равны перед Богом. Все, кроме тех, кто поставлял эту одежду, — людей, управлявших паломническим бизнесом, то есть курайшитов.

Ничего нового в том, что из религии выкачивали всеми возможными способами деньги, не было. Курайшиты прекрасно понимали, насколько прибыльной может быть религия. В VI веке они знали это так же хорошо, как современные телеевангелисты. Мекка управлялась как своего рода олигархия, где власть находилась в руках немногих богатых. Доступ к любому аспекту паломничества всегда регулировался, и всегда за плату.

Торговля специальной одеждой ихрам была лишь одной из многочисленных граней паломнического бизнеса. Наряду с этим процветали и другие доходные дела: обеспечение паломников водой и пищей, продажа корма для верблюдов, ослов и лошадей. Привилегии между кланами делились по воле руководства курайшитов, которые с ловкостью купцов распределяли монополии.

Клан Хашимитов, к которому принадлежал Мухаммад, держал в своих руках право на снабжение водой, ведь глава клана, Абд аль-Мутталиб, владел несметным сокровищем — колодцем Замзам. Каждый шаг паломничества был просчитан до мельчайших деталей: от платы за место под палатку до взносов за вход на территорию Каабы. Даже услуги жрецов, бросавших жребий перед статуей Хубаля, или резчиков, разделывающих жертвенных животных, не обходились без тщательно установленной таксы.

Весь этот стройный механизм был создан с единственной целью — обогащения курайшитов. Их бизнес держался на вере, а вера, в свою очередь, была основой их бизнеса. Каждая монета, каждая крупица золота, каждое зерно сделок — всё текло

в их руки, как вода из Замзама, символизируя то, как искусно они соединяли священное и мирское.

Для мальчика, чьи представления о жизни формировались в суровых, но равных условиях бедуинского быта, всё это не могло не стать потрясением. Его собственный народ, казалось, умело подмял под себя саму суть веры: на словах благочестиво превознося её идеалы, на деле он нарушал самые основы этой священной приверженности.

С позиции стороннего наблюдателя, стоя на окраинах происходящего, он видел всё с обострённой ясностью: социальная несправедливость обнажалась в каждом шаге этого великого спектакля. Подобно современным мегаполисам Африки или Азии, город притягивал людей словно магнит, обещая светлое будущее, но в итоге ввергал их в мрак нищеты. Надежда и отчаяние здесь переплетались, как свет и тень.

Процветание Мекки строилось на спинах беднейших слоёв, чьи мечты о богатстве превращались в кошмары безысходности. Каждый новый дом богатого купца, каждая свежевыкрашенная лавка были построены ценой тех, кто потерял последнюю надежду. И всё это мальчик видел, стоя в тени величественных стен города, чей блеск заслонял суровую реальность.

Мухаммад не мог отвести взгляд или притвориться, будто не замечает, как это делали богатые. Он не мог игнорировать нескончаемую вереницу увечных, доведённых до нищенства, или когда-то гордых кочевников, теперь продающих себя в долговую зависимость, не говоря уже о тяжести настоящего рабства, которое пожирало человеческие жизни. Находясь на окраинах священной территории Каабы, всегда начеку, готовый к любому поручению, он изучал устройство системы, которая пропитывала каждое движение этого города.

Он замечал, как сильные неизменно оказываются на вершине, а слабые остаются внизу. Он видел, как богатые купались в самодовольстве, будто их благосостояние было не только их заслугой, но и знаком особого избрания Богом. С вниманием он слушал, как арбитры разрешали споры о собственности и привилегиях — городские разбирательства, далекие от простоты и общинного равенства бедуинского мира. И, несмотря на всю их холодную расчётливость, он невольно восхищался искусством компромисса, позволяющим обеим сторонам выйти из спора с чувством победы.

Он наблюдал за тем, как приносились торжественные клятвы, заключались сделки, оформлялись соглашения, фиксировались цены и распределялись торговые привилегии. Всё это тщательно скреплялось именем единого Бога, чьё святилище служило центром этого мира, где благочестие и торговля были переплетены в единое целое.

Если у Мухаммада и оставались сомнения в том, насколько тесно были связаны религия и прибыль, они полностью исчезли при виде разительного сочетания этих двух явлений на ежегодной торговой ярмарке в Указе, расположенной за пределами Мекки. Эта ярмарка была бурлящим центром жизни, напоминающим шумные государственные ярмарки в Америке. Она проводилась одновременно с хаджем, представляя собой его светскую противоположность — брэнную сестру священного паломничества. Именно в эти дни Мекка становилась не просто торговым узлом, но конечной точкой для множества караванов, а курайшиты извлекали максимум выгоды из этой возможности.

Местечко Указ превращался на время одновременно в маскарад, базар и торговую площадку. Повсюду раскинулись палатки, животные стояли в загонах, а под навесами из пальмовых листьев велись переговоры и заключались сделки. Здесь можно было купить всё, что угодно, и каждая сделка сопровождалась щедрыми возлияниями крепкого финикового вина или ферментированного кобыльего молока — кумыса.

На прилавках можно было найти настойки и мази, экзотические снадобья и отвары из странных ингредиентов — печёнок старых верблюдов, скорпионьих хвостов, паутины, выдержанной на солнце и закопанной до достижения нужной степени плесени. Одни продавцы предлагали травы для исцеления, другие — яды для тех, кто искал обратного эффекта. Амулеты, созданные из частей животных, волос, драгоценных камней и золотых нитей, обещали своим владельцам здоровье, мужество, защиту от бед или проклятия врагов.

Помимо торговли, ярмарка предлагала зрелища: индийские факиры ходили по раскалённым углям, африканские заклинатели змей гипнотизировали публику, танцующие обезьяны и дерущиеся петухи развлекали зевак. Поэты участвовали в состязаниях, наподобие современных поэтических дуэлей, а прорицатели продавали предсказания. Проповедники предлагали веру, а жрицы любви — телесные утехы. Шаманы входили в транс, катаясь в пыли, а экзорцисты "извлекали" из тел больных воображаемые поражённые органы, оставляя аудиторию изумлённой. Между тем дикие провидцы заявляли о своей пророческой миссии, каждый из них провозглашая свою уникальную истину.

Эта бурлящая смесь бизнеса, веры и развлечений в Указе была одновременно захватывающей и ошеломляющей. Мухаммад наблюдал за происходящим с неизменным вниманием, изучая мир, который был гораздо сложнее и многограннее, чем бедуинская жизнь, к которой он привык.

Но пророков уже было слишком много. Мухаммад слышал о них от евреев, прибывавших в Указ из больших оазисов Медины и Хайбара на севере, а также от христиан, приезжавших из Йемена и кафедрального города Наджран на юге. Эти люди называли себя народом Книги, и сама идея книги — слов, существующих физически, не в устах или ушах, а начертанных на пергаменте, — обладала магической силой для мальчика, который сам не умел ни читать, ни писать.

Эти люди утверждали, что их Бог говорил с ними или, по крайней мере, с их пророками. Но как этот Бог мог говорить столь разные вещи? Как мог пророк одного народа отрицаться другим? Как могли разные племена почитать свои тотемы в пределах священной территории Каабы, игнорируя другие? Как могло быть так много истин?

Для молодого мальчика, неуверенного в своём месте в мире, это многообразие голосов было одновременно очаровывающим и пугающим, пробуждая в нём неясное стремление к ясности, к единому видению, которое объединяло бы людей, а не разъединяло их. Но даже если он осознавал это желание, у мальчика с его положением не было никаких средств воплотить его — особенно после того, как через два года после смерти его матери умер и его дед. С потерей номинального защитника его жизнь снова изменилась.

Пятая глава

В сущности, Мухаммад оказался сиротой втройне. Восемилетнего мальчика вновь передали в другой дом, на этот раз под опеку нового главы клана Хашим — его дяди Абу Талиба.

Для Абу Талиба принятие мальчика было вопросом сыновнего долга; вместе с наследством отца он взял на себя и его обязательства. В этом поступке проявилось чувство чести, и именно как человек чести он сыграет важнейшую роль в жизни своего племянника в будущем. Но насколько рад он мог быть в 578 году очередному рту, которое надо кормить, — рту, у которого не было ни наследства, ни, казалось бы, будущего, — это совсем другой вопрос.

Мухаммад, повидимому был придатком к обширному дому Абу Талиба, а не его неотъемлемой частью. И он должен был заработать право на своё место. Поэтому, несмотря на романтические рассказы о том, что дядя с самого начала особенно заботился о племяннике, записи ясно показывают: Мухаммада отправили работать простым погонщиком верблюдов. Уже через два года он выполнял эту роль в торговых караванах Мекки.

Годы, проведённые с бедуинами, пошли ему на пользу. Он умел обращаться с верблюдами — одними из самых своенравных животных, если не знать, как их приручить. Особые щелчки языком, точное натяжение поводка, легкое прикосновение к боку с нужной силой, чтобы заставить их встать или сесть, — всё это было частью мастерства. Те, кто не умел обращаться с верблюдами, кричали на них, дёргали поводки, делая животных ещё более упрямыми и непокорными. Искусный погонщик был незаметен: он не кричал, не толкал и не бил. Его звуки, побуждающие верблюдов идти вперёд, были настолько мягкими и шипящими, что больше напоминали дыхание, чем шум.

Сначала Мухаммад работал только с молочными верблюдами. Лишь доказав свою надёжность, он получил право работать с кастрированными самцами, которые обеспечивали торговлю в Мекке. Эти одногорбые дромадеры, привезённые из Эфиопии в III веке, оказались идеально приспособлены к климату и ландшафту Аравии. Они могли изменять свою температуру тела в зависимости от условий и запасали воду в красных кровяных клетках, что позволяло им обходиться без питья днями, преодолевая расстояния между колодцами. Горб верблюда, вопреки легендам, хранил не воду, а жир. Люди же не были столь приспособлены к пустыне, поэтому многие караванщики, как отец Мухаммада, уходили в путь и не возвращались. Это показатель того, насколько велики были риски: из четырёх предков, чьи имена дали названия основным кланам курайшитов, лишь один умер дома, в Мекке; остальные трое, включая предка Мухаммада Хашима, окончили свои дни далеко — в Газе, Ираке и Йемене.

Кроме болезней и несчастных случаев, всегда существовала опасность нападений разбойников или кочевых бедуинов, которых привлекала длинная цепочка нагруженных верблюдов. К этому добавлялась и сама по себе изнурительная тяжесть пути под палящим солнцем и ярким светом, многократно усиливавшаяся от раскалённых камней и твёрдой пыльной корки пустыни. Чтобы выдержать такие длительные походы, нужно было обладать огромной выносливостью.

Тяжело нагруженные вьючные верблюды в основном перевозили товары, и лишь самые богатые торговцы могли позволить себе ехать верхом. Те, кто занимался

"работой бедуинов", как юный Мухаммад, шли пешком рядом. Даже после того, как караван останавливался на ночлег, разгружались верблюды, их кормили и связывали для отдыха, — после дневного перехода в 30 миль по ровной местности или менее 20, если путь был сложным, — их работа ещё не заканчивалась. Они собирали продолговатые сухие комочки верблюжьего навоза, настолько плотного и лишённого запаха, что его легко можно было использовать для медленного горения в костре. Затем они доставляли воду для своих хозяев — из колодца или источника, если такие были поблизости, либо из бурдюков из козьих шкур, привязанных к бокам верблюдов. Убедившись, что хозяева хорошо накормлены, они довольствовались лишь оставшимися крохами, а потом всю ночь стояли на страже, защищая караван от хищников: волков, гиен и горных леопардов.

Караваны обеспечивали безопасность благодаря численности. Одиноким путешественник, о котором пели великие бедуинские оды, находя наслаждение в случайных удовольствиях и стойко перенося опасности пути, мог существовать только в поэзии. Реальность же была иной, и лишь молодые и чрезмерно идеалистичные люди могли настолько спутать фантазии с действительностью. Каждый караван состоял как минимум из дюжины верблюдов, но дважды в год мекканские торговцы организовывали огромные караванные поезда, численностью до двух тысяч животных. Весной они отправлялись на север в Дамаск, а осенью — на юг, в Йемен. Именно к северному каравану, направляющемуся в Дамаск, был и прикреплён Мухаммад, когда произошло одно из самых известных событий его детства.

Караван шёл по возвышенности к востоку от реки Иордан, по древнему маршруту, известному как "Царская дорога". Лидер каравана дал сигнал остановиться на ночлег неподалёку от заброшенной византийской крепости, где поселился одинокий христианский монах. Развалины крепости были символом своего времени: когда рушились политические системы, вместе с ними разрушалась и инфраструктура. Конфликт между Византией и Персидской империей, длившийся фактически восемь столетий с времён Александра Македонского, к тому моменту полностью истощил ресурсы обеих сторон. На востоке разрушающиеся ирригационные системы, построенные персами на равнинах между Евфратом и Тигром, приходили в упадок, как и плотина Мариб в Йемене, не выдержавшая нагрузки вековых войн.

В византийской провинции Сирия, охватывающей территории современных Сирии, Иордании, Ливана, Израиля и Палестины, из-за нехватки денег войска были выведены, и многие крепости на линии обороны с севера на юг медленно разрушались под воздействием песчаных бурь. Иногда бедуины использовали их

стены как зимнее укрытие для себя и своих стад. Но чаще там обосновывались монахи — либо в одиночку, либо небольшими группами. Отшельники, проповедники, святые, иногда почти дикие люди, они пользовались уважением у местных племён, которые оставляли для них воду и пищу — дары, скорее, святой идее, воплощённой этими людьми, чем самим людям.

Образ монаха в пустынной келье "в одиночестве с бесконечно длинной ночью и её звёздами, тягостно висящими на небе", стал романтическим мотивом в доисламской поэзии. Свет "лампы отшельника, льющей масло на крученный фитиль из его тонкой глиняной посуды" служил утешением для путника или воина, бродившего в пустыне. Этот образ был установлен ещё в IV веке в Египте, когда Святой Антоний, часто называемый "отцом пустынных отцов", провёл двадцать лет в одиночестве в заброшенной римской крепости на Ниле. Или, возможно, не совсем в одиночестве. Его биограф из Александрии, Афанасий, писал, что присутствие Антония притягивало поток посетителей, включая арабских торговцев, которые намеренно отклонялись от маршрута, чтобы пройти мимо его кельи и прикоснуться к святому присутствию. Влияние Антония было столь велико, что, по словам Афанасия, "монастыри, процветающие, словно весенние цветы, рассеяны по всему миру, и знак отшельника-аскета правит от одного его конца до другого".

Отшельник-аскет, который сыграет столь важную роль в легенде о детстве Мухаммада, был известен под именем Бахира. Имя это странно для жителя пустыни, поскольку происходит от арабского слова *bahr*, что означает "море". Возможно, он когда-то был моряком, а может, это имя символизировало "море знаний", которым он обладал, — особенно в виде книги, о которой ходили слухи, что она стара, как сама история, передаваясь из поколения в поколение монахов. В эпоху, когда лишь немногие умели читать и писать, само существование такой книги было культовым. Её считали неким оракулом, а её мощь передавалась через контакт с хранителем.

На деле книга Бахиры, вероятно, была пергаментной копией Библии в одном из множества её вариантов, существовавших на тот момент. Поскольку пергамент подвержен разрушению, Бахира посвятил свою жизнь кропотливой работе по её переписыванию, буква за буквой, стих за стихом, чтобы сохранить её для потомков.

По словам Ибн Исхака, который, как всегда, добавлял к своим историям оговорки вроде "говорят", Бахира раньше никогда не обращал внимания на проходящие караваны. Но когда караван, частью которого был Абу-Талиб, направлялся в Дамаск, отшельник заметил маленькое облачко в ясном небе. Оно низко парило

над одним местом в караване. Расценив это как знак, он нарушил свой обычай, вышел из крепости и пригласил всех путников разделить с ним трапезу.

Абу-Талиб и остальные приняли приглашение, но оставили десятилетнего Мухаммада присматривать за верблюдами и грузом. Однако, едва все вошли за стены крепости, Бахира ощутил, что кто-то отсутствует. Он начал задавать вопросы, и тогда ему признались: да, действительно, есть ещё один — мальчик, который ухаживает за верблюдами. Но приглашение ведь не распространялось на него?

Наоборот, распространялось. Бахира настаивал, чтобы мальчика привели. Когда Мухаммад оказался перед ним, он заставил ребёнка стоять неподвижно, тщательно осмотрел его тело в поисках "печати пророчества", упомянутой в его таинственной книге. По разным версиям, это мог быть третий сосок, подобный тем, что иногда находят у каждого нового воплощения Далай-ламы, или родимое пятно между лопатками, "похожее на отпечаток медицинской банки". Как бы то ни было, Бахира нашёл искомое, обернулся к Абу-Талибу и торжественно произнёс: "Перед твоим племянником великая судьба".

Эта история идеально соответствует канонам, наполненная предзнаменованиями и чудесами. Облако, парящее над мальчиком, и скрытая печать на его теле — всё это атрибуты будущего героя. Однако легенда, возвышая Мухаммада, одновременно указывает на его скромное положение в караване: мальчик-погонщик верблюдов был настолько незначителен, что его присутствие посчитали недостойным внимания. Если подобное событие действительно имело место, то в то время Абу-Талиб и остальные могли счесть слова Бахиры всего лишь бредом старика, слишком долго пробовавшего в одиночестве под жарким солнцем пустыни. Они, вероятно, посчитали его "мажнун" — одержимым джинном — и отправились дальше в Дамаск.

И всё же легенда остаётся классическим примером предопределённости судьбы. Герой, неизвестный среди своих, мгновенно узнаётся святыми других народов. Ещё важнее то, что признание пришло из Византийской Сирии от христианского монаха, что символически связывает грядущее откровение Корана с предшествующими откровениями, описанными в Библии. Значение этого момента считалось настолько важным, что позднее подобный рассказ — о монахе-отшельнике, пути в Дамаск и признании особого предназначения — поместили на пятнадцать лет позже, в период, когда Мухаммад уже был 25-летним молодым человеком. К тому времени он, поднявшись по иерархии караванной торговли, стал самостоятельным агентом, представляющим интересы других. Но путь от мальчика-погонщика

верблюдов до уважаемого торговца, независимого агента, был долгим и тяжёлым. Мухаммад должен был многому научиться, и перед ним открывался целый мир, полный уроков.

Для успешных торговцев шестого века информация была ключом к процветанию. Как показывают новости из Wall Street Journal или Financial Times, знание ситуации в торговых маршрутах и на рынках имело решающее значение. Мекканские купцы обязаны были быть политически и культурно осведомлёнными, всегда держать руку на пульсе событий — как в пути, так и в пунктах назначения. Они также должны были быть искусными дипломатами.

Дипломатия начиналась с необходимости обеспечения безопасного прохода через земли различных племён и племенных конфедераций. Такие гарантии требовалось заранее обговаривать и оплачивать — что-то вроде древнего аналога дорожных пошлин или "денег за охрану". Нужно было получить разрешение на использование местных источников воды, договориться о поставке провизии на пути, преподнести дары шейхам, от которых зависела безопасность маршрута. Всё это требовало обширной сети контактов и глубокого понимания племенной политики: кто обладает властью, чтобы гарантировать защиту, чьё влияние растёт, а чьё угасает, какие союзы недавно заключены, а какие распались из-за конфликтов за пастбища или водные ресурсы.

Руководители караванов должны были знать, на чьё слово можно положиться, особенно когда слово мужчины действительно считалось нерушимым обязательством. Такие соглашения не закреплялись письменно, а утверждались рукопожатием — предплечье к предплечью, символизируя торжественное обещание, от которого зависела репутация человека. Но репутации бывают разные: одни заслужены, другие нет, и разница между ними могла быть вопросом жизни и смерти.

Оказавшись под формальной защитой местного шейха, купцы становились его гостями и защищались, как если бы находились в его собственном доме или дворце. Любое нападение на караван считалось равносильным нападению на самого шейха. Для обеспечения безопасности он назначал проводников, которые сопровождали караваны по своей территории. Эти проводники могли "читать" пустыню, как книгу. На первый взгляд, бесконечные просторы обнажённого камня, редкой степной растительности и острых лавовых полей выглядели пустыми и однообразными, но для опытных глаз проводников эта местность была полна знаков и узнаваемых ориентиров.

Карт им не требовалось: земля была у них в голове. Они точно знали, в какой сезон какой источник даёт лучшую воду, где расположены зимние лужи, собирающие дождевую воду, и какие из них сохраняются дольше всего. Проводники вели караваны от одного водного источника к другому, иногда находящимся в дневном переходе, а иногда и в двух или трёх. Временами их путь пролегал через кочевые стоянки, расположенные возле подземных источников или скудных деревьев у горьковатого колодца, но иногда они наслаждались роскошью оазисов — как Медина, Хайбар, Тейма или Табук. Эти оазисы были как жемчужины на нитке, зелёные ленты финиковых пальм, скрытые в глубоких долинах, питаемых вечными ключами.

Тяжёлые месячные переходы компенсировались их прибылью. К эпохе Мухаммада мекканские купцы расширили свою торговлю на территории, большей, чем Европа, охватывая Сирию и Ирак, Египет, Йемен и Эфиопию. И где бы они ни оказались, они не были чужаками. Они пустили корни в землях и городах, с которыми вели торговлю, потому что быть торговцем в то время значило быть путешественником, а быть путешественником — значило быть временным жителем.

Они не отправлялись в далёкий путь длиной в восемьсот миль ради быстрого появления, будто бы это был древний аналог «мимолётной посадки» в современном аэропорту Дамаска. Здесь не было беглого появления, рукопожатия при сделке и немедленного возвращения. Нужно было время, чтобы принять и оказать гостеприимство, чтобы создать и развить личные отношения, которые позволяли торговать, и чтобы провести долгий, тщательно продуманный ритуал переговоров. Вы обустроивались на длительное время, делая место своим домом настолько, что к тому моменту, как Мухаммад начал работать в караванах, мекканские аристократы владели поместьями в Египте, особняками в Дамаске, фермами в Палестине и финиковыми плантациями в Ираке.

Для Мухаммада не могло быть лучшего образования, чем в Дамаске, гораздо более обширного, чем то, которое получает любой современный школьник, запертый за экраном компьютера в четырёх стенах. Впервые он осознал, что, несмотря на всю свою космополитичность по местным меркам, Мекка была провинциальной по сравнению с этим большим миром на севере. Так же как он сам одновременно был своим и чужим в Мекке, так и его город был одновременно внутри и снаружи: он имел значение благодаря своему центральному положению на сухопутном пути на север из Йемена и Индийского океана, но был отделён огромным пространством пустыни от физической арены византийско-персидского соперничества, в котором Мекка играла роль гигантской засушливой Швейцарии, не присоединившейся ни к одной из сторон.

Даже тогда Дамаск был древним городом с историей, насчитывающей более полутора тысяч лет. Это был важнейший узел западной части знаменитого Шёлкового пути, и его улицы были полны людей из самых отдалённых мест: с севера — от Каспийского моря, с востока — от Индии. Греки, персы, африканцы, азиаты, светлокожие и темнокожие, мягкие мелодичные языки и резкие, гортанные — всё это смешивалось здесь в плодотворном объединении не только товаров, но и культур, а также религиозных традиций, которые формировали эти культуры.

Через арамейский язык, который, словно общая нить, связывал весь Ближний Восток, звуча в разнообразных, но взаимно понятных диалектах, Мухаммад приобщился к калейдоскопу священного. Истории, бережно хранимые людьми, становились отражением их прошлого и их самобытности, и никто не стеснялся делиться ими. Во дворах синагог и церквей, на шумных рынках и в просторных караван-сараях, под густыми тенями деревьев, что обрамляли каналы, превращавшие Дамаск в оазис для уставших от зноя путников, звучали эти предания. Мягкий голос старцев, пылкие речи молодых проповедников, строки поэтов, размышления священников, мечтания философов — всё это складывалось в живую ткань повествования.

Заворожённые слушатели, словно загипнотизированные, внимали каждому слову, кивая в такт и порой напевая знакомые строки, когда перед их мысленным взором оживали древние легенды христиан и евреев, зороастрийцев и индуистов. Здесь, в этом удивительном переплетении историй, человеческие судьбы и божественные замыслы сходились в единой драме, что оживляла полотно прошлого. Каждый рассказчик пытался по-своему раскрыть тайны мироздания, охваченный страстной верой в то, что истина сокрыта лишь в его словах. Однако даже внутри одной веры эта истина, подобно граням драгоценного камня, отражалась по-разному, принимая всё новые и новые очертания.

К примеру, библейские истории, которые пересказывали евреи Медины, заметно отличались от тех, что звучали в рассказах евреев Дамаска. Христианские предания также нередко расходились в деталях, порой обретая трогательные вариации. Так, в одной версии эпизода, где Иисус защищает женщину, обвинённую в прелюбодеянии, он произносит знаменитую фразу: «Кто без греха, пусть первым бросит камень». Однако в другой, до сих пор бытующей на современном Ближнем Востоке, он становится между женщиной и её обвинителями, заслоняя её своим телом, и добавляет решающие слова: «Кто без греха, пусть первым бросит камень в меня».

Были известные легенды, такие как предание о семи спящих. Семь юношей, замурованных в пещере во время римских преследований первых христиан, не погибли, а чудесным образом погрузились в глубокий сон, который длился двести лет. Когда они пробудились, мир изменился: христианство восторжествовало. (Примечательно, что мусульмане сегодня знают эту историю лучше, чем многие христиане, поскольку она упоминается в Коране.) Настолько велико было почитание семи спящих, что каждая местность стремилась привязать легенду к себе, утверждая, что именно у них находится та самая пещера. Это географическое соперничество сохранилось до наших дней: современные паломники могут выбрать, куда отправиться, чтобы увидеть предполагаемую пещеру семи спящих — близ Эфеса в Турции, в нескольких милях к северу от Дамаска в Сирии или неподалёку от Аммана в Иордании.

Различия уходили гораздо глубже, чем легенды. Христиане и евреи почитали Библию, но каждая из общин придерживалась своей версии. И когда дело доходило до толкования её смысла, между ними, а порой и внутри самих религий, вспыхивали споры, полные страсти и ожесточения. Евреи расходились в выборе раввинов, чей голос звучал для них убедительнее, спорили между Иерусалимским и Вавилонским Талмудами, колебались между строгим следованием закону и мечтой о приходе Мессии. А христиане, погружённые в ещё более сложные разногласия, часто доводили свои внутренние конфликты до открытых столкновений. Вопросы о том, был ли Иисус одновременно Богом и человеком, или Богом в человеческом облике, имел ли он одну природу или две, превратились в политическое оружие. Эти споры раскалывали Византийскую империю, и её провинции становились на сторону то одной, то другой теологической фракции.

Для подростка, пытавшегося сложить свою жизнь из осколков, монотеизм выглядел подобно маяку в бушующем море. Эта идея перекликалась с его пониманием суровой чистоты пустыни, где каждая песчинка подчинена мощи, превосходящей человеческие силы. Монотеизм говорил с ним на языке его души, обещая единство, способное затмить разрыв между чувствами принадлежности и одиночества. Эта великая идея объединения всех народов перед лицом невообразимой, но явной силы казалась ему идеалом, который может стереть все границы. И всё же, куда бы он ни смотрел, то, что должно было сближать людей, только разделяло их.

Как могло стремление к божественному единству превращаться в источник человеческого разобщения? Почему идея одной веры рождала столько разногласий? Могло ли быть так, что человечество обречено разрушать даже то, что призвано соединять его? Эти вопросы, возможно, впервые начали рождаться в душе молодого Мухаммада, как зёрна размышлений, которые однажды взойдут.

Но куда бы он ни посмотрел, всё, что должно было служить объединяющей силой, лишь усиливало разобщение. Чем громче люди возвещали слова пророков — от Моисея до Иисуса, — тем меньше, казалось, слышали они их смысл. Как могло божественное единство, столь мощное в своей идее, привести к столь глубокому человеческому разобщению? Почему монотеизм, обещающий преодоление различий, порождает неутрачивающую сектантскую вражду? Неужели человечество было обречено раздираться на части именно тем, что должно было стать основой его единства?

Верить ли в мистическое предвидение монаха Бахиры или в проницательный купеческий взгляд Абу-Талиба — вопрос остаётся открытым. Однако дяде не потребовалось много времени, чтобы разглядеть в своём племяннике нечто большее, чем просто любознательного мальчишку. Мухаммад проявлял редкую наблюдательность и быстро учился. Казалось, он читал мысли Абу-Талиба, оказываясь под рукой ещё до того, как тот осознавал свою потребность. Он незаметно выполнял поручения, проверял поставки и аккуратно вёл учёт запасов. Когда мальчик перешагнул порог юности, Абу-Талиб начал всё больше доверять ему, вовлекая его в свои дела.

Караваны стали для Мухаммада не только школой торговли, но и кладезем культурных и религиозных знаний. Каждый путь открывал перед ним новый мир, полный человеческих историй, верований и обычаев. Эти дороги становились не просто дорогами, но нитями, связывающими множество судеб и идей, которые формировали его мировоззрение и его будущее.

Он видел, как его дядя всегда первым протягивал руку, чтобы крепко пожать её собеседнику: рукопожатие политика, заставляющее другого почувствовать себя почётным гостем, вовлечённым, особенным. Он наблюдал, как купцы следовали вековым традициям гостеприимства, которое даруется и принимается с достоинством. Они пили чай, молоко с мёдом, гранатовый сок, наслаждались фаршированными финиками и острыми угощениями, завернутыми в виноградные листья, и макали хлеб в общую чашу, признавая связь между теми, кто делит трапезу. Мухаммад слушал бесконечные переговоры, обучаясь медленному и величественному искусству, в котором каждая сторона одновременно держала другую на расстоянии и приглашала её ближе, оценивая степень гостеприимства и дистанции, уступок и настойчивости, пока наконец не устанавливалось доверие и сделка не закреплялась.

По мере того как Мухаммад продвигался ближе к позиции Абу-Талиба, он начал понимать ценность тех товаров, которые они везли из Мекки. Среди них были

относительно обыденные грузы, такие как кожа и шерсть, а также небольшие количества золота и серебра, добытые в горах Хиджаза и предназначенные для изготовления кинжалов и украшений знаменитыми ремесленниками Дамаска. Однако самым лёгким, самым компактным и, безусловно, самым прибыльным из всего груза были наиболее ценные товары: мирра и ладан.

На этих ароматических смолах можно было заработать целое состояние. Их добывали с большим трудом, высекая из, казалось бы, ничем не примечательных колючих кустарников, которые росли исключительно в высокогорьях Йемена, Эфиопии и Сомали. Они пользовались высоким спросом по всему Византийскому и Персидскому империям. Городская элита предпочитала использовать мирру как парфюм и дезодорант. Скорбящие натирали тела умерших миррой перед тем, как завернуть их в саван. Ладан же сжигали в огромных количествах в церквях: его дым наполнял воздух ароматом и окутывал верующих. Кроме того, его бросали горстями в священные зороастрийские огни Персии, заставляя пламя искриться, создавая радугу цветов. Перевозя девять различных видов ладана, а также мирру в виде масла и кристаллов, такой купец, как Абу-Талиб, мог утроить или даже учетверить свои первоначальные вложения — за вычетом всех расходов.

Торговля караванов из Мекки не была случайным делом. Она была организована как картель и управлялась синдикатом. Эта система финансирования приносила пользу всем, кто был допущен к участию. Во времена, когда Мухаммад работал на Абу-Талиба, крупнейшие доли принадлежали четырём основным кланам Курейша, но многие другие имели миноритарные доли, включая отдельных лиц. Пошлины, деньги за охрану, таможенные сборы и налоги на продажу оплачивались синдикатом и учитывались в расчётах, при этом доля каждого участника вычиталась из прибыли для покрытия административных расходов. Здесь также была необходима дипломатия, чтобы сглаживать неизбежные споры о распределении прибыли, и здесь же Мухаммад быстро учился, становясь столь же искусным в улаживании задетого самолюбия, как и в переговорах по различным вопросам.

К началу двадцатых годов Мухаммад стал надёжным помощником Абу-Талиба на долгих караванных путешествиях, и его положение в глазах дяди поднялось настолько, что он уже почти воспринимался как сын. Но только почти.

Если бы эти двое не были близки, Мухаммад никогда бы не осмелился попросить о том, о чём он попросил. Он бы никогда не почувствовал, что имеет право даже затронуть эту тему. Поэтому, когда он попросил руки дочери Абу-Талиба Фохиты, он, конечно же, не мог ожидать отказа. Однако его просьба была отклонена.

Это не была история о юных влюблённых, разлучённых судьбой. Брак в VI веке был гораздо более прагматичным союзом. Мы ничего не знаем о Фахите, кроме её имени. Предложение Мухаммада было адресовано отцу, а не дочери. По сути, он просил Абу-Талиба публично подтвердить их близость, объявив его не просто «как сына», но полноправным членом семьи. Это означало бы, что он перестал быть просто бедным родственником, которому удалось подняться в жизни, а стал зятем.

Решение Абу-Талиба не имело ничего общего с тем, что Мухаммад и Фахита были двоюродными братом и сестрой. Грегор Мендель и наука о генетике появились только спустя тысячу сто лет, а браки между кузенами были столь же обычными в VI веке как в Аравии, так и в других местах, как это было в библейские времена. Такие браки рассматривались как средство укрепления внутренних связей клана, и эта традиция сохранялась в брачных союзах европейской знати вплоть до XX века. Таким образом, существует только одна возможная причина отказа Абу-Талиба: он не считал этот брак выгодным для своей дочери.

Независимо от того, насколько он доверял и полагался на Мухаммада, отец не собирался выдавать свою дочь замуж за сироту без собственных средств. Он намеревался выдать её замуж за представителя элиты Мекки и быстро нашёл для неё более подходящего аристократического жениха.

Если бы Бахира действительно предвидел великое будущее для Мухаммада, Абу-Талиб явно не воспринял его всерьёз. А если Мухаммад думал, что он преодолел ограничения своего детства, теперь ему напоминали, что они всё ещё действуют. Отказ Абу-Талиба нести ответственность за него в качестве зятя содержал ясное послание. «Вот насколько далеко ты можешь зайти, но не дальше», — как бы говорил он. «Хорош, но недостаточно». В сознании его дяди Мухаммад всё ещё был «свой, но не совсем».

Со временем Абу-Талиб пожалеет о своём отказе Мухаммаду. Эти двое в конце концов преодолеют разрыв, который это вызвало между ними, и станут ближе, чем когда-либо. Однако, как это будет происходить неоднократно на протяжении всей жизни Мухаммада, отказ сыграет ему на пользу в долгосрочной перспективе. Отказ Абу-Талиба принять его в качестве зятя окажется одним из тех ироничных поворотов, которые определяют историю — или, если вам так угодно, судьбу человека.

Если бы Мухаммад женился на своей кузине, сегодня никто бы, возможно, даже не знал его имени. Без женщины, на которой он всё же женился, он, возможно, никогда

не обрёл бы той смелости и решимости, которые позволили ему исполнить важную, уготованную ему судьбой роль.

Шестая глава

Это был необычный брак. Она была старше него, и хотя мнения о том, насколько старше, расходятся, большинство сходится на том, что ей было сорок лет, а ему — двадцать пять. Но именно это не делало брак необычным. По крайней мере, так считали многие западные ученые. Скорее они раскрывали своё собственное отношение, чем понимание Мухаммада, предполагая, что это был брак по расчету, особенно финансовому. «Он женился на ней из-за денег», — говорили они, — «синдром богатой вдовы», так как им казалось само собой разумеющимся, что она не могла его привлекать. Несколько ученых, склонных к психоанализу, представляли, что он видел в ней образ матери, сирота, ищущий замену матери, которую он потерял в шесть лет. Лишь немногие задумывались о том, что он действительно её любил.

На самом деле разница в возрасте значила немного в культуре, где многожёнство было обычным. Будь то последовательные браки из-за смерти или развода, или полигамные среди элиты, практика означала, что тётя могла быть моложе своего племянника, один сводный брат на целое поколение старше другого, а двоюродный брат соответствовал возрасту, который мы сейчас ожидаем от дяди или племянницы. Однако верно то, что немногие из этих браков основывались на любви. Подавляющее большинство заключалось из политических или финансовых соображений, связывая один клан или племя с другим. Но это не означает, что романтическая любовь не существовала. Поэты доисламской эпохи воспевали её в ярких деталях, только не в рамках брака, который был делом прагматичным, а не романтическим.

И всё же отношения между Мухаммадом и Хадиджей казались чем угодно, но только не прагматичными, и именно это поставило в тупик учёных. Самое разумное объяснение их долгого моногамного брака также является самым простым: у них была настоящая связь глубокой любви и привязанности, которая длилась двадцать четыре года. Она была тем человеком, который сыграл центральную роль в том, чтобы Мухаммад принял свою публичную роль, но сделала это тихо, вне мифологизации его образа, так как она умерла ещё до того, как он начал привлекать массы в свою поддержку.

Спустя долгое время после её смерти он превозносил её как намного превосходящую всех его последующих жён, утверждая, что больше никогда не

найдёт такую любовь. Став лидером новой религиозной общины, Мухаммад приобрёл высокий статус, уважение и почитание. Люди стремились быть рядом с ним и заслужить его внимание или поддержку не только из-за личной симпатии, но и ради признания своей значимости или укрепления своего положения в обществе. Однако, несмотря на этот новый статус, он продолжал хранить искренние чувства к Хадидже, потому что она любила его безусловно, задолго до того, как он стал пророком и приобрёл влияние. Хадиджа любила его за то, кем он был, а не за то, кем он станет, и он никогда не забывал её в те поздние годы, бледнея от горя при звуке любого голоса, напоминавшего ему её.

Так что то, что делало этот брак необычным, заключалось не в разнице в возрасте, а в его близости, особенно учитывая разницу в социальном статусе между мужем и женой. И в том, что именно она сделала ему предложение жениться.

Ибн Исхак описывает Хадиджу таким образом: «Хадиджа бинт Хувейлид была женщиной, занимающейся торговлей, пользовалась почетом и имела достаток...Хадиджа была женщиной решительной, благородной, умной и великодушной...». Непривычно видеть такие слова, как «решительная» и «умная», применённые к женщине того времени, но в случае Хадиджи они были совершенно уместны. Дважды овдовевшая, она унаследовала долю своего второго мужа в мекканском караванном картеле, что означало её финансовую независимость — не такую богатую, как ведущие мекканские купцы, но достаточно комфортно устроенную. Теперь у неё был выбор: она могла продать свой бизнес одной из могущественных торговых групп или продолжить его как независимая, для чего ей понадобился бы человек, которому она могла бы доверять для представления её интересов в торговых караванах. По сути, управляющий делами, хорошо разбирающийся в бизнесе и не ставящий свои интересы выше её.

В 595 году она наняла Мухаммада в качестве своего агента на караван, отправлявшийся в Дамаск, и, согласно одному из рассказов, послала с ним надёжного слугу с поручением сообщить, как он справляется с её делами. Слуга, раб по имени Майсара, вернулся с историей, перекликающейся с историей Бахиры пятнадцатью годами ранее. Он сообщил, что Мухаммад искал тень под деревом рядом с монашеской кельей в Сирии, и монах, увидев его, изумился. «Никто ещё не останавливался под этим деревом, кроме пророка», — сказал он Майсаре, который затем добавил чудесное, утверждая, что, когда жара усиливалась к полудню на обратном пути, он видел двух ангелов, заслонявших Мухаммада от солнца.

Данное заключение кажется несколько несправедливым по отношению к Хадидже, поскольку оно, как утверждает Ибн Исхак, предполагает, что именно этот слова

Вараки о монахе и ангелах стали решающим фактором, побудившим её предложить брак. Это характерная проблема чудесных историй: если их рассмотреть более детально, они часто оборачиваются против своего же создателя. Этот рассказ как бы подразумевает, что без вмешательства монаха и ангелов Хадиджа никогда бы не решилась рассмотреть Мухаммада в качестве супруга. Однако ей, очевидно, не требовалось постороннего подтверждения его надёжности как управляющего или осознания того, что он был намного большим, чем просто исполнитель её поручений.

Он уже заработал себе отличную репутацию за годы работы с Абу-Талибом. Вместо того чтобы бесконечно торговаться, предлагая более низкие цены и требуя более высокие, чем он знал, что получит, он предлагал справедливые цены с самого начала — и поскольку его знали как справедливого, ему взамен предоставляли товары более высокого качества. Он никогда не брал дополнительной доли для себя за кулисами или не приукрашивал отчёты о расходах (такие практики существовали столько же, сколько существует торговля), поэтому, после того как Абу-Талиб отказал ему в качестве зятя, он стал востребованным независимым агентом, работающим на комиссионной основе. То есть человеком, которого можно нанять, без собственных интересов, которые нужно продвигать, до такой степени, что казалось, он почти презирал стремление к прибыли, которое управляло Меккой.

Какие бы комиссии он ни зарабатывал, он раздавал их в виде милостыни бедным. Другие купцы, несомненно, считали его за это глупцом. Как он вообще рассчитывал жениться, не говоря уже о том, чтобы жениться удачно? Как он надеялся содержать семью? Подняться в обществе? Они пытались использовать отсутствие в нем корыстных интересов в своих целях, что он, конечно, знал, но его это не заботило. Его ценности находились в другом месте, хотя, пока они не касались денег и собственного продвижения, мало кто задавался вопросом, где именно. Его бескорыстие выделяло его, делая его частью культуры, но не её ценностей, и хотя большинству это могло казаться странным, Хадиджа находила это достойным восхищения.

Как вдова, и, до Мухаммада, бездетная, она знала, что значит быть неуверенной в своём положении в обществе, и насколько тяжело было ему пробиваться из рядов мальчиков-погонщиков верблюдов до агентов своих хозяев. Она могла видеть, что с точки зрения зрелости он был куда ближе к среднему возрасту, чем к юности. Поэтому нетрудно понять, как эти два человека, оба необычные для своего времени и места, могли протянуть друг другу руки. Или, скорее, как она протянула ему руку, и, выйдя за него замуж, ввела человека, находящегося вне круга, в круг.

Именно она сделала предложение, просто потому, что он не мог этого сделать. Особенно после отказа Абу-Талиба, он не посмел бы проявить инициативу. Хадиджа принадлежала к могущественному клану Асад, что делало её крайне привлекательной для брака. Среди её женихов были самые богатые купцы Мекки, все они предлагали щедрые дары её отцу, чтобы смягчить сделку. Но, в отличие от юной дочери Абу-Талиба, Хадиджа отказалась быть выставленной на торги. Ей не нужен был ещё один традиционный брак; на этот раз она собиралась бросить вызов традиции и выйти замуж за человека, которого выберет сама, а не за того, кого выберут за неё.

Как передаёт Ибн Исхак, добавляя «так гласит история», чтобы подчеркнуть несколько формальную речь, она сказала: «Я захотела тебя из-за твоего родства, из-за уважения, которым ты пользуешься в своем народе, из-за твоей честности, высокой нравственности, правдивости твоих слов», и предложила ему стать её мужем.

Тем не менее, формальности должны были быть соблюдены. После того как Абу-Талиб отказался от него как от зятя, он вряд ли мог представлять его отцу Хадиджи, как того требовал обычай. Вместо этого другой из десяти сыновей Абд аль-Мутталиба, дядя Мухаммада Хамза, официально попросил её руки от его имени. Согласно одной версии, отец Хадиджи охотно согласился, хотя что он думал о том, что его дочь выходит замуж за «никого», остаётся неясным, особенно учитывая приданое, предлагаемое другими женихами, и вероятность того, что он был против этого брака, как подразумевает другая, более пикантная версия событий.

Эта версия, добросовестно включённая Ибн Исхаком, утверждает, что «Хадиджа пригласила своего отца в свой дом, напоила его вином, пока он не напился, намазала его духами, одела в полосатую накидку и заколола корову. Затем она позвала Мухаммада и его дядю, и когда они пришли, она устроила брак между ними». К тому времени, как её отец протрезвел, всё уже было сделано.

Возможно, такие попытки объяснить брак понятны, учитывая, что отношения, основанные на подлинной любви, заботе и уважении, были редкостью в то время. Но этот рассказ игнорирует репутацию Мухаммада за честность, и, судя по тому, что мы знаем о Хадидже, она была столь же маловероятной, как и он, чтобы участвовать в пьяном обмане. История умаляет её достоинства; возможно, она вышла замуж за человека с меньшим богатством и социальным статусом, но то, что она видела в Мухаммаде, было важнее всего этого.

Дети появились быстро, укрепляя связь между супругами. У них было четверо дочерей и один сын, Касим. Но Касим умер, не дожив до двух лет, и хотя коранические откровения позднее сделают акцент на праздновании дочерей, осуждая тех, кто измерял богатство и статус только количеством сыновей, утрата этого одного сына всё же должна была стать глубоким ударом. Это означало, что Мухаммад останется тем, кого называли *абтар*, что буквально означает «усечённый», «отрезанный» или «прекращённый». Иными словами, без мужского потомства.

Горе от утраты Касима частично смягчил мальчик, уже близкий к дому. Хадиджа подарила Мухаммаду юного раба по имени Зайд в качестве свадебного подарка, но Мухаммад относился к нему скорее как к сыну, настолько, что когда его северо-арабийский клан собрал деньги, чтобы выкупить его, Зайд умолял оставить его с Мухаммадом. Мухаммад отказался от денег, освободил мальчика и официально усыновил его, заложив основу для будущего коранического поощрения освобождения рабов.

Был ещё один мальчик: племянник Мухаммада Али, младший сын Абу-Талиба. Дела отца пошли хуже без помощи Мухаммада, и Мухаммад предложил взять мальчика в свою семью, чтобы поддержать дядю. Человек, которого вырастил его дядя, теперь сам взял на себя воспитание сына этого же дяди. Хотя Мухаммад и Хадиджа формально не усыновили Али, они считали его частью своей семьи. Более того, Али впоследствии женится на их младшей дочери Фатиме.

В свои тридцать лет Мухаммад, казалось, наконец был счастлив. С Хадиджей рядом, с уважением окружающих и комфортным достатком, у него, казалось, было всё, чего разумный человек мог бы пожелать. Несмотря на все трудности, он процветал. Но это не означало, что он оставил позади осознание этих трудностей. Опыт мальчика не мог просто исчезнуть из жизни взрослого мужчины; он был частью того, кем он был, и частью того, что Хадиджа любила в нём. Она разделяла его ценности и, как и он, была потрясена несправедливостью мекканского общества. Их совместная жизнь отражала эти взгляды: они носили домотканое льняное платье вместо кричащего шёлка элиты, штопали и чинили одежду вместо того, чтобы покупать новую, и раздавали большую часть своих доходов на еду и милостыню. Через двоюродного брата Хадиджи, Варака, они нашли своих единомышленников в небольшой группе независимых мекканских мыслителей, известных как *ханифы*.

Лингвисты склонны проявлять осторожность, утверждая, что слово «ханиф» имеет «неясное происхождение», но, скорее всего, оно происходит от слова,

обозначающего «наклон» или «поворот», как в случае с тем, кто склоняется или обращается к высшей силе. Мы знаем по именам шестерых таких людей, включая Вараку, который, как утверждается, глубоко изучал как Еврейскую, так и Греческую Библии. Согласно некоторым свидетельствам, он был христианином, по другим — раввином. Более вероятно, что он не был ни тем, ни другим; такая атрибуция, скорее всего, просто результат человеческой потребности в категоризации. В конце концов, вся суть заключалась в том, что ханифы противились категоризации. Их поиски были направлены на чистую форму монотеизма, не запятнанную сектантскими распрями, так характерными для Ближнего Востока того времени. Они сознательно дистанцировались от какой-либо одной священной практики, вместо этого признавая универсальность единого высшего бога, независимо от того, какое имя использовалось — Элохим, Ал-Ллах или Ахура-Мазда, зороастрийский «владыка света и мудрости». Тем не менее, Еврейская Библия говорила к их чувству корней, и они обращались к Аврааму — «отцу всех верующих», как назвал его святой Павел, — как к основателю Мекки через сына Исмаила.

Считалось, что именно в Мекку Агарь бежала с маленьким сыном, и именно Авраам и Исмаил вместе построили Каабу как святилище для *сакины* — присутствия Бога, тем самым устанавливая истинную родовую традицию, гораздо более древнюю и значимую, чем относительно недавняя племенная традиция курайшитов.

Слово «ханиф» в конечном итоге будет использоваться в Коране для восхваления всех тех, кто начиная с Авраама признавал единого Бога и отвергал всех остальных. Однако в эти до-коранические времена, несмотря на уважение к ханифам за их знания, они скорее терпелись, чем принимались — принципиальное различие, поскольку в Мекке, как и в любом современном обществе, тот факт, что что-то нужно терпеть, подразумевал, что это всё ещё воспринимается как в какой-то степени неприятное. И, как всегда, терпимость имела свои пределы. Когда Мухаммад был ещё ребёнком, один из ханифов, Зайд ибн Амр, был изгнан из города своим сводным братом после того, как он публично оспорил силу тотемных камней. Известный как «монах», он нашёл уединённое убежище в каменной хижине у подножия горы Хира, прежде чем отправиться странствовать как дервиш, ища великих духовных учителей своего времени по всему Ближнему Востоку. Спустя годы он вернулся в Мекку, желая услышать проповеди Мухаммада, но был убит разбойниками всего за несколько дней до прибытия.

Был ли сам Мухаммад ханифом? Как и они, он был частью Мекки, но что-то в нём оставалось чуждым. Он видел своё общество слишком ясно, чтобы чувствовать себя в нём комфортно: противоречия, лицемерие и отрицания, кажущееся всё

более широким разрывом между тем, что люди провозглашали почитать, и тем, что они на самом деле делали. С его собственным ближайшим происхождением, так глубоко вовлечённым в конфликты, он, возможно, был притянут к этой другой, более широкой и более древней линии, воплощённой в истории ребёнка, почти принесённого в жертву, как едва не был принесён в жертву его собственный отец, в покорности единому, высшему Богу. Даже если он не называл себя ханифом, он, должно быть, ощущал родство с этой горсткой людей, которые сознательно поставили себя вне нормы, отвечая на чистоту идеи Бога столь великого, что он, если это местоимение вообще можно использовать, был за пределами мужского или женского начала, за пределами любых форм представления: единой, непостижимой, универсальной идеи божественного.

Ханифы практиковали форму аскетической медитации в уединённых бдениях, известную как таханнут, и, судя по всему, Мухаммад перенял эту практику в горах за пределами Мекки. В Библии, как в еврейской, так и в греческой, также в индийских и китайских традициях существовала давняя практика такой медитации. Пророки, отшельники, проповедники, гуру — все искали вечную, неизменную тишину высокогорной пустыни для ясности видения, для ощущения вечности, свободной от повседневных человеческих забот. Ведь что могло быть древнее и долговечнее, чем камень? Что могло быть чище и проще, чем горный склон, лишённый всякого человеческого присутствия, даже деревьев и кустов?

Красный гранит Хиджазских гор вовсе не был гладким, как камни в садах дзен, но был грубым, неровным и острым, настолько, что если бы вы упали и схватились за него, он бы разорвал вам руки. Но в этой суровости скрывалась огромная красота. Закутавшись в своё изношенное покрывало, чтобы защититься от наступающего холода вечера, Мухаммад наблюдал, как однообразное сияние дня сменяется богатым светом, окрашивающим горы в золотистый цвет. Когда солнце внезапно исчезало за горизонтом, оставляя западную часть неба мерцать красками, постепенно угасающими, словно кто-то медленно опускал тяжёлую завесу, он ощущал лёгкую дрожь внутри себя. Немного погодя, лунные тени начинали серебрить ландшафт, или же появлялся ледяной, таинственный свет звёздного неба в новолуние, и тогда само время, казалось, меняло свой ход, словно оно растягивалось в бесконечность, пока едва заметное бледное сияние на востоке не приносило с собой предрассветный прохладный ветерок — знак, что время вернулось, и ночное бдение близилось к завершению.

Проводил ли он дыхательные упражнения во время этих ночных бдений, те самые, которые сейчас заново открывают на Западе, но которые издавна использовались мистиками? Ведь что такое молитва, если не форма контроля дыхания? Длинное,

ритмичное пение, трансовый ритм, вибрация звука в рту, горле и груди, циклический акт вдоха и выдоха — всё это создаёт осознание рúха, слова, которое в арабском означает одновременно «ветер», «дыхание» и «дух», словно дух переносится ветром или вдохом. Повторял ли он эту мантру паломников: «Вот я, о Боже, вот я»? Или, возможно, на его устах рождалась новая: Ла илаха иллаллах — «Нет Бога, кроме Бога»? Замедлялось ли его дыхание, становясь более глубоким, пока мягкий, музыкальный напев овладевал его языком, исходя из самых глубин его существа в пустынную ночь? В одиночестве, там, на горе, вдали от вихря соперничающих повествований и притязаний, нашёл ли он ту ясность, которую искал? Или, по крайней мере, обрёл ли он спокойное принятие своей отчуждённости — своего положения не совсем принадлежащего, но и не чужого? Кажется, он достигал определённого мира, примирённости. Мы знаем, что он проводил ночи напролёт в таких бдениях, имея при себе лишь самое скромное количество еды и воды. А каждый раз, возвращаясь вниз, он первым делом направлялся к Каабе, чтобы обойти её семь раз, левым плечом внутрь, выполняя привычный обряд возвращения домой. Это был ритуал перехода, возвращения к повседневной человеческой реальности, заземлявший его, прежде чем он вернётся в опору своей жизни — к Хадидже. Но возвращение вниз не всегда было лёгким.

В суровом пейзаже Хиджаза, полном камней и песка, нет такого понятия, как мягкий дождь. Он приходит редко, внезапными порывами, бурными ливнями, которые могут нанести столько же разрушений, сколько и самые зловредные джинны. Вода превращается из благословения в проклятие, а вещество жизни становится орудием смерти. Небо может быть ясным, без облака, и первый признак дождя, стекая по скалам за много миль, может быть всего лишь едва уловимым запахом, принесённым на порыве ветра. Если люди не замечают этого, то животные замечают. Они стоят неподвижно, насторожив уши, смутно ощущая что-то другое. Проходят минуты, даже час, прежде чем песок под ногами начинает увлажняться. Сначала это может быть всего лишь струйка, словно кто-то вылил ведро воды на землю, но затем поток нарастает, слегка тянет за лодыжки, пока слабый гул эхом не начинает доноситься из гор.

Прежде чем вы успеете осознать, что происходит, вы оказываетесь в потоке, который, кажется, появился ниоткуда. Потеряв равновесие, вы падаете, пытаетесь подняться, но вновь сбиваетесь с ног под нарастающей силой песчаной воды, несущейся через вади. Теперь вас окружает рёв — страшный звук больших камней, ударяющих друг о друга. Водовороты несут ветки кустарников, целые кусты, а иногда и тела животных, которые, барахтаясь, тонут в потоке. Вы кричите о помощи, но не слышите собственного голоса. Если камень ударяет вам в голову, и вы теряете сознание, вы можете утонуть даже в нескольких дюймах воды.

Худшим местом в Мекке во время такого наводнения был её самый низкий участок, где сходились все вадии, а именно там находилась Кааба. Большинство внезапных наводнений были относительно неглубокими, но к тому времени, когда Мухаммад начал свои уединения на горе Хира в 605 году, сильная буря на юге вызвала поток воды, устремившийся прямо к святилищу. Никто в Мекке на тот момент не мог вспомнить наводнения такого масштаба. Были предприняты меры против затопления, включая строительство полукруглой стены вверх по течению от святилища для его защиты. Но перед яростью такого количества воды стена не устояла: бревна и обломки разрушили её. Поток продолжил своё движение, окружая каменные столбы и обрушиваясь на само святилище с такой силой, что глиняный раствор вымыло, а каменные стены разрушились. К тому времени, когда поток утих, Кааба лежала в руинах.

Не было сомнений в том, что её необходимо восстанавливать, и как можно быстрее, чтобы слухи о её разрушении не распространились по всей Аравии и не были восприняты как дурной знак, подрывающий всю сущность Мекки. Совет курайшитов решил возвести новое святилище на приподнятом фундаменте, чтобы дверь находилась выше уровня возможного нового наводнения. Воспользовавшись случаем, было принято решение о более прочном и внушительном дизайне — высоком, почти кубическом. В тот момент поблизости оказались брёвна, спасённые с судна на Красном море, разбившегося в результате той же бури, что вызвала наводнение. Эти брёвна были доставлены в Мекку, чтобы служить основой новой конструкции.

К работе подключились все жители Мекки. Поскольку труд на новом святилище был привилегией, а не повинностью, его распределили между различными кланами курайшитов, чтобы ни один из них не мог заявить о себе как о единственно почитаемом. И всё шло гладко до тех пор, пока не настало время вернуть на место знаменитый Чёрный Камень.

Сдалека этот камень может показаться большим обломком оникса, но при ближайшем рассмотрении (сегодня он всё ещё встроен в угол Каабы, почти затмеваемый огромной серебряной рамкой) можно увидеть прожилки красного, коричневого и тёмно-зелёного цветов. Предполагается, что он метеоритного происхождения. Согласно исламской традиции, камень был помещён в стену первоначального святилища Авраамом и Исмаилом, затем потерян и вновь обнаружен предком Мухаммада Кусаем, основателем племени курайшитов. Несмотря на свою известность, камень удивительно мал, едва ли больше футбольного мяча. Поэтому поднять его и установить на месте при восстановлении

Каабы в 605 году не составляло особой сложности. Поднять и установить Чёрный Камень мог бы один достаточно сильный человек, но возник вопрос: кто именно это сделает? Каждый клан претендовал на честь вернуть камень на его место и никто не хотел уступить. В считанные минуты процесс, который до этого был образцом сотрудничества между кланами курайшитов, перерос в столь ожесточённый спор, что казалось, насилие неизбежно. Один из кланов даже вытащил чашу с кровью животного, опустил в неё руки, затем поднял их вверх, показывая окровавленные ладони, и поклялся, что готов пролить свою кровь, чтобы только один из членов их клана вернул камень на место. Кулаки сжимались, руки тянулись к кинжалам, когда один из старейшин, потрясённый перспективой кровопролития в этом месте, нашёл способ разрядить обстановку.

Он предложил оставить решение на усмотрение Бога. Все должны были согласиться, что первым человеком, вошедшим в святилище, будет тот, кто решит, чьими руками будет поднят Чёрный Камень. И как получилось — или, возможно, как было predetermined, — этим человеком стал Мухаммад.

Только что вернувшись со своей уединённой молитвы, он направился в святилище, чтобы совершить предписанное семикратное обхождение, но вместо привычного ритуала мирного возвращения домой оказался в самом центре конфликта — и в почти Соломоновом положении, чтобы его разрешить. "Это амин, надёжный," — сказали собравшиеся, когда увидели его. "Мы будем довольны его решением."

Он должен был стать арбитром: достаточно внутри сообщества, чтобы знать, что сработает, но в то же время достаточно снаружи, чтобы его сочли объективным. Это была роль, словно созданная для Мухаммада. Именно потому, что он не был одной из ключевых фигур города, он оказался идеальным человеком для этого момента. А что если бы в Каабу в тот момент вошёл кто-то другой? Этот вопрос не имел смысла для ранних исламских историков; с их точки зрения, это мог быть только Мухаммад.

"Принесите мне плащ," — сказал он. Когда ему его принесли, он велел расстелить плащ на земле и положить Чёрный Камень в его центр. "Пусть старейшины каждого клана возьмутся за край плаща," — приказал он, — "и затем поднимут его вместе." Так и сделали. Когда плащ подняли на нужную высоту, Мухаммад аккуратно установил камень на его место.

Это решение было встречено как идеальное. Каждый принял участие в процессе, и все были равны в оказанной им чести. Но для Мухаммада это небольшое, но значимое напоминание о конструктивной силе единства, вероятно, также стало

болезненным напоминанием о разделениях. Его не столько вдохновили похвалы за его мудрость, сколько огорчила готовность курайшитов прибегнуть к угрозам насилия, особенно в том единственном месте — святилище Каабы, — где насилие было запрещено. Уходя из святилища в тот день, он, должно быть, ещё острее осознавал своё странное и двусмысленное положение среди курайшитов: его доверяли только потому, что он был одним из них, но при этом не был одним из них. Только потому, что он не занимал позиции лидера. Или, как он думал.

Седьмая глава

Может быть, это могло произойти только тогда, когда ему было сорок, учитывая значение этого числа на всем Ближнем Востоке. Для бедуинов, например, это целительное число — оно спасает жизнь. Общая целебная смесь называется аль-арбайн, сорок, смесь трав в оливковом масле и топленом масле. Традиционные целители говорят, что на сращивание перелома требуется сорок дней (или, как скажут западные врачи, шесть недель). И человека нельзя атаковать в пределах сорока шагов от его дома или шатра, или от дома того, кто дает ему убежище, независимо от справедливости причин.

Сорок — это, так сказать, новый жизненный цикл, и именно так это число последовательно упоминается в священных книгах, вышедших с Ближнего Востока. Продолжительность великого потопа, пережитого в ковчеге Ноя, годы странствий израильтян в пустыне после исхода, ночи, проведенные Моисеем на горе Синай, дни и ночи, проведенные Иисусом в пустыне, — все это сорок, число, обозначающее период борьбы и переселения в подготовке к новому началу. Для тех, кому посчастливилось дожить до этого возраста, сорок лет означали полноту времени: время, чтобы вступить в свою судьбу.

Итак, в месяц Рамадан 610 года, как и в последние несколько лет, Мухаммад искал уединения на горе Хира, где все человеческое было отдалено, и он мог быть частью тишины, позволяя беспощадной необъятности проникнуть в него. Поднимаясь по знакомой тропе, следуя следам горных коз, Мекка исчезала внизу. Он уже хорошо знал эту гору, ее скрытые лощины и расщелины, которые стали частью пейзажа уединения, и к сумеркам он уже находился на своем обычном месте.

Он склонился вперед, будто противостоял невидимому ветру, хотя воздух едва шевелился, и последние птицы спешили укрыться в своих гнездах. По мере того как сгущалась тьма, тишина становилась осязаемой — абсолютной и звенящей, будто тонкий, высокий звук, возникающий одновременно изовсюду и ниоткуда. Это была скорее вибрация, чем звук, словно сама природа обретала сознание. Камень,

казалось, дышал жизнью, медленно отдавая накопленное за день тепло в прохладу ночи. Когда звезды начинали свое неторопливое движение по небосводу, возникало чувство, что ты — человек, бесконечно одинокий и в то же время связанный с чем-то необъятным, причастный к существованию, древнему и глубокому, превосходящему мелкие амбиции и жестокости повседневной суеты.

Это было медитацией или бдением? Стоял ли Мухаммад, погружённый в благодарность за простые радости человеческого существования, неожиданно дарованные ему судьбой, или же в его сердце таилась напряжённая настороженность, как будто он предчувствовал неизбежное? Одно можно сказать наверняка: если он стремился обрести покой, то все, что произошло с ним в ту ночь, было всем, чем угодно, кроме покоя.

Что же на самом деле произошло на горе Хира? У нас есть то, что, как предполагается, являются словами самого Мухаммада, но они переданы через других, с несколькими уровнями посредничества, причем каждый рассказчик пытается перевести невыразимое в понятные им термины.

Один из рассказов приписывается Айше, самой молодой и самой откровенной из жен, на которых он женился после смерти Хадиджи: «Он сказал: ‘Когда ангел пришел ко мне, я стоял, но упал на колени и пополз прочь, мои плечи тряслись... Я подумал о том, чтобы сброситься с горного утеса, но он появился ко мне, когда я думал об этом, и сказал: “Мухаммад, я Джабраил, и ты — посланник Бога”. Затем он сказал: “Читай!” Я спросил: “Что мне читать?” Он схватил меня и сильно прижал три раза, пока я почти не задохнулся и подумал, что умру. А потом он сказал: “Читай во имя Господа твоего, который сотворил, сотворил человека из капли крови, что Господь твой самый великодушный, который учит посредством слова, учит человека тому, чего он не знал”».

Рассказ продолжается словами, приписываемыми одному из будущих последователей Мухаммада, ибн Зубайру, который снова цитирует его прямо: «Я прочитал это, и ангел отступил и ушел. Я проснулся, и казалось, что эти слова были выгравированы в моем сердце. Среди всех творений Бога не было никого, кто был бы мне более ненавистен, чем поэт или сумасшедший; я не мог даже смотреть на них, но думал: “Я, должно быть, или поэт, или сумасшедший. Но если это так, то Курайшиты никогда не скажут этого обо мне. Я пойду на горный утес, сброшусь с него и найду утешение в смерти”. Но когда я приблизился к вершине горы, я услышал голос с неба, говорящий: ‘Мухаммад, ты посланник Бога’. Я поднял голову, чтобы увидеть, кто говорил, и вот Джабраил в облике человека с ногами, стоящими на горизонте. Я стоял, глядя на него, и это отвлекло меня от того, что я намеревался

сделать, и я не мог двигаться ни вперед, ни назад. Я повернул лицо от него ко всем точкам горизонта, но куда бы я ни смотрел, я видел его в точно такой же форме».

«Это было истинное видение», — говорила Айша, но в её устах и устах других оно теряло свою глубину, становясь неуклюже плоским. Люди с добрыми намерениями пытались найти слова для описания состояния, которого сами никогда не переживали. В их стремлении сделать это доступным пониманию, они упростили пережитое, свели метафизическое к простому физическому — как в образе ангела Гавриила, стоящего на горах. Сам момент, казалось, был укутан тайной, словно его истинная природа находилась за гранью человеческого понимания. Именно так, вероятно, воспринимал это и сам Мухаммад. Его слова оживают не в описании ангельского явления, а в осязаемом ужасе — в том чувстве панической дезориентации, в разрушении привычного порядка вещей, в подавляющем осознании силы, настолько огромной, что она приближает к состоянию смерти, превосходя все границы, доступные человеческому разуму.

Сегодня это сложно понять, когда слово «потрясающий» применяется к новому приложению или вирусному видео, а «ужасный» — к плохому фильму или неудачному ужину. В мире, где нас почти полностью защищают от настоящего благоговейного страха, исключением, пожалуй, остаётся лишь мощное землетрясение. Мало кто теперь знает, каково это — стоять одному на открытой равнине под раскатами грозы или чувствовать, как берег под ногами дрожит от натиска бури, несущей миллионы тонн воды через бескрайний океан. Мы запираемся за дверями, уверенные в своём контроле над происходящим или, по крайней мере, надеясь на него, и утрачиваем связь с тем, что значит оказаться перед лицом силы, неизмеримо большей, чем мы сами.

Как же тогда понять благоговение Мухаммада? Что-то, что буквально метафизично — за пределами физического, — по определению выходит за рамки рационального объяснения. Однако, хотя попытка реконструировать мистический опыт может показаться абсурдной, можно, по крайней мере, быть глупцом, пытающимся, а не глупцом, избегающим всяких попыток.

Рудольф Отто, великий ученый в области сравнительного религиоведения, возможно, приблизился к пониманию этого в своей книге «Идея святого», хотя и в несколько излишне пылкой манере викторианской эпохи. Страх Божий в Еврейской Библии, писал он, «охватывает человека парализующим эффектом». Иов испытал «ужас, полный внутреннего содрогания, такого, какого не может внушить даже самое угрожающее и подавляющее творение. В нем есть что-то призрачное». И он действительно имел в виду призрачное. В призрачных историях, продолжал он,

чувство ужаса заставляет вас содрогаться, проникая так глубоко, что “кажется, оно доходит до мозга костей, заставляя волосы вставать дыбом, а конечности трястись”. Однако по сравнению с тем, что он называл “нуминозным сознанием” — осознанием божественной воли и силы, — этот призрачный трепет — детская игра. На высшем уровне “ужас повторяется в форме, возвышенной до невозможности, когда душа, лишенная речи, содрогается внутренне до самых дальних своих волокон”.

В этом опыте нет ничего отдаленно блаженного, подчеркивал Отто, бросая ехидный упрек тем, кто цепляется за идею откровения как экстатического, заключая, что “единственно пугающий и вселяющий ужас характер такого момента должен быть крайне тревожным для тех, кто видит в природе божественного только доброту, мягкость, любовь и некое доверительное родство”.

Но если нам не нужно быть такими витиеватыми, как Отто, то нам также не нужно быть такими буквальными, как Айша или ибн Зубайр. Нам не нужно настаивать на том, что Мухаммад действительно слышал, как Джабарил говорил, словно ангел был человеком, тем более не нужно превращать Мухаммада в нечто вроде божественного диктофона, воспроизводящего продиктованное ему. Поскольку мы — рациональные порождения двадцать первого века, мы могли бы обратиться к науке за объяснением, опираясь на нейропсихиатрию и идею “измененных состояний сознания”.

Был ли Мухаммад в таком измененном состоянии той ночью на горе Хира? Конечно, был. Но нейробиологические исследования лишь подтвердили то, что аскеты всегда знали: такие практики, как пост, лишение сна и интенсивная медитация, могут вызывать такие состояния, сопровождаемые изменениями химической активности мозга. Тот факт, что измененное состояние сознания имеет физическую корреляцию, не должен удивлять, поскольку химия мозга отражает полученные впечатления. Но затем предполагать, что все объясняется химией, — это попасть в редуцированную ловушку того, что Уильям Джеймс называл “медицинским материализмом”, который отвергает опыт в пользу механики. Хотя наука может картировать физические эффекты таких измененных состояний, она не может проникнуть в сам опыт этих состояний.

В конце концов, самый практичный способ изучить этот вопрос может быть на первый взгляд самым непрактичным из всех: сделать шаг в поэзию.

Суть религиозного опыта в своем сердце поэтична. Ритуал и догма — это лишь каркас организованной религии — ее балки, так сказать; они не касаются самого

религиозного опыта, который является опытом тайны, чего-то неопишимо загадочного.

Поэзия вращается вокруг загадки, что, конечно, не помешало многим поэтам пытаться определить ее. Уолт Уитмен называл красоту стихов “пучком и завершающими аплодисментами науки”, что является хорошо сформулированным ответом медицинскому материализму. Кольридж говорил о “готовности приостановить неверие на мгновение, что составляет поэтическую веру”, а Ральф Уолдо Эмерсон называл поэзию “попыткой выразить дух вещи”. Обратите внимание на используемые слова: “вера” и “дух”. Но самым подходящим определением поэзии может быть анонимное: “говорить то, что невозможно высказать”. Что опять-таки не является поводом не пытаться. Если мы посмотрим на метафоры в рассказе о Мухаммаде на горе, возможно, мы сможем хотя бы начать понимать.

Начнем, тогда, с идеи вдохновения: буквально, акта вдыхания или вдохновения извне. Арабское слово, обозначающее одновременно “дыхание” и “дух”, — это “рух”, близкое к еврейскому “руах”. Идея того, что в тебя вдыхается дух, таким образом, встроена в сам язык, как это видно во втором стихе книги Бытия, где “дыхание Божье” (руах Элохим) “носились над водами”. Но хотя это может казаться прекрасным в теории, представьте себе, что человек — это не вода. Представьте себе, что в вас вдыхают дух с такой силой, что ваше тело едва может это вынести. Здесь нет нежного дуновения с небес, но воздух, с силой врывающийся в ваши легкие, словно гигант делает вам искусственное дыхание. Кажется, что каждая клетка вашего тела захвачена этим, и вы полностью во власти этого. Даже когда это дает вам жизнь, кажется, что это выжимает жизнь из вас, душит вас под своей огромной тяжестью, пока бесполезно даже думать о сопротивлении.

А теперь задумайтесь о настоящем значении фразы Мухаммада: “как будто эти слова были выгравированы в моем сердце”. Если это сейчас кажется клише, подумайте об этом заново, так, как он это сказал, и вы начнете понимать его воздействие. Если вы читали рассказ Франца Кафки “В исправительной колонии”, вы сразу же вспомните заключенного, на теле которого слова его покаяния вырезаются буква за буквой.

Представьте себе, тогда, невообразимое: мучительную боль острого лезвия, вырезающего глубоко внутри вас, пока вы лежите под ним, сознавая происходящее, но даже не в состоянии сопротивляться. Вот настоящий опыт того детского эпизода, когда два ангела разрезали грудную клетку пятилетнего мальчика, чтобы вынуть его сердце и омыть его, и в нем нет ничего от сверхъестественной безмятежности

той более ранней истории. Вместо этого он содержит всю жестокость открытой операции на сердце: разрыв грудной клетки, обнажение сердца, невыразимую боль — все это ради нового шанса на жизнь.

Мухаммад остался на земле, дрожа, изможденный. Он был покрыт потом, но его трясло. Эти слова были внутри него — его собственные и одновременно не его, слова, которые он повторял вслух в тонком, чистом воздухе горы, в пустоту и темноту. Возможно, он где-то внутри себя осознавал, что эти слова могут обрести жизнь, стать реальными, только если будут произнесены перед другим человеком, вдохнуты другим человеком — единственным, к кому он мог броситься за утешением перед лицом этой всепоглощающей силы, который, возможно, мог спасти его как от страха безумия, так и от страха перед божественным, была Хадиджа.

Или, возможно, поначалу не было никаких слов вообще. Возможно, потребовалось время, чтобы пережитое сформировалось в нечто настолько человеческое и осязаемое, как слова. Мы знаем, что он спускался с горы, спотыкаясь и скользя по сыпучей гальке, его дыхание было горячим и хриплым, каждый вдох требовал усилия, пока не казалось, что его грудь вот-вот разорвется. Его мантия была порвана, его руки и ноги исцарапаны и побиты шипами и острыми краями камней на пути его стремительного бегства домой.

"Я боялся за свою жизнь," — это первое, что он сказал. "Я думаю, что, должно быть, сошел с ума." Дрожащий, содрогающийся почти судорожно, он умолял Хадиджу укрыть его и спрятать под своей накидкой. "Укрой меня, укрой меня," — умолял он, положив голову ей на колени, как маленький ребенок, ищущий убежища от ужасов ночи. И один только этот страх был достаточен, чтобы убедить ее, что то, что пережил ее муж, было реальным.

Она держала его, обнимала его, пока ночное небо не начало бледнеть на востоке, обещая утешение грядущего дня. Медленно, запинаясь, слова, которые он, возможно, чувствовал больше, чем слышал, начали обретать физическую форму в его устах. Даже когда он еще дрожал в объятиях Хадиджи, Мухаммад нашел свой голос, и первое откровение Корана сформировалось в слова, которые мог услышать другой человек. То, что было вдохнуто в него на горе, теперь выдыхалось, чтобы найти свое место в мире.

Они были мужем и женой пятнадцать лет, но она никогда раньше не слышала, чтобы он говорил с такой красотой. Его речь обычно была краткой и сдержанной, как и можно ожидать от человека, который с детства научился слушать, а не

говорить. Но даже когда слова вошли в ее сознание, она понимала, насколько они необычны. Не только для человека, которого она любила, но и для всего их мира. Что бы это ни было, она мгновенно поняла одно: это был конец их тихой, почти скромной жизни, которую они вели до сих пор. Ничто уже никогда не будет таким, как раньше.

Другая женщина, возможно, сочла бы это несправедливым. Она бы испугалась того потрясения, которое было неизбежным, той насмешки и презрения, которые уже маячили на горизонте. Она попыталась бы защитить себя и его, отрицая действительность произошедшего, предпочитая думать, что его первая реакция была правильной, и что он действительно был одержим джинном. Попыталась бы отговорить его, сгладить ситуацию, убедить его, что все будет хорошо, если он просто выпится, что бояться нечего, что это всего лишь игра разума, не стоящая беспокойства, что с утра все будет лучше.

Вместо этого Хадиджа отреагировала так, будто именно этого она наполовину ожидала все это время — как будто она видела в Мухаммаде то, что он едва замечал в себе самом. Когда он сказал, что боится, что сошел с ума, она просто покачала головой. “Да убережет тебя Бог от безумия, мой дорогой,” — сказала она. “Бог не сделал бы такого с тобой, ведь он знает твою правдивость, твою честность и доброту. Такое просто невозможно.”

И когда он рассказал ей все, что произошло, ее спокойная уверенность лишь усилилась. “Клянусь тем, в чьей руке моя душа,” — сказала она, — “я надеюсь, что ты станешь пророком для этого народа.”

Она держала его до самого рассвета, чувствуя, как его мышцы постепенно расслабляются, пока страх, заставлявший его дрожать, не утих. Его голова стала тяжелой на ее коленях, и он наконец погрузился в глубокий сон изнеможения. Когда она убедилась, что он не проснется скоро, она осторожно уложила его на постель, плотно закуталась в свою тунику и вышла ранним утром, направляясь к дому своего кузена Вараки.

Она шла со спокойной решимостью по узким переулкам, пока первые крики петухов раздавались эхом, мимо бродячих собак, ищущих объедки, ослов, жующих корм, и случайных приглушенных проклятий тех, кто пытался еще немного поспать. Варака, самый старший из ханифов, должен был подтвердить то, что она уже знала: страх Мухаммада перед заблуждением как раз-таки был самым убедительным доказательством того, что он не был заблужден. Он не был каким-то оторванным от реальности мистиком, парящим над обычными людьми в самодовольной ауре

святости, но, как вскоре скажет голос Корана, “всего лишь посланник”, “всего лишь один из людей”. Просто человек, внезапно обремененный задачей, казавшейся не по-человечески огромной.

Реакция ее кузена была не менее предсказуемой: “Если ты говоришь мне правду, Хадиджа, то все, что явилось Мухаммаду, было великим духом, который явился Моисею в древности, и он действительно пророк этого народа. Велите ему быть твердым духом.”

Но когда она возвращалась домой к своему спящему мужу, она, должно быть, делала это с тяжелым сердцем, осознавая кажущуюся нелепость того, что мужчина средних лет и женщина, находившаяся на пороге старости, между собой держали ключ к тому, что могло быть началом новой эпохи. Ее детородные годы уже позади, но здесь она находилась в моменте рождения чего-то настолько радикально нового и одновременно настолько древнего, что это казалось устрашающим.

У нее не было иллюзий относительно того, насколько тяжелым это будет. Словно ужаса от его переживаний той ночью было недостаточно, она знала, что Мухаммад столкнется с еще одним уровнем страха: очень человеческим страхом того, что это задание окажется ему не под силу, что он не сможет с ним справиться. Потому что если она была права, как и Варака, тогда уважение, которое Мухаммад выстраивал так долго и тяжело, теперь оказалось под угрозой. Он снова станет чужаком, даже изгоем. Его не просто будут игнорировать, его будут активно презирать и высмеивать, его честь будет подвергнута сомнению, его достоинство принижено. Небольшой, скромный мир, который он сумел создать за все эти годы, будет разрушен, и не было никакой гарантии, что он когда-нибудь обретет его снова.

ЧАСТЬ 2 ИЗГНАНИЕ

Восьмая глава

А потом — два года ничего. Вместо ожидаемого ровного потока откровений — привычных клише про «отворённые шлюзы» и «живительную влагу вдохновения» — последовали два года тишины, мучительно бесплодный период, в который Мухаммад пытался уладить в себе случившееся.

Неизбежно — как человек, дважды осиротевший в раннем детстве, — он пережил эти два года как оставленность. Последствия такого детства не побороть до конца. Чувство отрезанности не исчезает; его можно загнать глубже, но оно остаётся. В самую судьбоносную ночь жизни Мухаммада ворота распахнулись настежь, а затем с силой захлопнулись. То, что было даровано, теперь удерживалось, и он чувствовал страшное одиночество — отчаяние от мысли, что больше никогда не сможет соединиться с тем голосом.

Это была его тёмная ночь души (*термин святого Иоанна Креста для боли, одиночества и сомнения мистиков, стремящихся к единению с Божественным* — прим. перев.). Особенно — сомнение, которое в каком-то смысле необходимо для подлинной веры. Если сперва эта мысль и поражает, подумайте: без сомнения религия рискует стать фанатично бесчеловечной. Как указывал Грэм Грин в романах о людях, борющихся с верой, сомнение — в самом сердце дела; оно удерживает религию человеческой.

Это — закаливающий огонь веры. Без него остаётся лишь ужасающая уверенность, слепое и ослепляющее убежище от мысли и человечности. Уверенность не требует того «скачка веры», о котором говорил Кьеркегор. Выйти на тонкую высокую ветвь, веря, что она не сломается, — это всего лишь безрассудная доверчивость; выйти на ту же ветвь, ясно понимая, что она может сломаться, — значит возложить доверие на Бога, судьбу или даже на закон больших чисел. Там, где уверенность часто есть отказ думать, спрашивать, рассуждать — отказ вступать в тот самый сократический диалог с неверием, к которому призывает Коран, — вера требует сознания возможности ошибиться. Потому-то она, пожалуй, лучше всего определена в Послании к Евреям 11:1 как «осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом» (*цитируется по общераспространённому русскому церковному переводу* — прим. перев.).

Без сомнения вера обесмысливается. Уверенность в собственной правоте вырождается в праведничанье и догматизм и, хуже того, в самодовольную гордыню тем, что ты «так уж прав». «Если то, что ты говоришь, верно...» — сказал Варака. «Думаю, ты можешь быть пророком», — сказала Хадиджа. Оба говорили в сослагательном наклонении: уверенно — и в то же время не вполне. Лишь новые откровения могли подтвердить первое, но недели и месяцы шли, а их не было, и Мухаммад метался между надеждой и отчаянием.

Так же метались и многие мекканские вельможи — хотя по совсем иным причинам. К северу мир стремительно менялся, и собственная неуверенность Мухаммада как будто отражалась в новой тревоге о будущем. Давно шаткое равновесие между Византией и Персией зловеще смещалось. В 610 году полководец Ираклий сверг предшественника и провозгласил себя новым византийским императором, поклявшись вернуть земли, утраченные персам; его вызов принял шахиншах Сасанидов Хосров II, известный как Парвиз — «всепобеждающий». Звание оказалось пугающе уместным: Парвиз одерживал победу за победой — сперва в Ираке и на Кавказе, затем в Сирии и Восточной Анатолии (ныне Турция и Армения). Торговцы и паломники в Мекку приносили вести, что персидские армии намерены двинуться на Иерусалим и даже на Дамаск. Если так, вся ткань мекканской торговли окажется перевёрнутой — пока не удастся наладить связи с новыми властителями. Единственное непеременимое условие успешной торговли — политическая стабильность; и именно её больше нельзя было принимать как данность.

Мухаммад, разумеется, ощущал растущую вокруг неуверенность. Об этом говорили во дворе Каабы, этим были заняты приготовления к очередному каравану на север, в Дамаск. Но к этим приготовлениям он уже не имел отношения. Продолжать работать торговым агентом после случившегося на горе Хира было невозможно: ни сил, ни интереса. Он всё чаще уходил на бдение в горы, пытаясь вновь услышать голос, проявившийся в нём — и умолкший. Но чем напряжённее был поиск, тем дальше отступало то присутствие. С каждой зарёй — новое разочарование, гложущее чувство, что, может быть, он и вправду был введён в заблуждение, как сперва и боялся.

Даже если он понимал, что это время испытания, проверка его стойкости, — он, должно быть, чувствовал, что проваливает её. Испытание его собственного страха — мрачного страха, что этот единственный, невероятный взгляд в незримое не повторится: невысказанный дар поднесли — и отняли. Или он думал, что наказан за то, что усомнился в послании, — за то, что вообще допустил мысль, будто он безумен или одержим, всего лишь ещё один исступлённый поэт или провидец, годный лишь выкрикивать на рынке, выслушивая смешки зевак — или получая

монеты от тех, кто пожалел. И даже тоскуя по возвращению голоса, он мог ужасаться самой этой возможности. Не было ли то, чего он желал, тем, чего он боялся больше всего? Сможет ли он выдержать такую боль ещё раз? «Ни разу я не принимал откровение, не подумав, что душа моя вырывается из меня», — скажет он в конце жизни. Кто устоит под этим? «Скажи ему, пусть крепок сердцем будет», — говорил Варака: слово точное, потому что сила такого переживания могла надорвать сердце зрелого человека до самой остановки.

Он боролся, значит, с неуверенностью. Слова пришли из глубины его самого — или всё-таки извне, как он это ощущал, — слова, на которые он сам не был бы способен? Мальчик, привыкший выживать, заглушая свой голос, вдруг был наделён голосом — но своим ли? Или это был голос Бога? А может, голос Бога был в нём, частью его? Были ли божественные слова буквально вложены внутрь — или же его собственные слова были выражением Божественного? Где кончается человек и начинается Бог? Где проходит граница, однажды так мощно — пусть и кратко — прорванная?

Обычная картина — буквальная: Бог говорит Мухаммаду, точнее — через Мухаммада. Но когда «через тебя» говорят, неизбежно спрашиваешь: не твой ли это голос, преображённый? И если преображённый — не есть ли само это преображение действие внешней силы? Или, в конце концов, различия нет? Это — базовое прозрение гностиков: божественная искра заложена в каждом человеке (*такова общая формула в истории мистики* — прим. перев.). Но если кто-то сделает отсюда вывод, будто границы между человеческим и божественным нет, Мухаммад остро сознавал, что такое гибрис — опасная самонадеянность, присвоение себе собственной «всемогущести».

Всё это и многое другое составляло его личную борьбу — принятие случившегося. Пока эти вопросы не находили в нём ответа, могла быть только тишина: ведь то, к чему его призывали теперь — быть пророком и посланником, приносящим миру слово Божественное, — шло наперекор всей его натуре. Мальчику, выживавшему, растворяясь в фоне, предстояло принять, что теперь он будет выставлен на передний план — под немигающий взгляд мира.

Наконец это пришло. Сура Утра — одиннадцать дразняще кратких аятов, которые звучали целиком так: «Клянусь утром! И ночью, когда она покоится! Господь твой не оставил тебя и не возненавидел. И последующее для тебя лучше первого. И даст тебе Господь твой, и будешь доволен. Не нашёл ли Он тебя сиротой — и дал

приют? И заблудшим — и повёл? И бедным — и обогатил? Что же до сироты — не притесняй, а что до просящего — не окриком; и о милости Господа твоего — возвещай!» (*Цитаты из Корана передаются в переводе И.Крачковского — прим. перев.*).

Он не был оставлен и не ошибся. И словно в возмещение двух тёмных лет тишины Сура Утра возвестила череду откровений, создававших ранний мистический фундамент Корана. Они переливались богатством и лиричностью, были полны благоговения и изумления. Сама земля являлась проявлением Божественного, а люди — лишь управителями Божьего творения.

Аяты выстраивали почти «экологическое» отношение к природе, доньше не имеющее аналогов в других священных книгах, как, например, в суре 91 «Солнце»: «Клянусь солнцем и его сиянием, и месяцем, когда он за ним следует, и днём, когда он его обнаруживает, и ночью, когда она его покрывает, и небом и Тем, кто его построил, и землёй и Тем, кто её распротёр, и душой и Тем, кто её созданию дал соразмерность и вложил в неё её распутство и богобоязненность! Преуспеет тот, кто её очистил, и потерпит убыток тот, кто её омрачил». Или в загадочно озаглавленной *Я-Син*, суре 36: «И знамение для них — мёртвая земля: Мы оживили её и вывели из неё зёрна, и они из них едят; и положили в ней сады из финиковых пальм и виноградников и пробили в ней источники, чтобы они ели из плодов их и из того, что сделали руки их. Неужели они не благодарны?». И, пожалуй, наиболее знаменито — в мерцающем видении суры 24 «Аллах — свет небес и земли. Притча о Его свете — как бы ниша, в которой светильник; светильник в стекле; стекло — как бы звезда сияющая; зажжён он от дерева благословенного — маслины ни восточной, ни западной, — масло которой чуть не светится, хотя огонь его и не коснулся. Свет над светом! Аллах ведёт к Своему свету, кого пожелает...».

Тайна творения — повсюду. Аят за аятом воспевали грозную силу гор и землетрясений, щедрость дождя и жатвы, кажущуюся простоту чередования ночи и дня, солнца и луны, изобилия и засухи. Точнее — не аят за аятом, а знак за знаком, потому что кораническое слово для обозначения стиха — *ая*, «знамение».

Эти ранние ниспослания напоминали изысканные поэмы, подчас такие короткие и плотные, что почти *хойкуподобные*. Позже они становились длиннее и гуще — занятыми насущными вопросами; именно из этих более пространств откровений сложатся суры — главы, которые после смерти Мухаммада запишут и соберут, расположив не по времени, а примерно по убыванию длины — от самых длинных к самым коротким. Возможно, так решали эстетическую задачу или хотели придать

равный вес каждому аяту, независимо от времени ниспослания. Как бы то ни было, из-за такого расположения всякому неарабскому читателю, ищущему мистические основания Корана, лучше начинать с конца — как будто читать справа налево, по-арабски.

В первые годы Мухаммад никогда не знал, когда придёт откровение. Одно могло следовать за другим без промедления, а могло пройти недели или месяцы. Но непредсказуемость времени была частью процесса. Если бы откровения приходили регулярно, «по расписанию», и слова копились бы, как у писателя, выполняющего дневную норму, — это выглядело бы слишком аккуратно, будто между человеческим и Божественным установили прямую линию, на которую можно дозвониться по первому требованию. Вместо этого сами аяты учили его, как их принимать. «Не торопись с чтением, пока не завершится ниспослание», — то есть дай ему явиться полностью, прежде чем повторять. «Будь терпелив», — говорилось ему снова и снова. Это было непрерывное обучение — как отдаться процессу: не сопротивляться и не подгонять, а позволять ему складываться.

В каком-то смысле Мухаммад был не столько посланником, сколько переводчиком, старающимся придать человеческую форму — слова — невыразимому. Откровения оставляли его попеременно смирённым и решительным, измождённым и полным сил, оглушённым и ясным. Порой он обливался потом даже в холод; порой его била дрожь. Случалось, он сидел, осунувшись, с головой между колен — «будто тяжесть великая навалилась на него»; иной раз его всего сотрясало. Как бы ни происходило, он оставался беспомощно слаб, пока слова формировались в нём, готовые быть произнесёнными миру. Боль была неотъемлемой частью — частью рождения, потому что именно это он и делал: аят за аятом он рождал Коран.

Поначалу эти ранние аяты слышала лишь Хадиджа — словно их нужно было «выносить» в безопасном месте, прежде чем явить миру. Пройдёт ещё целый год, прежде чем явится знак идти к людям. По Ибн Исхаку, разрешение пришло от ангела Джibriля, явившегося с точными указаниями: приготовить угощение из пшеницы, баранины и молока, пригласить на трапезу хашимитских родичей, а когда насытятся — прочитать им ниспосланные к тому времени аяты.

Собралось около сорока мужчин — все живые сыновья Абд аль-Мутталиба, среди них Абу Талиб и его сводный брат Абу Лахаб, чьё имя значит «отец пламени». Одни говорили, что прозвище он заслужил вспыльчивостью; другие — что оно намекает на его будущую участь в огне ада.

Все поели с охотой и откинулись на подушки, когда хозяин спокойно начал читать на возвышенной ритмической прозе — **сadj**, принятой форме для поэзии и пророческих изречений (*буквально «воркование»: эффект создаёт удлинение концов слов, задерживающее звук на дыхании и в слухе* — прим. перев.). В Мекке VII века **сadj** ценили высоко — тем более, когда он звучал с таким мягким величием в устах обычно немногословного родича. Но пока прочие сидели зачарованно, поражённые красноречием в устах этого сдержанного человека, Абу Лахаб вскочил и с гневом прервал чтение: «Он околдовал вас всех», — заявил он и ушёл.

Отвергнуть угощение — да ещё племянника — было не просто невежливо: это значило объявить вражду. Сборище распалось в смятённом гуле стыда и тревоги, но Мухаммад не утратил самообладания. Он вновь пригласил всех — на то же угощение, на следующий день, — и снова прочитал аяты, теперь без помех: Абу Лахаб нарочно не явился. После этого он обратился к своим прямо: «Сыны Абд аль-Мутталиба, не знаю человека среди арабов, кто принёс бы своему народу большее, чем то, что принёс вам я. Я несу вам лучшее в этом мире и в будущем, ибо Бог велел мне созвать вас к Нему. Кто из вас поддержит меня в этом деле?»

Похоже, лишь один. Дальше — голос сына Абу Талиба, подростка Али, уже жившего в доме Мухаммада и Хадиджи: «Все медлили, и хотя я был самый молодой, близорукий, тонконогий — да ещё и с животиком, — я сказал: “Я буду твоим помощником, о Посланник Бога”». В ответ Мухаммад положил руку ему на затылок и сказал: «Это — мой брат, мой представитель и мой преемник среди вас; слушайте его и повинуйтесь ему».

Эти слова разбили очарование чтения. «Они поднялись, смеясь, — вспоминал Али, — и сказали Абу Талибу: “Мухаммад велит тебе слушаться собственного сына и повиноваться ему!”» Как можно ждать, что это воспримут всерьёз? Абсурд — возвести тщедушного подростка над его отцом. Да ещё при отце! Такой переворот авторитета был немыслим — вызов всему укладу.

Родичи, должно быть, вышли, качая головами: не вскружил ли успех торгового посредника ему голову, и не лучше ли было бы остаться вечношестёркой погонщика? Они оказали вежливость — выслушали — и были тронуты аятами, пока не прозвучало это. Как бы ни возмутил их вчерашний демарш Абу Лахаба, теперь, пожалуй, они решили, что он был прав. Это, мол, мания величия; иначе как **маджнун** — «одержимый джинном» — не объяснить (*буквальный арабизм сохранён намеренно* — прим. перев.).

Никто не осмелился бы сказать это в лицо Абу Талибу, но многие, должно быть, пожалели человека, приютившего сироту и не сумевшего привить ему абсолютное почтение к отцам и праотцам — краеугольный камень арабского общества. И пожалели ещё сильнее за то, что он будто бы усугубил ошибку, отдав собственного сына Али в дом к Мухаммаду, а тот, гляди, вырос — и утратил должное отцу уважение.

Однако, хотя дяди и прочие старшие хашимиты остались глухи к призыву, несколько молодых — нет. Как Али, они были взволнованы услышанным и начали тайно встречаться с Мухаммадом в **вади** за пределами Мекки, чтобы совершать складывавшийся молитвенный ритуал ислама — подальше от посторонних глаз (**вади** — *сухая долина*, *русским словарём не покрывается* — прим. перев.).

Похоже, именно за этим занятием их и застал как-то Абу Талиб: остановился, поражённый, и спросил: «Племянник, что это?» Мухаммад пригласил дядю присоединиться, прося отречься от Уззы, Лат и Манат — трёх тотемов, известных как «дочери Аллаха», — и признать единую силу Единого, «ни рождённого, ни рождающего». Но даже если бы старший хотел, он не мог. «Племянник, я не оставляю путей моих отцов», — ответил он.

«Пути отцов» держали курайшитов вместе, создавая нерушимую традицию. Фраза взывала к вере и практике не только ближайших отцов, но и праотцев — почитаемых предков племени. Это вопрос верности и идентичности: отречься от племенных богов значило бы, в каком-то смысле, отречься от себя. И всё же что-то в нём откликнулось — на призыв племянника и на искренность этой небольшой группы молодых: он не осудил увиденное. Вместо этого смягчил отказ, заверив Мухаммада, что как бы далеко тот ни уходил от «путей отцов», он останется под его защитой как главы клана Хашим. «Что бы ни случилось, клянусь Богом, пока я жив — ничто не причинит тебе огорчения», — сказал Абу Талиб, не ведая, насколько он недооценивает грядущее.

Так рассказывают Ибн Исхак и ат-Табари — и всё же трудно не спросить, что чувствовал Абу Талиб, увидев, что его сын следует странному новому обряду. Он отдал Али в дом Мухаммада в доброй вере, но каково любому отцу — осознать, что сын идёт путём, выводящим его, кажется, далеко за пределы нормы? «Пути отцов» были слишком священны, слишком глубоко вросли в общество, основанное на родовой чести, — чтобы от них отмахнуться. Возможно, они были тем дороже Абу Талибу, что он, обеднев, крепче держался за фундамент традиции. Осознавать, что сын — словно уже не его, а Мухаммада, — должно быть, было мучительно. Смирился ли он потому, что сожалел о прежнем отказе выдать дочь за Мухаммада?

Или не хотел раздувать: «и это пройдёт»? Проповедников в городе хватало — включая ханифов — и их обычно считали безвредными, неопасными властям Мекки (*краткая историческая ремарка, без претензии на глубокий разбор* — прим. перев.). А может, он поступил как отец: понимал, что прикажи он Али уйти — тот не послушается, и тогда он только потеряет сына. Как знают многие отцы: нет упрямее подростка.

И всё-таки увиденное его глубоко встревожило. Молодые люди не только читали аяты; Абу Талиб застал их в молитве. Он видел, как они низко склоняются в исламе — слове гибком, чьи смыслы расходятся кругами и включают «мир» и «целостность», но прежде всего — «предание себя», «покорность». А поза молитвы — лбом к земле, руки вытянуты, поясница высоко — классическая поза пленного перед победителем, знакомая по ассирийским стелам: пленники так склоняются у ног царя. Это — поза полного предания милости и благодати несравнимо большей силы, телесное заявление о буквальном смысле «ислама». Потому Абу Талиб был потрясён — как будут многие. Для человека чести в обществе, гордившемся самой гордостью, ничто не могло казаться менее «по-арабски».

Вскоре коранические откровения обрели более настойчивый тон: «О ты, укрытый одеждой, встань и увещевай!» Время скрытности прошло. Мухаммад должен был говорить вслух — не только родичам, но и самым публичным образом, в священном дворе Каабы. И новые аяты, читанные им там, уходили далеко за пределы мистической хвалы. Это было жёсткое обличение алчности и цинизма, превративших Мекку в подобие бычьего рынка — с большинством жителей, сползающих в низший слой.

Новые откровения складывались в пламенный протест против коррупции и социальной несправедливости. Они становились на сторону бедных и оттеснённых, требуя преимущества для обездоленных. Они зывали прекратить поклонение ложным богам наживы и власти — вместе с поклонением каменным тотемам. Они клеймили идею сыновей как «капитала» и вытекавшую отсюда практику умерщвления девочек-младенцев. И превыше всего — изобличали надменность богатых: «тех, кто копит и копит богатство», кто «любит богатство страстной любовью», кто «яростно вожделеет богатства» и «думает, будто богатство сделает его бессмертным», — не понимая, что оно «ничуть не поможет, когда он погибнет».

«Знайте: жизнь земная — лишь игра и забава», — говорил один аят, — «и повод для пустого тщеславия и соревнования в богатстве и сыновьях». Лишь «праведные дела, а не богатство и не сыновья, приближают к Богу», — говорил другой, — «ибо милость и дар Аллаха — лучше всякого вашего накопления». И, будто откликаясь

на евангельское «Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю»: «Мы желаем оказать милость притесняемым на земле — сделать их предводителями и наследниками».

Это был, если не призыв к революции, то уж точно мощный призыв к реформе. Ещё не поздно, говорили аяты, повернуть с гибельного пути. Людям Мекки достаточно — подумать. «Напоминай им» о том, что они некогда знали, — внушалось Мухаммаду. «Скажи им — задуматься» о судьбах народов, павших от порчи нравов и ставших полузанесёнными руинами. «Скажи — помнить» ценности, которые чтут на словах и попирают на деле: подлинные «пути отцов», искажённые до неузнаваемости.

По сути, аяты были приглашением: обращением к лучшей части мекканцев и предупреждением о том, что будет, если отвергнуть пророческий призыв. Пророческий — именно так: они прямо ставили себя в ряд прежних пророков — от Моисея до Иисуса. «Скажи: “Мы веруем в Аллаха и в то, что ниспослано нам; и в то, что ниспослано Ибрахиму, Исмаилу, Исхаку, Якубу и коленам; Мусе и Исе и прочим пророкам”». Это был призыв возвратиться к подлинной традиции праотцев. «Прежде этого была ниспослана Книга Мусы, и этот Коран подтверждает её», — гласил один аят. «Всё это записано в прежних писаниях — писаниях Ибрахима и Мусы», — другой.

И так оно и было. Призыв к справедливости звучал столь же гневно, как у библейских пророков и у Иисуса, и сходство не было случайным. Как ранний иудаизм и раннее христианство, ранний ислам вырос из противостояния несправедливому статус-кво. Его протест против неравенства был неотъемлемой частью требования сопричастности: единства и равенства под сенью Единого — вне зависимости от происхождения, богатства, возраста и пола. Потому он был столь привлекателен для отторгнутых — тех, кто «не считался» в великой мекканской схеме: рабов и вольноотпущенников, вдов и сирот, всех, кого рождение или обстоятельства отсекали от элиты. И он же отзывался в сердцах молодых идеалистов — тех, кто ещё не научился сгибаться под «как принято», и кто слышал в аятах мощный уравнилительный мотив. Все равны перед Богом: тринадцатилетний Али — столь же значим, как самый уважаемый старейшина; дочь — не меньше сына; африканский раб — не меньше знатного вельможи. Это было сильное — и потенциально радикальное — переосмысление общества.

Это было делом политики не меньше, чем веры. Писания трёх великих монотеизмов показывают: все они начинались как народные движения против привилегий и высокомерия власти — будь то власть царей (в еврейской Библии),

Римской империи (в Евангелиях) или племенной элиты (в Коране). Все три изначально двигались идеалами справедливости и равноправия, отвергая человеческое неравенство ради высшего и более правого порядка. Как бы далеко они ни ушли от истоков, историческая запись ясно свидетельствует: то, что мы теперь называем стремлением к социальной справедливости, было идеалистическим основанием монотеистической веры.

Но если Коран подтверждал прежнее — возобновлял вечное послание, — в нём было и огромное отличие. На этот раз, через Мухаммада, послание прозвучало «ясным арабским языком»: не на иврите, как у иудеев, и не на греческом, как у христиан, а на языке самих мекканцев — таком музыкальном арабском, что даже самые прославленные поэты на его фоне казались прозаиками. Оно объявляло себя их собственным. Теперь им не нужно было ощущать себя ниже «людей Писания»: у них появлялась своя Книга, только рождающаяся — ниспосланная не только подтвердить прежнее, но и завершить их. Для принявших её было волнение присутствия при рождении нового. Теперь их избрали, чтобы услышать Слово Бога. Теперь к ним обращались прямо — на их языке и в их координатах.

Все великие цивилизации прошлого пали, говорили откровения, потому что ушли от коренных принципов справедливости. Как иудеи презирали и отвергали своих пророков — и были изгнаны из своей земли; как христиане шли теперь против учения Иисуса — и видели, как их империя раскалывается и сдаёт позиции персам, теснившим византийцев; так было и с легендарными предками Аравии. Народы Ада и Самуда — великая набатейская цивилизация на севере и йеменская на юге — насмехались над своими пророками. Их предупреждали, что гордыня несёт в себе семя гибели — как теперь предупреждали мекканцев аяты, — и доказательство отказа было перед глазами: руины набатейского некрополя Петры на юге нынешней Иордании и останки великой плотины Мариб близ Саны.

Послание Мухаммада было больше, чем личное пробуждение; оно было пробуждением арабским. Оно взывало к ценностям и этике, некогда бывшим гордостью Аравии, — прославляя прошлое и глядя в будущее. Это был призыв к действию — духовный призыв взяться за социальные и экономические язвы времени. Одним словом, оно было открыто политичным. И для бессильных — дающим силу.

Гнилые будут призваны к ответу. В День Суда — «Когда солнце будет скручено, и когда звёзды облетят, и когда горы сдвинутся с мест, и когда десять месяцев беременные верблюдицы будут без присмотра, и когда животные соберутся, и когда моря перельются, и когда души соединятся, и когда зарытая заживо будет

спрошена: за какой грех её убили, и когда списки будут развернуты, и когда небо будет содрано, и когда геенна будет разожжена, и когда рай будет придвинут, — узнает каждая душа, что она приготовила.» (*начало суры 81 «Омрачение» — прим. перев.*).

Пламенное, негодующее, это послание было предупреждением высшей меры. Призывом радикальным — и мекканская верхушка узнала в нём угрозу.

Девятая глава

Кажется немыслимым для современных мусульман, что большинство мекканцев поступили иначе, чем бросились бы к Мухаммаду, едва он начал проповедовать. Но так не было. И тогда, и теперь статус-кво — мощная сила бездействия; безопаснее держаться за привычное, чем выйти «на тонкую ветвь» с радикально новым видением общества. К концу первого года у Мухаммада было всего несколько десятков последователей — на вид не слишком действенная смесь юношей и девушек, вольноотпущенников и рабов. Вряд ли кто посчитал бы это новое движение стоящим того, чтобы ему противостоять.

И всё же именно сопротивление стало горнилом, в котором выковывался ислам. Если бы знать *курайшитов* не так яростно восстала против Мухаммада — если бы не организовала кампанию поношения и преследований, завершившуюся скоординированной попыткой убить его, — он мог бы остаться всего лишь одним из многих тогдашних проповедников, заявлявших о божественном вдохновении. Его откровения, возможно, так и не были бы сохранены наизусть, а ислам не оформился бы в отдельную религию, растворившись в примечании к истории монотеизма. Ведь откровения настойчиво велели Мухаммаду говорить, что он «лишь посланник», «всего лишь человек, подобный вам», «увещеватель из вашей среды». Пройдут годы, прежде чем коранический голос назовёт его «первым мусульманином». Речь решительно шла не о нём, а о самом послании. Но противники сделали так, что речь стала «о нём». Тем самым — помогли ему.

Если прежде борьба Мухаммада была с собственными сомнениями, то теперь сомневающиеся были извне. Как бы ни были мучительны, тревожны и опасны следующие несколько лет — как бы ни велико было порой искушение отчаянием, — это уже было не отчаяние в себе самом. Чем сильнее сопротивление, тем увереннее он воспринимал его как подтверждение истинности своего послания.

Пока откровения сосредотачивались на чудесах творения, мекканские «двигатели и вершители» могли не обращать внимания. Такие идеи казались им не стоящими

волнения — попросту безвредными. Им была не внове и идея единого всемогущего Бога: в городе, центр которого — святилище высшего божества, это и так подразумевалось. Племенные тотемы были сильны как ходатаи, их подчинённость ясно звучала в общем названии Лат, Манат и Уззы: «дочери Аллаха». Но совсем никаких иных богов? Это был прямой удар по всей традиции племенной идентичности. Иначе говоря, по «путям отцов». Как клялись искренностью во имя Бога и имён малых божеств, так клялись и отцами с праотцами. Странно это может звучать современному уху, пока не вспомнишь, что и сейчас люди — хотя бы в кино — клянутся «могилой мамы». Но в Аравии времён Мухаммада это заходило куда дальше простого почитания родителей. Значение праотцев — одна из причин, по которой раннеисламские тексты так трудно читать западному человеку: их многосоставные имена делают простыми даже «родословные» русской классики. На Ближнем Востоке полная идентификация включала не только имя отца, но и всю линию предков: деда, и его отца, и его — вплоть до патриарха клана, а то и до основателя племени (оттого и длинный список предков в начале Евангелия от Матфея, возводящий Иисуса к Аврааму и Давиду). История была неотъемлемой частью личности — способом подняться над частностями отдельной жизни и протянуться назад и вперёд во времени через родословие. Тем более важным это было на фоне осознания, как легко история утрачивается.

Тема утраченного величия была в коранических аятах того времени столь же центральной, как и в великих доисламских одах. Руины прошлого служили уроками — напоминали не только о том, что было, но и о том, что ещё может случиться. От землетрясения ли, засухи, мора или завоевания — любая цивилизация могла исчезнуть в одно мгновение «глаза истории». Отсюда и акцент на родословии как своеобразная защита от этого знания — продление себя во времени. Предков почитали, а умершим приписывали силу ходатайства в настоящем. Могилы самых почитаемых становились святынями — как и ныне в Северной Африке и на Ближнем Востоке почитают гробницы великих раввинов, святых и имамов, несмотря на монотеизм. Для иудеев, христиан и мусульман эти места удовлетворяют глубинную человеческую тягу к осязаемому — к камням, которые можно коснуться и поцеловать, к стенам, у которых можно плакать и молиться, к местам, куда приносят дары, цветы, письма.

Потому в первых упоминаниях о Дне Суда не было ничего чрезмерно радикального: когда все души восстанут из мёртвых, чтобы дать отчёт в делах. Понималось, что мир полон духов — в нём не только живущие, но и все, кто жил прежде. И хотя критики Мухаммада воспринимали идею воскресения буквально и насмешливо: «Что же, тех, кто истлел в прах, вернут к жизни? Можно ли сухой кости вернуть

плоть?» — тревожило их не это. Невыносимым было то, что они видели в этом неуважение к предкам.

Племенные праотцы — говорили теперь откровения — пребывали в неведении, в мраке **джахилии**. Хуже того, казалось, им придётся за это расплатиться. Истинные монотеисты, такие как Авраам, звались **ханифами** и почитались как пророки, но отвергшие единобожие станут «обитателями огня» в аду, а не «обитателями сада» в раю. И поскольку мёртвые не могут принять монотеизм, противники Мухаммада решили, что их отцы и деды, **ipso facto**, обречены быть «обитателями огня». Иными словами, они услышали в этом предельное оскорбление — буквально: «Идите к чёрту».

Можно было бы сказать, что человек, осиротевший ещё до своего рождения, легче готов был расстаться с «путями отцов». Как ни по своей вине, ближайшие предки Мухаммада не поддерживали его, оставив без опоры — тогда как смысл культуры был в прочных подпорках. Но сказанное им теперь шло куда дальше личной идентичности. Подобно другому Пророку шестью веками ранее, далеко к северу, в Галилее, он звал свой народ превзойти традиционные узы семьи, клана и племени и соединиться в обновлённой верности Единому Богу.

«Я пришёл разделить человека с отцом его», — сказал Иисус. «Если кто приходит ко Мне и не возненавидит отца своего и матери, и жены, и детей, и братьев, и сестёр, а притом и самой жизни своей, не может быть Моим последователем». И теперь Мухаммад говорил по сути то же. Мекканцы рисковали потерять всё, «если ваши отцы, ваши сыновья, ваши братья, ваши жёны, ваш клан, имущество, которое вы нажили, торговля, потерять которую вы боитесь, жилища, которые вы любите — если всё это вам дороже, чем стремиться на пути Бога». Истинные братья и сёстры — те, кто принял **ислам**: новая семья, превосходящая прежнюю, пересекающая все привычные границы и находящая свою идентичность у подлинных праотцев — не племенных, а у первооснователей монотеизма, Авраама и Моисея.

То, что некогда стало камнем преткновения для Абу Талиба, теперь беспокоило всю мекканскую верхушку. В обществе, где почитание отца и праотцев — сам предмет чести, всё это звучало как призыв бросить предков. Но и это ещё можно было бы стерпеть — и игнорировать, — если бы послание Мухаммада не несло куда более прямую угрозу их благополучию. Суть была не в принципах, а в интересе. Когда традиционные ценности подчинили новой жажде прибыли, кораническая критика накопления богатства ради богатства стала по-настоящему подрывной. Она ставила под вопрос то, что элита хотела считать самоочевидным, обнажала несправедливость того, что им казалось естественным порядком вещей.

Ответ был слепым высокомерием власти. «Посмотрите на сподвижников Мухаммада!» — говорил один аристократ с брезгливым снобизмом. — «Это те, кого Бог избрал показывать путь и учить истине? Если то, что он приносит, чего-то стоит, едва ли такие люди ухватили бы это раньше нас».

«Мухаммад всего лишь подстрекатель толпы», — говорили другие критики, — «мелкий демагог, играющий на слабых и внушаемых»: младших сыновьях без шансов на лидерство, членах маловлиятельных кланов, *союзниках* — «конфедератах», живших под покровительством курайшитского клана, вольноотпущенниках, рабах и женщинах. Но даже некоторых из своих новых послание, казалось, увлекло — и особенно значимо это было в случае Аттика ибн Усмана, более известного как Абу Бакр — человека, который со временем прославится в исламе как первый халиф, *халифа*, преемник Мухаммада.

Абу Бакра любили, он был удачлив и пользовался большим уважением как родословник — знаток генеалогии, а это искусство было первостепенно в культуре, столь высоко ценившей происхождение. Он был главным «историком» Мекки — тем, кто устанавливал важнейшие линии родства. Так что когда он официально принял *ислам*, произнес формулу веры, *шахаду*: «Нет божества, кроме Аллаха, и Мухаммад — посланник Его», — он публично опроверг довод о том, будто Мухаммад порочит отцов и праотцев. «После этого, — передаёт Ибн Исхак, — *ислам* стал общей темой разговоров в Мекке — о нём говорили все».

Полны решимости не допустить новых «перебежчиков» вроде Абу Бакра, правители города развернули согласованные действия, чтобы *ислам* и его последователи остались «презираемым меньшинством» — и даже оказались под угрозой. Давление на Абу Талиба усиливалось: откажись от племянника — изгони его из клана Хашим, и он лишится защиты. Расшифровывать смысл было не нужно. Изгнание делало человека тем, чья «кровь дозволена»: которого можно убить без страха возмездия.

Закон возмездия — иначе кровная месть — звучит достаточно варварски, и не только для современного слуха. Именно такого — и ждали — от доисламской Мекки авторы VIII–IX веков, писавшие в Дамаске и Багдаде: часть мрака и мрачных практик *джахилии*. В свете ислама это будто бы отменили, ведь в Коране прямо сказано: хотя «око за око» было предписано прежде, «кто простит из милости, тому это будет искуплением его собственных дурных дел» (*пересказ смысла* — прим. перев.).

Но «око за око» — из Еврейской Библии, где это впервые прозвучало в Исходе, а затем в Левите. Однако принцип был далеко не «библейским» эксклюзивом: он лежал в основе права по всему древнему миру, был зафиксирован и под латинским именем **lex talionis** — «закон воздаяния» (в английском его часто путают с «когтем» хищной птицы — с **talon**, что неверно — прим. перев.).

И ранние мусульманские историки, и многие западные исследователи склонны рисовать VII-вековую Аравию тонущей в непрерывных межплеменных войнах, подпитываемых кровной мстью, где всякая насильственная смерть требовала возмездия — и порождала спираль насилия. Картина, от которой хочется спросить: как вообще могло выжить такое общество? На деле корень межплеменных конфликтов — во все времена — это соперничество не ради мести, а ради власти. В Аравии — контроль над источниками воды, пастбищами, право взимать пошлины и сборы с живущих и проходящих по территории племени. Если уж на то пошло, сам принцип кровной мести скорее удерживал мир, чем разрушал его: при отсутствии сильного центра это был грубый, но действенный способ обеспечить безопасность. Он не разжигал насилие — он его сдерживал.

Все понимали: **lex talionis** работает только если ответ неизбежен. Если убивали члена клана или племени — родичи обязаны были мстить. Более того, если убийство оставалось неотомщённым, верили, что из могилы убитого вылетает филин, кричащий «Напои меня! Напои меня!» — требуя крови утолить жажду. Обязательство действовало и вовнутрь: оно цементировало солидарность — ответственность за поступки любого члена мог нести весь род. И оно сдерживало наперёд: зная, что убийство чужого поставит под удар твоих родных, ты находился под сильным социальным давлением избегать фатального насилия. Так, бедуины регулярно нападали на караваны верблюдов, но старались никого не убивать — чтобы не запускать кровную мсть. Рейды были за товаром, а не за жизнями. Во всяком случае, в основном.

Но намерения намерениями — а мечи в гневе поражали насмерть. Поэтому закон возмездия предполагал компенсацию. Хорошо известная в вавилонском и римском праве, она действовала и в Аравии: **кровная цена** — выкуп за кровь, **дия**. Размер — золотом или скотом — обычно определял **хакám**, мудрый посредник. Это могло быть, скажем, десять дойных верблюдиц, а могло — как в выкупе, который тотем Хубал потребовал за отца Мухаммада, — все сто. Так что когда крайние хотели высмеять чужую «трусливість», бросали упрёк: «довольствуется молоком вместо крови». Но большинству людей, любящих жизнь, молоко было милее.

Вся система держалась на прочной общинной принадлежности. Клан и племя защищали тебя — и это распространялось на рабов и вольноотпущенников, находившихся под эгидой хозяев и бывших хозяев. Но лишённый клановой принадлежности — изгнанный, как того добивалась элита в отношении Мухаммада, — не имел защиты. Он становился буквально *вне закона*.

Абу Талиб оказался в жёсточайшем положении. Его уважение к Мухаммаду росло, а статус и влияние меркли вместе с богатством. Но гордость оставалась. Как глава хашимитов, он был обязан защищать всех из клана. Это — сущность «путей отцов», и он был ими связан клятвой. Поэтому, когда главы других кланов пришли к нему сообщая, они зажали его между молотом и наковальней. Он был в долгу у Мухаммада — тот помогал ему, да и сына его, Али, почти официально принял как своего. Согласен ли он во всём с проповедью племянника — неважно; за годы между ними выросла глубокая привязанность и доверие — а такие связи были стержнем чести. И именно от этого стержня требовали отказаться.

Во главе делегации стоял вожак клана Махзум — самый громкий и злобный из противников Мухаммада, настолько, что его имя Абу Хакам — «отец мудрости» — в мусульманской традиции уступит место прозвищу Абу Джахль — «отец невежества». Он не медлил: предъявил ультиматум. «Клянусь Богом, мы больше не выносим этого поношения наших праотцев, насмешек над нашими обычаями, этой брани в адрес наших богов. Либо ты остановишь Мухаммада сам, Абу Талиб, либо позволишь остановить его нам. Раз уж ты сам на нашей стороне, против того, что он говорит, — мы избавим тебя от него». То есть — либо уговори племянника замолчать, либо его заставят — навсегда.

Для такого человека, как Абу Талиб, мысль была отвратительна. Он не хотел — и не мог — так поступить. Это шло к самой основе общественного и политического бытия: родство. Изгони он Мухаммада из клана — это значило бы подписать ему смертный приговор и предать свой долг — защищать каждого члена рода. Ни один человек чести на такое не пойдёт, и Абу Талиб видел знаком падения чести то, что Абу Джахль вообще осмелился это требовать. Была и ещё одна причина.

Даже если Абу Талиб и не принял формально послание Мухаммада, что-то в нём отзывалось. Он ведь мог объявить проповедь племянника противной традициям клана; мог приказать ему замолчать под угрозой изгнания. Но не сделал этого. Вместо того — лавировал, понимая, что угрозу Абу Джахля нельзя воплотить без его согласия. «Горячие слова» — думал он. — «Крови не прольётся». И он отразил напор, дав, как говорит Ибн Исхак, «мягкий ответ и примиряющий ответ».

Конечно, Мухаммад внял бы доводам. Конечно, Абу Талиб смог бы убедить его смягчить послание — хотя бы ради него, дяди. Мы знаем, что он попытался: уговаривал племянника быть хотя бы осторожнее. Но как бы ни разрывался Мухаммад между давлением на дядю, с одной стороны, и велением послания — с другой, сомнений, что должно превалировать, у него не было.

Их разговор передают напряжённо. «Дядя, клянусь Богом, — сказал Мухаммад, — если они положат солнце мне в правую руку, а луну — в левую, с условием, чтобы я оставил этот путь, — я не оставлю его, даже если погибну на нём». Сказав это — а это почти давало Абу Талибу право изгнать его и тем самым санкционировать казнь, — он разрыдался и уже шёл к дверям, когда услышал позади голос дяди, тоже в слезах: «Вернись, племянник. Говори, что хочешь, ибо, клянусь Богом, я никогда не выдам тебя ни за что».

Если Абу Джахль и не знал, о чём именно договорились дядя с племянником, то одного зрелища — как Мухаммад продолжает проповедь в святилище Каабы — хватило понять итог. И его ярость теперь направилась и на Абу Талиба, и на самого Мухаммада. Он заговорил открыто о коллективном наказании хашимитов за укрывание «подрывника» — намекая даже на войну. Но другие главы кланов искали более рассудительные способы решить «проблему Мухаммада». Все соглашались: его надо заставить замолчать, а для этого — нужно изгнание; но объявлять войну — значит ввергнуть город в хаос, чего они меньше всего хотели. Они избрали иной манёвр: вернуться к Абу Талибу и предложить ему взамен «нового сына».

Теперь делегацию возглавлял не Абу Джахль, а Абу Суфьян — глава клана Абд Шамс; с ним — Умара, «самый сильный, умный и красивый» отпрыск знати курайшитов. Обняв Умару за плечи, Абу Суфьян обратился к Абу Талибу: «Мы предлагаем “человек за человека”. Прими Умару как своего, и у тебя будет польза от его ума и поддержки. Усынови его, а нам отдай этого племянника, который восстал против твоей традиции и традиции отцов, разорвал единство нашего народа и осмелял наш образ жизни, — чтобы мы могли его убить».

Ответ Абу Талиба был столь возмущённым, как и ожидалось: «Зло вы возлагаете на меня. Хотите дать мне своего сына, чтобы я кормил и растил его для вас, а сами возьмёте моего племянника, чтобы убить? Клянусь Богом — никогда».

На этом мягкие уклончивые ответы закончились. В отвращении к тому, до чего докатились другие вожди, он собрал свой клан и союзников — чтобы сообща выступить против требования изгнания. Хашимиты не склонились, и междоусобие, которого добивался Абу Джахль, стало казаться не таким уж немислимым. О нём

заговорили — с тревогой — в переулках и на рынках, в дворах и в precinct'e Каабы. Большинство осуждало эту мысль, но уже сам факт обсуждения делал её вероятной.

Пока город спорил, мекканская верхушка предприняла последнюю попытку «разрулить» дело кулуарно. Они отправили третью делегацию — на сей раз прямо к Мухаммаду — и сделали, как им казалось, непреодолимое предложение: «купить» его. Ему лишь надо перестать оскорблять племенных богов и объявлять предков неверными — и мир у его ног. «Если тебе нужны деньги, — сказали они, — мы соберём для тебя из нашего имущества столько, что станешь богатейшим из нас. Если нужна честь — сделаем тебя нашим старшим, чтобы ничто не решалось без твоего согласия. А если этот дух, который приходит к тебе, таков, что ты не можешь отделаться от него, мы найдём тебе врача и не пожалеем средств на лечение».

Предложение пахло отчаянием — не говоря уже о лжи. Они и не собирались давать ни денег, ни власти — надеялись соблазнить согласием, чтобы затем обвинить в лицемерии: мол, одно говорит народу, а тайком принимает другое. Не сохранилось, что Мухаммад рассмеялся — говорят, он лишь ответил аятом о неверующих, «закрывающих сердца», — но легко поверить в его внутреннюю улыбку над наивностью, породившей столь грубо фальшивую сделку. Не в силах вообразить, что движет им не корысть, правители Мекки лишь подчеркнули собственную.

Нетрудно понять их растущее раздражение. Они хотели заставить Мухаммада замолчать, но всё, что делали, лишь усиливало разговоры — и о нём, и о послании. Теперь ситуация стала срочнее: приближался ежегодный **хадж**, десятки тысяч устремлялись в Мекку и на ярмарку **Указ** за городом (**Указ** — *знаменитая доисламская ярмарка* — прим. перев.). Говорили, что разгорячённые споры о проповеди Мухаммада привлекут ещё больше паломников — и он «заразит» их своими радикальными идеями. Как сдержать его влияние? Как противостоять — и не сделать его значимее?

На встрече, о которой пишет Ибн Исхак, один вождь предложил: «Скажем, он **кахин**» — то есть прорицатель в трансе, одержимый духами. «Нет», — возразил ибн Мугира, отец того самого Умары. — «Он не говорит как **кахин**, безумно бормоча рифмами». — «Тогда скажем, что им овладел **джинн**.» — «И это — нет. Мы видели одержимых: у него нет ни удушья, ни судорог, ни непонятного лепета». — «Ну, поэт?» — «Мы знаем поэзию во всех формах — его речь на неё не похожа». — «Колдун?» — И снова отказ: «Нет ни плеваний, ни заговоров, ни протяжных заклинаний».

В конце концов решили: «Это бабьи сказки, пустые выдумки». На этой версии и остановились. Что оказалось контрпродуктивно. Рвение, с которым они твердили «не обращайтесь внимания», лишь привлекало внимание. Любой, кто так бесит элиту, должно быть, что-то из себя представляет.

Облечённые властью чаще всего не замечают, как непопулярно их её применение, и курайшиты не были исключением. Толпы гостей и паломников из других племён слишком уж ясно сознавали, как их эксплуатируют. У них не было выбора: плати пошлины и сборы, «доступные» и «за пользование», или покупай по завышенным ценам пищу и воду. Но это не значило, что они довольны. Монополия курайшитов на власть порождала злость — а значит, и восхищение любым, кто дерзал бросить ей вызов. Задуманная как кампания очернения, затея обернулась, как подобные кампании часто и оборачиваются: ударила по затевателям. «В тот год арабы разъехались с ярмарки *Указ*, зная о Мухаммаде, — пишет Ибн Исхак, — и о нём говорили по всей Аравии».

Разозлённые провалом, правители Мекки стали менее рассудительны. Упрямая верность Абу Талиба племяннику задевала: принципы, которыми он её оправдывал, как раз и были теми, по которым *они* сами должны были жить. Они разоблачили себя как поверхностных и лицемерных, и — как современные режимы, оказавшись в таком положении, — сорвались. По наущению Абу Джахля они объявили бойкот всему клану Хашим.

Десятая глава

Прокламацию начертили на овечьем пергаменте, скрепили печатями главы двух крупнейших кланов — Абу Джахль из Махзума и Абу Суфьян из Умайядов — и прибили к дверям Каабы. Запрещалось вести с хашимитами какие бы то ни было дела — даже по поводу пищи. Их не пускали в караваны, изгоняли с рынков, исключали из сделок и партнёрств. Никто из других кланов не должен был жениться на них или выдавать за них. Им устраивали внутреннюю ссылку: избегать, как будто их нет, заставить чувствовать себя чужими дома.

Цель — вынудить Абу Талиба выдать Мухаммада; а если нет — дожать хашимитов так, чтобы они сами свергли Абу Талиба и выбрали более покладистого вождя. Как ни оправдывали, это было коллективное наказание — беспрецедентное для Мекки.

Чтобы бойкот действовал, его должны широко соблюдать — для этого он должен казаться справедливым. Но все видели: подписались лишь двое крупнейших. Ярость Абу Джахля, казалось, склонила обычно более рассудительного Абу

Суфьяна — но к чему? Настоящей целью были Мухаммад и его последователи — те, кто называл себя просто **му'минами**, верующими. Однако хашимитов среди них пока было немного. И как бы многие ни относились к Мухаммаду, они уважали принципиальность Абу Талиба как главы клана. Как и всякий клан, хашимиты не были изолированы: браки сплетали нарочно густую сеть родства между кланами — бойкот одного оказывался в каком-то смысле бойкотом самого себя.

По всей Мекке лояльность уже трещала: разногласия из-за послания раскалывали семьи. После того как уважаемый Абу Бакр принял **ислам**, его жена и двое взрослых детей последовали за ним, а один сын яростно противился. И пока сводный брат Хадиджи был одним из самых ожесточённых противников Мухаммада, его собственные два сына разделились: один уверовал, другой — нет, хотя был женат на старшей дочери Мухаммада и Хадиджи; теперь, под давлением клана, он развёлся с ней.

Даже единство хашимитов было не полным. Самый рьяный противник — сводный брат Абу Талиба, Абу Лахаб, тот самый «отец пламени», что ушёл со званого чтения аятов. Он горячо поддержал бойкот собственного клана — рассчитывая, видимо, что хашимиты сломаются, низложат Абу Талиба и выберут его вместо — что и помогло ему войти в Коран как единственному, названному по имени для осуждения.

Бойкот стал наглядной иллюстрацией, насколько извратились традиционные ценности Мекки — и тем самым подчеркнул то, о чём проповедовал Мухаммад. Так что если сторонники бойкота винили его в «разделении семей», то противники — теперь их — и тайно саботировали декрет. Ночью они переправляли пищу в квартал хашимитов, выступали «подставными лицами» в их интересах на рынках и в караванах. Но опасаясь расправы, при всех они держали хашимитам холодную спину. Публично пока никто не дерзал.

Повседневность хашимитов стала борьбой — и не только за хлеб насущный. Быть изгнанными из общения — значит терять чувство собственного достоинства. Приветливые мелочи встреч на улице, неторопливый торг на рынке, товарищеские беседы и советы в *гресинс'е* Каабы — всё то малое, из чего складывается чувство принадлежности к общности, — вдруг исчезло. Оскорбление было огромным — особенно для Абу Талиба.

Ему было под шестьдесят — много для того времени, и хотя здоровье сдавало под прессом, решимость сопротивляться только росла. Он ответил жёсткой сатирой в стихах, и его рифмы «вирусно» разошлись по переулкам и рынкам, дворам и

святылищу. Если это и значит быть курайшитом, писал он, — их честь ничего не стоит. Кому нужна защита таких трусов? «Лучше дайте мне молодого верблюда, / Слабого, ворчащего и бормочущего, / Обливающего бока мочой, / Отстающего от стада. / Взбираясь на гребни пустыни, вы бы звали его лаской».

Он обличал и своих, вроде Абу Лахаба, вставших против родичей: «Вижу наших братьев, сыновей нашей матери и отца: / Просишь о помощи — отвечают: “Это не наше дело”... / Вы отшвырнули нас, как горящий уголь, / Вы опозорили своих братьев пред людьми». И бичевал вождя умайядов Абу Суфьяна, которого считал другом: «Он отвернул лицо, проходя, / Шёл, размахивая, словно великий из великих. / Он говорит, что жалеет нас, как хороший друг, / Но зло таит в сердце».

Этот бойкот — «мерзость» против всех принятых нравов и ценностей, заключал Абу Талиб, и взывал к солидарности: «Если погибнем мы — погибнете и вы».

Абу Джахль отвечал ударами — из кожи вон, чтобы укрепить бойкот: давил на других лидеров, требуя дисциплины и «вправления мозгов» всем последователям Мухаммада в их рядах. В ответ небольшая группа верующих покинула Мекку и переместилась в Эфиопию — пока страсти не улягутся и бойкот не снимут. Одиннадцать мужчин и четыре женщины — их вели старшая дочь Мухаммада и её новый муж Усман, один из немногих богатых последователей, женившийся на ней сразу после того, как её первый муж не выдержал давления и развёлся. Эфиопия давала убежище и, как пишет Ибн Исхак, «обильный достаток, безопасность и хороший рынок», а также «праведного правителя», Негуса.

Со временем этот эфиопский эпизод, усиленный прибытием второй небольшой группы, стал важным аргументом в раннеисламской истории: мол, пока язычники Мекки преследовали мусульман, христиане Эфиопии признали и приняли их — как когда-то монах Бахира, встретивший юного Мухаммада в караване. Говорят, Негус дал верующим особую защиту; что он плакал, услышав о несправедливости бойкота; созвал епископов, чтобы подтвердить, что послание Мухаммада — и послание Иисуса; и с негодованием отверг золото мекканской делегации, требовавшей выдать беглецов. Но всё это слишком похоже на «слишком хорошо, чтобы быть правдой». Вероятнее, официальная защита была обычной для иностранных купцов, с правом торговать как временным жителям. И уж конечно, Негус остался христианином.

Поняв, что верные сторонники ускользнули, мстительный Абу Джахль взялся запугивать оставшихся. Под его началом кампания травли со стороны городских

громил превратилась почти в «сезон охоты» на верующих. Если не «вразумятся» — «вразумим» дубинкой.

Ибн Исхак и ат-Табари приводят несколько рассказов о насилии: например, нападение на группу молящихся в одной из **вади** за Меккой; в потасовке одному якобы ударили и рассекли голову верблюжьей челюстью — пикарескная деталь, слишком уж созвучная поздним штампам о доисламской Аравии (*с практической точки зрения бедренная кость служила бы оружием лучше* — прим. перев.). «Удобная» верблюжья челюсть возникает и в другом рассказе — уже в переулке Мекки: племянник Хадиджи нёс муку в квартал хашимитов, Абу Джахль схватил его; прохожий вмешался: «Ты не позволишь ему нести пищу собственной тётке? Пусти». Тот отказал; племянник поднял челюсть, свалил его и пинками прогнал. История приятна поздним верующим, но мало вероятна, учитывая значимость Абу Джахля.

Как бы там ни было с «украшениями», травля была реальна. Сам Абу Джахль открыто грозил верующим. У хорошо связанных — позором: «Вы оставили пути отцов, которые были лучше вас. Мы объявим вас слабоумными, поставим вам клеймо дураков и разрушим вашу репутацию». У купцов — бойкотом: «Мы отвернёмся от ваших товаров, доведём до нищеты». А с «людьми неважными» — как выражается Ибн Исхак, — без сильной защиты клана, — с рабами и вольноотпущенниками, приезжими ремесленниками и «гастарбайтерами» VII века — он не утруждался словами: их били. Так было с сыном вольноотпущенника, вызвавшимся первым после Мухаммада читать аяты в *precinct*'е Каабы. Едва он начал: «Именем Бога, Милостивого, Милосердного, научившего Коран», — на него посыпались удары и ругань: «Что там несёт сын рабынь? Как он смеет?»

Рабов морили голодом, вольноотпущенников лишали работы. Некоторые сдавались. «Дошло до того, — вспоминал один, — что если бы они указали на жука и спросили: “Это Бог?”, — ради прекращения побоев я сказал бы “да”». Другие держались — до пыток. Прежде всех — Билал, высокий сухой эфиопский раб: хозяин, родственник Абу Бакра, привязал его на солнцепёке и положил на грудь тяжёлый камень — чтобы медленно душить. «Так и будешь лежать, пока не умрёшь, — или отвергни Мухаммада и поклонись Лат и Уззе».

Абу Бакр умолял родича отпустить Билала: «Ты разве Бога не боишься — так обращаться с ним? Сколько это будет продолжаться?» — «Ты его и развратил — тебе его и спасать». В конце концов, пишет Ибн Исхак, они согласились обменять Билала на «более крепкого и сильного раба — и язычника». Абу Бакр тут же отпустил его на волю, и десять лет спустя бывший раб стал первым муэдзином ислама: его густой бас понёсся с самой высокой крыши с призывом к молитве.

Скоро Абу Джахлю стало трудно властвовать даже в собственном клане. Как ни хотелось «проучить» одного молодого махзумита, он остерёгся яростного нрава старшего брата юноши — и спросил у того разрешения «вразумить». — «Ладно, — ответил тот, — но берегись его жизни. Клянусь Богом: если ты его убьёшь — я истреблю твой дом до последнего». Этого хватило, чтобы умерить «педагогический запал».

Сам Мухаммад избежал худшего: защита Абу Талиба держала, бойкот не бойкот. Большинство нападок на него — словесные, когда он проходил мимо; но однажды, когда группа хмырей окружила его и схватила за плащ у Каабы, вмешался Абу Бакр — и избит был он; его дочь Аиша вспоминала, как он вернулся «с выдерванными волосами на голове и бороде».

Опасность вынудила верующих собираться тайно. Инакомыслящий родственник Абу Джахля предложил дом как убежище — так они собирались буквально «под носом» главного противника. Их заставили быть малым гонимым меньшинством — но это лишь усилило спайку. Взяв пример с самого Мухаммада, они отвечали на насилие ненасилием — и это стало впечатлять других явной несправедливостью происходящего. В итоге именно это чувство привело к *исламу* двух знаменитых воинов.

Первым был дядя Мухаммада — Хамза. Один из десяти сыновей Абд аль-Мутталиба, «сильнейший из курайшитов, несибаемый» — не тот, с кем спорят. Вернувшись из гор, где несколько дней охотился ради обоза осаждённых хашимитов, с луком на плече, он обошёл Каабу в благодарственном ритуале — и услышал разговоры об изумительной сцене: Мухаммад сидел неподвижно, а Абу Джахль стоял над ним, изрыгая брань, — «и Мухаммад не отвечал ни словом». Пассивное сопротивление — не стиль Хамзы. Вскипев от такой обиды племяннику, он подошёл к Абу Джахлю и, у всех на глазах, ударил его тетивной стороной лука. А затем — к своему же изумлению не меньше, чем к всеобщему — услышал себя: «Ты будешь поносить Мухаммада — когда *я тоже* из его последователей и говорю то, что он? Ударь меня, если посмеешь!»

Это была самая весомая поддержка из всех — подкреплённая силой и отвагой. Даже Абу Джахль отступил. Когда некоторые махзумиты бросились к нему, он отмахнулся с показным раскаянием: «Оставьте Хамзу: я глубоко оскорбил его племянника». Или — он просто был поражён тем, что сам стал поводом обращения Хамзы.

Второе обращение — иное по духу — было у другого знаменитого воина, Омара, чьего роста было достаточно, чтобы внушать страх: «словно он на коне». Молодой, вспыльчивый, скор на кнут, любил крепкое финиковое вино. Он станет самым знаменитым полководцем ислама — сменит Абу Бакра вторым халифом; но скажи это кому-нибудь при начале бойкота — рассмеют. Омар — племянник Абу Джахля, и отец его когда-то гнал из Мекки собственного сводного брата — **ханифа** Зайда. Если был человек, на которого Абу Джахль мог положиться — это он. Или так казалось.

Ибн Исхак рассказывает, как однажды вечером, думая о расколе и пылая праведным гневом пьяницы, Омар подпоясался мечом: «Иду к Мухаммаду-изменнику, который разделит курайшитов, насмехается и поносит нас. Я убью его». — «Ты себя обманул, Омар», — сказал друг и напомнил закон возмездия: «Неужели хашимиты позволят тебе ходить по земле, если ты убьёшь Мухаммада? Лучше иди домой и приведи в порядок свои дела». — «Мои дела?» — «А ты не знаешь? Твоя сестра, её муж и племянник — все приняли **ислам**».

Сестра благоразумно промолчала — он не знал. В ярости ворвался к ней — готовый распускать кулаки и кнут — и застал небольшую группу, спокойно сидящую на полу и распеваящую аяты. Они не прервали чтение — и это настолько выбило его из ярости, что он остановился. Музыкальность речитатива пробилась сквозь туман злобы и вина — он сел и выслушал. «Как это прекрасно и благородно», — сказал он, и попросил провести его к Мухаммаду — произнести **шахаду**. С тех пор он не касался вина.

Это классические истории «озарения» — знакомые студентам раннего христианства. Но как бы ни было, столь заметные обращения, как Хамзы и Омара, повлекли другие. Они укрепили дух и силы гонимых верующих — и усомнили мекканских лидеров в мудрости бойкота и преследований. Снова их тактика оборачивалась против них.

Зазвучали голоса за менее враждебный подход. «Оставьте Мухаммада, — говорил старейшина. — Он человек без сыновей: умрёт — и память о нём исчезнет, и вам будет покой». Другие искали компромисс: мол, предложить Мухаммаду «мы будем поклоняться тому, чему поклоняешься ты, если ты — тому, чему поклоняемся мы. Если твоё — лучше — примем; если наше — ты примешь». Но кое-кто воспринял кораническое послание гораздо серьезней, признавая его силу радикально изменить Мекку. «О, курайшиты, это дело вам не по зубам», — сказал один из прозорливых. Ни насмешки, ни сила не помогут. «Вы любили Мухаммада — пока

он не принёс вам своё послание. Пора заняться своими делами: клянусь Богом, с вами приключилось серьёзное».

Беспомощный — видеть, как родичи терпят нужду, как его последователей либо гонят в изгнание, либо бьют и пытаются, — Мухаммад остро чувствовал ответственность. Его поддерживала вера верующих и стойкость хашимитов, но мучило знание: если бы не он — ничего бы этого не было. И всё же чем больше буря в нём, тем чаще откровения откликались на неё. Будто коранический голос видел вглубь и отвечал на вопросы, которые он едва осознавал.

Снова и снова приходили аяты — утешать и ободрять, пока насмешки и поношения множились. Терпение и выдержка стали постоянной темой откровений этого периода, создавая почти «гандианскую» тактику ненасильственного сопротивления (*сравнение — лишь по духу стойкости* — прим. перев.). Раз за разом ему говорили, что не он один переносил такое: «И прежде тебя, Мухаммад, многих посланников осмеивали». Как и он, им не верили, звали «чародеями и безумцами». От Моисея до Иисуса — все приносили одно и то же Божественное предупреждение, возвращали к жизни настоящих ценностей — и всех дразнили и презирали.

«Мы знаем, что сердце твоё отягощено тем, что говорят многобожники», — но он должен был не вникать. «Да не опечалят тебя их слова». «Не давай угнетать сердце». «Не печалься». «Не унывай». Его задача — лишь предостеречь сограждан — не спасать их. «Ты не можешь заставить слышать мёртвых, ни обратить внимание глухих». У циников «сердца, которыми они не понимают, глаза, которыми не видят, уши, которыми не слышат». «Ты не выведешь слепых из их заблуждения... Если бы, даже увидев кусок неба падающим, они сказали бы: “Туча нагромождённая” — оставь их, доколе не встретят День Суда». Это тяжело, но «не изводи себя по ним».

Порою коранический голос звучал почти как голос заботливого родителя или супруга: «Неужели ты изведёшь себя до смерти тем, что они не веруют?» Не обращай внимания на насмешки: «Оставь их блуждать в упорстве». «Оставь их измышлениям». «Оставь в покое тех, кто берёт религию как игру и забаву».

«Отвернись от них и жди». Или — словами прежнего посланника — подставь другую щёку. «Не обращай на них внимания: ты не в ответе. Будь снисходителен и веляй одобряемое; не внимай невежественным». И почти нетерпеливо — о терпении: «Терпи то, что они говорят; избегай их благородно, и предоставь живущих в роскоши и отвергающих истину — Мне».

Однако само настойчивое предостережение «не внимать насмешке» обрекло на то, что её жало долго переживёт события. Здесь, в основе ислама, — исток современной мусульманской чувствительности к оскорблению, удивляющей многих. Там, где на Западе сатира чаще кажется безобидной — развлечением больше, чем обидой, — память о непрерывной мекканской травле Мухаммада и преследовании первых мусульман лежит за вспышками гнева на «Сатанинские стихи» Салмана Рушди (1988) и на датские карикатуры (2005). Ирония в том, что мудрейший путь — именно тот, что советует Коран: «не обращать внимания». Но его проигнорировали — ещё одна из неискоренимых ироний истории и веры.

Быть причиной раскола среди своих было мучительно — человеку, с детства стремившемуся быть принятым. Стремление к примирению всегда было в нём сильно. Это делало его отличным переговорщиком в караванах — и легло в основу безупречного компромисса, когда он решил вопрос о том, кому водрузить Чёрный камень в перестроенную Каабу. Теперь, когда спор вертелся вокруг него, — неужели не найдётся способ примирить всех?

Он видел, что людей вроде Абу Джахля движут ненависть и честолюбие. Но понимал: большая часть руководителей, как Абу Суфьян, искренне опасается — его послание угрожает святому для них. Коран называл их *куфр* — буквально «неблагодарные» (за то, что создал Бог), обычно — «неверующие». Но в своём понимании — «традиция отцов» — они были глубоко «верующими». Они не отрицали Бога: Кааба — Божье святилище, и они считали своё служение хранителями честным — не только выгодным. Эта вера требовала лояльности не только Аллаху, но и «троим дочерям» — Уззе, Лат и Манат. Курайшиты были не «безверы», а «слишком рассредоточили» веру. Если они заблудились — должен быть путь мягко направить их верно.

Он возобновил долгие ночи молитвенного бдения и размышлений, ожидая, что голос подскажет — как унять раздор. Должен быть способ *включить*, а не исключить мекканские традиции. Несомненно, решение будет даровано. И — слишком уж по-человечески — было.

Ибн Исхак рассказывает так: «Когда Мухаммад увидел, что его народ отворачивается, он страдал от того, что они чуждаются того, что он принёс им от Бога, и жаждал вести, которая примирила бы его с народом. Он охотно увидел бы, чтобы те вещи, что тяжело давили на них, смягчились — настолько, что повторял это самому себе, горячо желая такого исхода. И тогда Бог ниспослал сура 53, начинающуюся словами “Клянусь звездой, когда она падает: ваш товарищ не заблудился и не прельстился, и говорит он не по прихоти своей”. Но когда

Мухаммад дошёл до слов “Видели ли вы Лат и Уззу, и третью — Манат?”, сатана вложил в его язык: “Это — три высокие превознесённые птицы; и поистине желанно их заступничество”».

Вот они — печально известные «сатанинские аяты». «Три дочери Бога» больше не «ложные божества», а гигантские птицы, чьими крыльями накрыта земля, и чьё заступничество действительно для их почитателей.

Стоило Мухаммаду прочесть эти «новые айаты» в precinct'e Каабы, как отклик был восторженным. «Услышав, люди возрадовались и обрадовались, — передаёт Ибн Исхак. — “Мухаммад упомянул наших богинь — дочерей — в наилучшем виде. Мы и так признаём, что жизнь и смерть — от Бога, Аллаха; Он нас творит и Он нас питает; но если дочери всё ещё могут заступиться за нас, и если Мухаммад оставляет им долю поклонения — мы принимаем его слова”».

Одним махом разрыв будто бы исцелился. Но этого стиха — в том виде — в Коране не будет.

Ночью, говорит Ибн Исхак, ангел Джibriль явился и сурово укорил: «Что ты сделал? Ты прочитал то, чего я не приносил тебе от Бога; сказал то, чего Он тебе не говорил». В тот миг Мухаммад понял: его обмануло собственное желание примирения; он избрал лёгкий путь, а не тот, что был начертан. Нет божества, кроме Бога. У Бога не может быть товарищей, ни дочерей, ни сыновей. Бог — «не рождён и не рождает». Что же он сделал?

Он был сокрушён — «горько опечален и в великом страхе пред Богом», — пишет Ибн Исхак. «И Бог послал иное откровение — утешить и облегчить: “Не посылали Мы ни посланника, ни пророка прежде тебя — чтобы он чего-то ни желал — чтобы сатана не бросал в его уста. Но Бог отменяет, что бросает сатана, и утверждает аяты Свои. Бог — всеведущ, премудр”» (22:52 — прим. перев.).

Это заверение вошло в Коран — как и новый аят на место «сатанинских». Он начинался теми же словами — но шёл в ином направлении: «Видели ли вы Лат и Уззу, и третью — Манат? Неужто у мужчин — сыновья, а у Бога — дочери? Воистину, это — неправо. Это — лишь имена, которые вы и отцы ваши назвали: не низвёл Бог ими довода» (53:19–23 — прим. перев.).

Это было самое радикальное отвержение местных божеств: они — всего лишь имена. Ни власти, ни силы; плод воображения.

Политика веры сделала историю «сатанинских аятов» и знаменитой, и печально знаменитой. Многие богословы отвергали её как апокриф — даже хулу — особенно после того, как ориенталист XIX века Уильям Мьюир попытался вывести из неё, будто Мухаммад «с самого начала вдохновлялся сатаной» (за что даже **The Times** попрекнула его «христианской пропагандой»). Такие богословы объявляют случившееся невозможным: это противоречит догмату о непогрешимости Мухаммада. Но в Коране этого догмата нет. Напротив, человеческая ошибочность прямо признаётся в аяте о том, что «в уста» каждого посланника «вбрасывал сатана». И всё же консервативные учёные подозревают: эпизод сочинили враги ислама — чтобы подорвать доверие и к Мухаммаду, и к самому Корану.

Взгляд со стороны, однако, скорее укрепляет доверие к Мухаммаду. История проливает свет на процесс откровения — меньше как на «мгновенный гром небесный», больше — как на своеобразное со-участие человеческого и божественного — продолжающийся разговор, в котором одна сторона говорит за двоих. Мы видим глубину его боли и стремления к примирению. Он предстает трогательно уязвимым — склонным к человеческой привычке проецировать собственное желание на Божью волю. И мы видим, как он поддался минутной слабости — услышав то, что хотел.

Именно эта уязвимость делает эпизод правдоподобным. И — его тяжёлое потрясение, когда, уже достигнув желаемого: курайшиты распахнули объятия, готовы были вернуть его и принять его слово, — он понял, что обманул себя и изменил посланию. Как велит Коран повторять снова и снова — он лишь человек: «подобный вам» и «из вашей среды». Непогрешим — лишь Бог.

Потребовалось немалое мужество — признать ошибку так публично, тем более понимая, как это обратят против него. VII-вековые мекканцы были не более склонны признавать в этом силу, чем люди XXI века. До сих пор признание ошибки принимают за слабость — вместо силы. Как пишет Кэтрин Шульц в книге **Being Wrong** («Ошибка»), «сам образ ошибки — наша мета-ошибка. Мы ошибаемся насчёт того, что значит ошибаться. Далеко не признак умственной неполноценности — способность ошибаться жизненно важна для человеческого мышления. И вовсе не моральный порок — она неотделима от самых человеческих качеств: эмпатии, оптимизма, воображения, убеждённости и мужества».

Разумеется, курайшитская верхушка видела иначе. Их ещё больше распалило то, что, по их мнению, Мухаммад «взял слово обратно» — наивысший грех в обществе, где слово — буквально залог, а клятва и рукопожатие — крепче письменного договора. Мухаммад знал: он обманул себя; но правители Мекки сочли, что

обманули *их*. Это — непростительно. Он вложил в их руки то самое оружие, которого они добивались. Он пытался встретиться посередине — из стремления к единству — а лишь углубил разрыв.

И всё же — как ни спорят консерваторы — можно сказать, что эпизод был необходим. Он навсегда прояснил: как бы ни было больно, Мухаммад должен оставаться верен себе, своему голосу и голосу Бога. В этом — смысл суры 109, которая целиком гласит в переводе Крачковского: «Скажи: “О неверующие! Я не служу тому, чему служите вы, и вы не служите тому, чему служу я. Я не буду служить тому, чему служили вы, и вы не будете служить тому, чему служу я. Вам — ваша религия, мне — моя”». «Сатанинские аяты» заставили решиться раз и навсегда. Обратной дороги не было.

Одиннадцатая глава

К тому времени, когда бойкот был официально отменён, солнце и ветер почти дочиста изодрали прокламацию, прибитую к двери *Каабы*. Потребовалось почти два года, чтобы знать *Курайш* признала очевидное, и к тому времени единственными ещё различимыми словами на изорванном пергаменте были обычные вступительные: «Во имя Твое, о Боже...» Но едва жизнь для Мухаммада вернулась к чему-то похожему на норму, как его настигло личное горе: умерла Хадиджа.

Случилось это внезапно. Долгой болезни не было, так что причиной мог стать сердечный приступ, вызванный стрессом от пережитого во время бойкота, или же просто то, что ей было уже за шестьдесят — хороший по меркам VII века возраст. Вполне возможно, что сказалось и то и другое: воздействие стресса на пожилое сердце. Но до конца — любящее.

Двадцать четыре года она была для Мухаммада путеводной звездой — его убежищем, его опорой, его доверенным человеком, его утешением. С самого начала она разглядела в нём то, чего не видел никто, и точнее, и прозорливее всех. Она нарушила общественные нормы, чтобы выйти за него, вытащив его из неустроенности к уважению. Вместе они вырастили четырёх дочерей и двух сыновей — одного официально усыновлённого и другого фактически усыновлённого, — и оба те стали ему столь же близки, как родные. В её объятиях он искал убежища от ужаса той ночи на горе Хира, её голос успокоил его. Вместе они перенесли лишения и бойкот, насмешки и презрение. Они выстояли. И вот, когда казалось, что для них снова наступит относительное затишье, её не стало, и Мухаммад остался совершенно раздавленным.

Сколько бы он ни женился после, той любви он уже не найдёт. Годы спустя Аиша, самая юная и самая бескомпромиссная из девяти будущих жён, скажет: «Я ни к

одной жене пророка не ревновала, кроме Хадиджи, хотя я пришла уже после её смерти». И хотя это явно не так — она сердилось даже на одно упоминание о чьей-то красоте, — именно Хадиджа была центром её ревности. Первая жена Мухаммада была единственной женщиной, которую нельзя было оспорить, и он даст это юной Аише понять, когда та осмелится направить свой острый язык против предшественницы.

Дразня, Аиша спросит, как он может оставаться столь преданным памяти «той беззубой старухи, которую Бог заменил лучшей». Интонации несомненно её; никто другой не посмел бы быть столь разитель-но прямым. Это вопрос, который может задать лишь подросток — и о котором лишь женщина, ставшая куда старше, пожалеет, пересказывая историю много лет спустя: слова, сказанные с той легкомысленной беспечностью, с какой молодые и живые относятся к старым и умершим. Но если Аиша и думала хоть на миг получить преимущество перед Хадиджей таким образом, ответ Мухаммада тут же остановит её.

«Отнюдь нет, Бог не заменил её лучшей», — скажет он. И человек, который, хотя и женился многократно, уже никогда не имел детей после Хадиджи, поставит точку: «Бог даровал мне её детей, удержав детей от других женщин».

Похоронив и оплавав Хадиджу, Мухаммад не думал о новой женитьбе. Поддерживали его в это время юный кузен Али, близкие сподвижники Абу-Бакр, Умар и Усман, и двое из его дядьёв — грозный Хамза и вedomый честью Абу-Талиб, который продолжал стоять за племянника из верности дорогим ценностям рода и традиции. Но усилия истощили его. И едва Мухаммад оправлялся от смерти Хадиджи, как Абу-Талиб заболел и уже не поднялся.

Когда стало ясно, что смертное ложе и есть его последняя постель, другие главы родов пришли проститься — и в последний раз надавить ради согласованного решения тех проблем, что, по их мнению, приносили им занятия племянника. Даже Абу-Джахль на время принял более умеренный тон: то ли из-за провала бойкота, то ли в силу близости смерти — он уступил слово Абу-Суфьяну.

«Ты знаешь, мы чтим твоё положение, Абу-Талиб, — сказал вождь умайядов, — и теперь, когда ты на краю жизни, мы глубоко озабочены тем, что будет после твоего ухода. Так позовём твоего племянника и заключим соглашение, что он оставит нас в покое, и мы оставим его; пусть у него будет его религия, а у нас — наша».

Возможно, умышленно слова Абу-Суфьяна почти буквально повторяли те, что произнёс сам Мухаммад после признания ошибки с «стихами сатаны». Но то, что могло сработать тогда, больше не работало. Мухаммада позвали, он встал у постели дяди. «Племянник, — сказал Абу-Талиб, — эти знатные люди пришли к тебе, чтобы дать тебе нечто и получить нечто от тебя». Как ни был он слаб, слова подбирал тщательно; сохраняя видимость беспристрастия, он дал понять, что будет цена, и будто намекнул, что Мухаммад окажется меньше самого себя, согласись он на предложение Абу-Суфьяна. После той реакции на отказ от

«сатанинских стихов» Мухаммаду не требовалось больше никаких подсказок. Он стоял на своём: признание единого Бога и отказ от всех родовых идолов и меньших божеств. В ответ Абу-Суфьян и другие только всплеснули руками в раздражении и покинули комнату, оставив Мухаммада наедине с умирающим дядей.

Что сказал тогда Абу-Талиб, до сих пор спорно. По одной версии, он прошептал: «Племянник, зачем ты зашёл так далеко?» По другой — «Племянник, ты не потребовал от них слишком многого», — и эта вторая версия отражает надежду многих благочестивых мусульман, что человек, прошедший свой род через лишения ради защиты Мухаммада, всё-таки умер верующим. Версии же сходятся в одном: Мухаммад взял дядю за руку, когда из глаз уходила жизнь, и убеждал произнести шахаду, принять *ислам* и засвидетельствовать, что нет божества, кроме Бога: «Скажи это, дядя, — и я смогу свидетельствовать за тебя в День суда». Но Абу-Талиб до конца остался верен мекканской традиции. «Если бы не то, что они сочли бы это позором и сказали, будто я испугался смерти, я сказал бы это хотя бы ради твоей радости, племянник. Но я должен оставаться в путях моих отцов».

И вот так — с разницей в считанные недели — не стало и Хадиджи, и Абу-Талиба. Две главные крепости поддержки для Мухаммада — одна, рождённая любовью, другая — кланом и честью — были вырваны из его жизни.

Смерть отзывается в уме эхом. Для скорбящего ни одна смерть не случается в одиночку. Каждая вторит прежним потерям — осознанным или нет — и почти физической болью оставленности, что приходит вместе с утратой. Такой удар — двойная смерть любимой супруги и надёжного защитника — сокрушил бы кого угодно; для мужчины, чей отец умер до его рождения, а мать он знал меньше года до её смерти, это было почти невыносимо. Тем более что теперь он остался ещё более уязвимым.

С уходом Абу-Талиба *хашимиты* должны были выбрать нового главу клана — и выбор не сулил Мухаммаду добра. Они не сместили Абу-Талиба во время бойкота, как того ждал его единокровный брат Абу-Лахаб, но теперь сочли естественным именно его — «отца пламени» — поставить во главе, тем самым сменив защитника Мухаммада на одного из его яростнейших противников.

И всё же могло сложиться иначе: казалось, что общая скорбь по Абу-Талибу могла бы связать их двух. В честь памяти умершего Абу-Лахаб заверил племянника, что будет защищать его, как делал Абу-Талиб, но обещание быстро рассыпалось. Встревоженные его видимой переменой, прочие вожди племени доказали, что, покровительствуя Мухаммаду, Абу-Лахаб не возвышает честь *хашимитов*, а роняет. Мол, Мухаммад позорит свой род, ведь из его учения следует: отцы клана — от Хашима через аль-Мутталиба и до самого Абу-Талиба — все терпят адские муки в загробье, ибо не приняли *ислам*.

К тому моменту, как они закончили, Абу-Лахаб уже кипел от одного лишь представления, будто кто-то из *хашимитов* навешивает на отцов такой приговор,

марая их память. Он снял свою защиту — по сути, изгнал племянника из клана. Любое покушение на Мухаммада отныне *хашимиты* не сочли бы поводом для кровной мести. На языке того времени «его кровь стала дозволенной» — он буквально оказался вне закона.

В великих доисламских одах это подали бы романтизированно — как легенду о беглом «скитавшемся царе» Имр аль-Кайсе, что гордо жил разумом и отвагой, бросая вызов отвержению. Но Мухаммад не был поклонником такого классического мифа. Даже будучи мальчиком на обочине, он никогда не мыслил себя «одним против своего народа». Напротив, он делал всё, чтобы быть «одним из них», а теперь стремился изменить их изнутри — спасти Мекку от её худшего «я». Его видение — не асоциальный бунт, а реформаторская пере-стройка общества изнутри. Он ощущал себя мекканцем до мозга костей, глубоко преданным месту и людям, чьё место это было, — и потому тем больнее видел направление, в которое они шли. Но пропасть росла. То, что он понимал как реформу, им мерещилось переворотом. И, поступая так, они, быть может, тоньше уловили революционную сторону его послания, чем он сам в ту пору.

Мухаммад — уже не просто безумец или одержимый, утверждали противники. Гораздо опаснее. Пытаясь отвернуть Мекку от «путей отцов», он покушался подорвать и свергнуть всё общество. Для таких, как Абу-Лахаб и Абу-Джахль, это было изменой.

Психология власти здесь, увы, слишком узнаваема современному уху. В автократиях особенно, но и в демократиях на изломе тех, кто говорит против несправедливости, всё ещё клеймят подрывниками и «предателями». Они говорят как глубоко верные граждане — их объявляют разрушителями, движимыми ненавистью или даже самоненавистью. За очернением следует арест, пытки, физическое устранение — это знакомая тропа.

Когда стало известно о снятии защиты Абу-Лахабом, нападки на Мухаммада стали точечнее. На его голову высыпали вёдра пыли по дороге во двор *Каабы*, камнями забрасывали, когда он пытался проповедовать там. Даже дома он был не в безопасности. Пока он сидел в своём дворе, кто-то бросил в него овечьи внутренности, забрызгав кровью и слизью. Брошенным был именно женский орган — матка, — что делало оскорбление ещё непристойнее в обществе, столь крепко стоящем на мужской чести. Стало ясно: если Мухаммад не собирается жить под домашним арестом — а попросту если он хочет выжить, — крайне важно обрести покровительство главы какого-то клана.

По некоторым рассказам, он сперва обратил взор к Таифу — небольшому городу в горах, дневном переходе юго-восточнее Мекки. Но Таиф был крупным культовым центром *Лат* — одной из богинь, что Мухаммад объявил ложными, — и тесно связан с мекканской верхушкой: многие обзаводились там летними домами, пользуясь источниками и зеленью, делавшими место прохладным и приятным

рядом с удушливой мекканской жарой. Вроде бы последнее место для поиска поддержки — но туда, говорят, он всё-таки явился.

Реакция местных уважаемых людей была предсказуемо колкой. «Если ты и вправду послан Богом, как говоришь, твоё положение слишком высоко, чтобы мне говорить с тобой», — последовал один саркастический ответ на его просьбу. «А если ты попусту поминаешь имя Божье, то и говорить с тобой негоже». Другой просто смерил его взглядом: «Неужели Бог мог послать только такого ничтожного, как ты?» Через несколько дней камнобросатели уже выдавили его из Таифа; но в Мекку возвращаться без официального покровительства было опасно, и он остановился в нескольких милях от города, послав одно за другим послания нескольким второстепенным вождям с мольбой о помощи. Наконец один согласился. Престарелый аль-Мут'им был из немногих, кто не поддержал бойкот, — теперь он отправил небольшой вооружённый эскорт сопровождать Мухаммада обратно в город.

Абу-Джахль — «отец неведения» — наблюдал настороженно, когда они вошли во двор *Каабы*. «Это покровительство или призыв к оружию?» — спросил он аль-Мут'има. «Я даю покровительство», — прозвучал ответ, на который даже Абу-Джахль должен был откликнуться так, как должен всякий из *Курайш*: «Мы защитим того, кого защищаешь ты».

Это было не самое крепкое покровительство: Мухаммад оказался в положении «клиента» аль-Мут'има, а не равного. Но больше пока было не достать. По крайней мере это дало передышку — время собраться и решить, что делать дальше. И именно в эту пору крайней неустроенности, когда казалось, что он вынужден думать только о земнейшей задаче выживания, он — воспарил. *Исра* — Ночное путешествие — стало одним из самых нагруженных символически событий его жизни.

В простейшем изложении Ночное путешествие — чудо. Ночью Мухаммад проснулся и отправился к *Каабе* молиться в одиночестве. Там он задремал — и его разбудил ангел Джibriл, поднял и усадил на крылатого белого коня. Конь взмыл на север — той же стороной, куда обращались в молитве Мухаммад и его последователи. В Иерусалиме стоял древний еврейский храм, возведённый над каменной глыбой, где Авраам, первый *ханиф*, поднял нож, чтобы принести сына в жертву послушанием Единому. Обращаясь в молитве туда, первые верующие утверждали первенство Авраама как родоначальника монотеизма — традиции куда древней и почтенней, чем «пути отцов» мекканских. Авраам — первый отец, а значит — отец всех. И теперь Мухаммад встретится с ним.

Полчища ангелов приветствовали его по прибытии, и, когда он спешил, ему предложили на выбор три чаши. В одной было вино, во второй — молоко, в третьей — вода. Он выбрал молоко — срединный путь между аскезой и наслаждением, —

и Джибрилл обрадовался: «Ты направлен верно, Мухаммад, и так будет с твоим народом».

«Потом, — рассказывают слова Мухаммада, — мне поднесли лестницу, тончайшую из виденных мною. Это была та самая, на которую взирает умирающий, когда смерть приближается». Ведомый Джибрилом, он взошёл по ней и поднялся через семь кругов небес, где председательствовали, соответственно, Адам; Иса (Иисус) и Яхья (Иоанн); Юсуф (Иосиф); Идрис (Енох в мусульманской традиции); Харун (Аарон); Муса (Моисей); и, наконец, в седьмом, высшем круге — на пороге Божественной сферы — Ибрахим (Авраам).

Таков каркас Ночного путешествия у Ибн Исхака — и он ясно говорит, что слышал ту или иную форму рассказа от многих, но не уверен в надёжности каждого. Подбирая слова, он вводит эпизод так: «Этот рассказ сложен из частей — каждая привносит нечто из того, что кто-то слышал о случившемся». И, чтобы показать: речь может быть скорее о вере, чем о факте, он щедро пользуется оборотами вроде «Мне передавали, что в своей истории аль-Хасан говорил...», «Кто-то из семьи Абу-Бакра говорил мне, что Аиша говорила...», «Традиционалист, слышавший от слышавшего от Мухаммада, передал, что Мухаммад сказал...».

Этого рассказа нет в Коране, хотя начало *суры* 17 традиционно понимают как ясный намёк: «Хвала Тому, кто перенёс ночью Своего раба из Священного Дома в Дом Дальний, чтобы показать ему некоторые из знамений Наших». Из Священного Дома — святилища *Каабы* — к Дальнему — иерусалимскому. В свете этого аята Ибн Исхак подытоживает свою репортёрскую дилемму так: «Вопрос о месте путешествия и о сказанном вокруг него — испытание и дело силы и власти Бога, урок для разумных — с путеводством, милостью и укреплением для уверовавших». Мудро сформулированный отказ от определённости. Была ли это грёза, видение или пережитая явь — на взгляд Ибн Исхака важно не «как», а «что это значит». Он осторожно балансирует между долгом верующего и обязанностью биографа — деликатная эквилибристика, и в конце он ловко продевает нитку в ушко: «Слышал, что Посланник говорил: “Мои глаза спят, но сердце бодрствует”. Один лишь Бог знает, как нисходит откровение и что он видел. Но был ли он во сне или наяву — всё было истинно».

Согласны были не все ранние историки ислама. Ат-Табари, писавший столетием позже в новой столице — Багдаде — как всегда настороженно относился к рассказам о чудесах и куда больше занимался политикой. Хотя он не раз признаёт долг перед Ибн Исхаком, в своей многотомной истории он опускает эпизод вовсе — и игнорирует часто цитируемое изречение, приписанное Аише много лет после смерти Мухаммада: «Тело Посланника оставалось там, где было, но Бог унес его дух ночью».

Было ли Ночное путешествие «просто сном»? Но тогда «просто сна» не существовало. Фрейд был далеко не первым, кто разглядел символический вес

сновидений, и не он изобрёл их толкование; он лишь призвал новую науку психологии оживить древний обычай, шире понимавший сон не как пассивное состояние, а — при должной подготовке — как деятельное переживание души.

Обряд, известный как инкубация сна, высоко ценился и в Греции, и в Риме: человек очищался постом и медитацией, затем спал в храмовом дворе, чтобы получить во сне божественное наставление. И повсюду в Библии сны — форма явления Божественного. «Если будет пророк у вас, Я, Господь, открываюсь ему в видении, во сне говорю ему», — говорит Яхве Аарону и Мариам. Умение Иосифа толковать сны сделало его советником фараона; к Аврааму, Иакову, Соломону, святому Иосифу и святому Павлу Бог являлся во сне.

Традиция живёт в Талмуде: сны проводят божественную мудрость. По одному мидрашу, «во время сна душа отходит и черпает духовное обновление свыше». Позднейшая раввинистическая традиция ценит *шеэлат халом* — «вопрос сна», то есть ответ сна на бодрствующий вопрос. Мистическая сторона сновидений вошла в «Зоар», фундамент каббалы XIII века, где ангел Джибрил (Гавриил) назван «властителем снов» и связующим между Богом и человеком — таким же он был и для Мухаммада. В одном рассказе о каббалисте Ицхаке Лурии Джибрил является ему во сне со стилосом писца в руке.

Не менее важную роль сыграли мусульманские философы и мистики. Двое величайших — Ибн Араби в XII веке и Ибн Халдун в XIV — много писали об *алам аль-мисаль*, «мире образов», где сны — высшая форма видения божественной истины. Ибн Халдун писал, что Бог создал сон как возможность «поднять завесу чувств» и получить доступ к более высоким формам знания. Несколько хадисов — преданий о словах и практике Мухаммада — показывают, как он учил последователей об обряде истихары — очищения и молитвы перед принятием решения, совершаемом либо наяву (тогда ответ приходит как «склонность сердца»), либо перед сном (тогда ответ приходит во сне).

Но в дни сразу после Ночного путешествия даже ближайшие не были уверены, как это поймут. Одна из них умоляла его помолчать. Противники нарочно воспримут это буквально, сказала она: «Они назовут тебя лжецом и оскорбят». Когда же Мухаммад всё равно рассказал — реакция была ровно той, какую она предвидела. «Совершенно нелепо!» — злорадствовали оппоненты, с тем же задором, с каким современные политики ловят промах соперника. «Караван идёт до Сирии месяц и месяц назад — и Мухаммад утверждает, будто он за одну ночь долетел до Иерусалима и обратно?»

Споры о путешествии не утихают и теперь — между теми мусульманами, кто видит в нём мистический опыт, и теми, для кого всё было буквально. Яркие плакаты с Бураком — крылатой белой кобылой, чьё имя значит «молния», — висят во многих мусульманских домах от Азии до Северной Африки и Ближнего Востока; детали седла и убранства варьируют по местным традициям. Иногда её крылья

распускаются павлиньими перьями; и, несмотря на запрет образов человека в консервативном исламе, её нередко рисуют с прекрасной женской головой, с тёмными волосами, ниспадающими вдоль длинной шеи. Паря на фоне звёздного неба, она перешагивает расстояние между золотым Куполом Скалы в Иерусалиме и минаретами Мекки — вопреки и географии, и хронологии, ведь ни Купола, ни минаретов ещё не было. Но в целом этот образ Бурака не воспринимают буквально: это овеществление невещественного — перевод метафизического в физическое. То же можно сказать и о рассказе самого пути. Вопрос не в том, «летал ли “по-настоящему” Мухаммад ночью в Иерусалим и обратно», а в том, что значило пережитое.

Как в сне Иакова в Книге Бытия, лестница вела на небо. Но если Иаков остался спать у её подножия, Мухаммад увидел ту, на которую «взирает умирающий», — и поднялся. Чувствовал ли он, будто умирает — как тогда, при первом откровении на Хире? Было ли это «умиранием для себя» — тем самым, к чему стремятся мистики всех вер? Или ему почудилось, будто он покинул тело и парит над ним, глядя вниз на земного себя — как рассказывают некоторые, пережившие клиническую смерть? Не было ли в этом и прорыва за предел смерти — к жене и дяде, которых он недавно потерял?

Несомненно, Ночное путешествие глубоко символично психологически: оно пришло, когда Мухаммад был наиболее уязвим — уверен в миссии, но не в том, куда она приведёт и как. Образы полёта и восхождения — это свобода и преодоление, выход за пределы частностей повседневности. В сущности, этот путь можно видеть как своего рода сверх-компенсацию за двойную потерю Хадиджи и Абу-Талиба: даже когда он вяз в одиночестве горя и как никогда чувствовал себя изолированным в Мекке, эпизод подтвердил — он не один; его приветствовали в собрании ангелов и приняли великие пророки прошлого — как равного.

Но так же как «чудесное» понимание сводит эпизод к простому «да/нет», «верю/не верю», — столь же психологическое толкование рискует обесценить его настоящий смысл. Потому что именно здесь можно сказать: Мухаммад полностью принимает — как сказано в Ветхом Завете — «мантию пророчества». Тот, кому прежде велели говорить, что он «лишь один из вас» и «просто человек», теперь особо облагодетельствован. «Один из вас» не летит сотни миль в ночь, чтобы беседовать с ангелами и пророками и восходить в Божье Присутствие. Мухаммад уже не пассивный получатель откровения, а деятельный участник: он летит, восходит, молится с ангелами, говорит с пророками.

Физически это было или видением, явью или реальностью сна — Ночное путешествие отмечает резкую перемену. Здесь Мухаммад впервые осознаёт себя не только Посланником, но и вождем. Здесь, когда его будущее в Мекке под вопросом, он видит своё будущее развёрнутым. «И будет семя твоё как песок земной, и распростишься ты к западу и к востоку, к северу и к югу», — сказал

Яхве Иакову в его сне; подобным образом Ночное путешествие стало для Мухаммада обещанием будущего. Это рывок к новому уровню решимости и действия — к той решимости, что позволит вырвать себя из уз рода и племени и полностью принять радикальные следствия своего послания.

Его ближайшие узы безвозвратно перерезала смерть, но тем самым он стал свободен войти в назначенную роль и принять власть своего видения. Как бы холодно это ни звучало, возможно, женщине, которую он любил больше всего, и мужчине, на которого он опирался сильнее всего, суждено было умереть — чтобы освободить его от уз дома и запустить его путь в больший мир.

Двенадцатая глава

Во многих местах мира сегодня вопрос «Откуда ты?» отвечают названием места, где родился, или где вырос. В той или иной мере дом детства по-прежнему тебя определяет. Так или иначе — радостно или с обидой — часть тебя всегда принадлежит этому месту. Но в Аравии VII века дом — не просто часть идентичности; дом её определял. География и «я» были неразделимы, каждая — основанием другой. Быть мекканцем — значило не просто быть «из Мекки», а «быть Меккой». Для Мухаммада — быть связанным и с местом, и с людьми, чей это был дом — *Курайш*, — связью столь глубокой, что она входила в мышечную память через обрядовое окружение *Каабы*.

Всякий раз, когда говорил голос Корана, он говорил, что сказать своему народу. Предостережение было адресовано именно им. Он передавал послание как мекканец, как «один из вас». Перестать быть мекканцем — невыносимо. Но теперь, подходя к пятидесяти, Мухаммад столкнулся с тем, что придётся сделать именно это. Дом перестал быть безопасным местом. Как ни невыносимо, ему надо было уходить.

Каждый переселенец знает: покинуть дом — это не просто география. Будь то переезд из села в город, из одного города в другой, из страны в страну, а то и на другой континент — это часто надрыв. Это — вырывать корни, оставляя себя незащищённым. Ты оставляешь известное и открываешься милости нового мира — или её отсутствию. Ничто не гарантировано. Неизбежны вопросы принятия и отвержения. Что требуется, чтобы тебя приняли на новом месте? Требуется ли это отвержения прежнего? Что, если новое место не примет? Где тогда окажешься — особенно если место, которое ты считал домом, уже отвергло тебя?

Для Мухаммада эти вопросы были почти непосильны. Он добивался признания и уважения своего народа, добывая «я мекканец, я из *Курайш*» трудом. Но теперь всё, ради чего он трудился, поставили под жестокое сомнение. Он столкнулся с вызовом самому корню своей идентичности. И ключом к встрече с этим вызовом стала Ночная поездка. Это было утверждение духовного дома за пределами

физической географии — метафизическое переживание, имевшее вполне земной коррелят в виде нового земного дома. Она переориентировала его в мире как раз тогда, когда он был вынужден думать невозможное.

Его послание изначально несло потенциал радикально расширить понятие «дом» и, значит, «кто я». Теперь этот потенциал предстояло испытать. Если Мекка была центром его жизни — станет ли она лишь точкой отправления? Может ли уход быть началом новой жизни — даже нового мира? Но куда?

Озарения не было — уж тем более откровения. Медина станет «единственно возможным» выбором лишь задним числом. Но Мухаммад был не вполне чужим в оазисном посёлке в двухстах милях к северу от Мекки. Была внутренняя связка — по крайней мере в принципе. Его отец умер там, а шесть лет спустя его мать умерла на обратном пути из посещения этих мест. И если эти связи казались игрой судьбы и случая, была ещё более глубокая: его прадед, одноимённый основатель *хашимитов*, женился на женщине из Медины. И оставил там сына.

Хашим был главным представителем *Курайш* при Сирии — тогда в неё входили нынешние Израиль, Палестина, Иордания, Ливан и собственно Сирия. Он часто проходил через Медину по пути на север и обратно. Во время одной такой остановки он женился на женщине из большинства — племени хазрадж — и отправился дальше по делу, но вскоре заболел и умер в Газе, не зная, что оставил после себя сына. В подробности, что не могли не запасть в душу осиротевшему Мухаммаду, тот сын — будущий дед Мухаммада — тоже родился сиротой.

О масштабе психологической дистанции между Мединой и Меккой говорит то, что о существовании этого сына в Мекке, похоже, не знали семь лет. Для мекканцев Медина была провинцией: полезный караванный привал, но по сути — цепочка посёлков вдоль восьми миль плодородной, питаемой ключами долины, густо засаженной финиковыми пальмами. Как и большинство горожан и сегодня, мекканцы считали себя бесконечно выше этих «деревенщин», что даже мира у себя не могут удержать. И когда в Мекку, наконец, дошли вести о мальчике, его дяде, брату Хашима, аль-Мутталибу было ясно: его надо вернуть к «плотию и крови» отца.

Дальше последовал арабский эквивалент опекунского спора VI века. У аль-Мутталиба был законный прецедент — патрилинейность имела приоритет над матрилинейностью, — но, возможно, двигало им не это. Сильнее толкал образ племянника, который займет место сыновей, коих у самого аль-Мутталиба не было — как и у Мухаммада три поколения спустя: все выжившие дети — дочери. Во всяком случае, не мешкая, он отправился в Медину уговаривать мать мальчика отдать его.

По одной версии, мать нехотя согласилась — утомлённая настойчивостью аль-Мутталиба, который убеждал, что мальчику будет куда лучше среди «знати Мекки», где ему место. По другой — она не согласилась, и аль-Мутталиб потерял терпение

и попросту увёз найденного племянника. То есть посадил мальчика впереди себя на верблюда и уехал, оставив мать — рыдать и рвать на себе волосы, когда та спохватилась.

Вторую версию поддерживает то, что на пути в Мекку аль-Мутталиб заботился о маскировке: опасаясь, что родня матери попробует отбить мальчика, он выдавал его не за племянника, а за своего раба. Так семилетнего прозвали Абд аль-Мутталиб — «раб аль-Мутталиба», — и имя прижилось. Пять десятилетий спустя этот человек бросит жребий пред идолом Хубалом, чтобы спасти жизнь своему младшему сыну Абдулле — тому самому, который станет отцом Мухаммада и умрёт в Медине ещё до рождения сына.

Сможет ли внук обрести новый дом на родине деда? Так сформулированный, вопрос звучит как рассказ с «духовной неизбежностью». Но кровная связь Мухаммада с Мединой была не столь прочной, как кажется сперва. В VI веке на Аравийском полуострове никто всерьёз не спорил с идеей, что семилетний Абд аль-Мутталиб «по праву» принадлежит сперва к линии отца, а уже потом — к линии матери. Пра-бабка Мухаммада осталась одна оплакивать сына; не было последствий, никто не пытался отбить мальчика. Всё это стало бы почти ничем в коллективной памяти Медины, если б речь не шла о мекканце.

Образ «столичного из *Курайш*, что налетел и увёз местного мальчика» ложился на общее ощущение Медины, что ей отведена «вторая лига» рядом с Меккой. Мекка процветала как центр паломничества и торговли; Медина — место, через которое проходят, а не цель пути. Это был аграрный посёлок; финиковые пальмы давали не только плоды, но и сироп и вино, масло из сока, уголь и корм из кострищ, зелень из листьев, и всё — от верёвок до кровель — из ветвей. Можно было неплохо жить в этой плодородной долине — по крайней мере владельцам земли.

Меккой управляло одно племя — *Курайш*, — что давало относительную устойчивость; Медина же увязла в межплеменных раздорах из-за земли, из-за чего каждая деревенька теснее сбивалась вокруг укреплённой башни-убежища на случай нападений. Два крупнейших племени — хазрадж и аус — в последние годы уже несколько раз сходились в бою. Никто верх не взял, и долина оставалась неровной бочкой с порохом, готовой вспыхнуть. Может быть, вещь, что и правда их объединяла, — тихая обида на *Курайш*, которые столь явно считали себя куда «цивилизованнее» тех финиководов на севере, что и мира у себя не сберегут.

Переезд в Медину начался тихо, почти незаметно. Сначала это было лишь предположение, высказанное во время *хаджа*. Как и в прежние годы, Мухаммад читал коранические откровения среди паломников, разбивавших шатры вне Мекки. Охотников «обратиться» не было, но большинство было не против послушать. Они устали после сотен миль пути, а проповедники, поэты, ведуньи и гадатели, бродившие среди их становищ, были в конце концов и развлечением. Кроме того, нет беды в том, чтобы послушать — особенно того, о ком и так наслышаны —

благодаря усилиям мекканской знати дискредитировать его речь. И тогда, как теперь, верно, что любая известность — на пользу.

Но в тот год у Мухаммада нашлись и слушатели всерьёз. Шестеро паломников из Медины прислушались особенно. По сути, они сами его и разыскивали. Все были из племени хазрадж, хотя неизвестно, знали ли они тогда, что пра-бабка Мухаммада была одной из них. Они слышали о его проповеди — и особенно их задело, как упорно *Курайш* поносили человека, которого прежде единогласно считали *амин* — «достойным доверия». История о том, как Мухаммад разрешил спор о том, кому поднимать Чёрный камень при перестройке *Каабы*, разошлась далеко и широко — её приводили и восхищались ею как образцом мудрого компромисса. Для запутавшихся в тяжбе мединцев такая решение вселяло надежду. Может, Мухаммад способен уладить и их разлад. «Нет народа, столь разделённого враждой и злобой, как мы в Медине, — цитирует Ибн Исхак одного из них. — Быть может, Бог объединит нас через тебя».

Фраза, скорее всего, приписана задним числом — хотя бы потому, что Медина — «Город», сокращённо от «Город Пророка» — тогда всё ещё звалась доисламским именем *Ясриб*. Если мысль о переезде Мухаммада туда и возникала, то лишь как робкая надежда. И всё же шестеро были глубоко тронуты услышанным. Они приняли *ислам*, условились повидаться на следующем паломничестве — и вернулись домой, начав осторожно «нести слово».

Следующее паломничество пришлось на раннее лето 621 года. Встречаться в Мекке было бы неразумно — уж слишком высок был градус притеснений со стороны *Курайш*, — и мединцы сели рядом с Мухаммадом в трёх милях от города, в широком ущелье Мина. В этот раз их было двенадцать — и трое из племени аус, что подавало надежду: если даже немногие аус и хазрадж могут войти в *ислам* вместе, то, возможно, и многие. Ещё важнее: каждый из двенадцати представлял крупный клан своего племени. Это была делегация.

Их идея была в том, что Мухаммад придёт в Медину арбитром — приглашённым и аусом, и хазраджем, чтобы уладить их споры. Но по мере разговора он настаивал: если Медина готова принять его и признать его суд, она должна принять и его последователей. К тому моменту уже около двух сотен мекканцев и мекканок открыто произнесли шахаду и назвали себя верующими. Но многие не имели даже той «минимальной защиты», что давал Мухаммаду аль-Мут'им; иных семьи загоняли назад — отрекись и возвращайся к обычаям предков. Ещё больше были сочувствующими, но боялись открыто заявить. После всего, через что прошли верующие, Мухаммад чувствовал к ним такую же острую верность, какую они — к нему. Он не мог бросить Мекку и строить новое где-то ещё без них, и не мог просить их идти, если не будет твёрдой уверенности, что новая жизнь будет лучшей. Быть переселенцем — уже тяжело; стать беженцем — невыносимо. Если они уходят, то

не как зависимые и не как «гости» у других. Им нужна крепкая защита, гарантированное принятие и безопасность. Им нужен настоящий дом.

Проблема была в том, что готового механизма для такого просто не существовало. То, о чём договаривались Мухаммад и мединская делегация — равный статус в Медине, независимо от племени — было совершенно новым. Вопрос не был до конца решён и к концу *хаджа*, но ясно: если Мухаммад и переедет в Медину, то не просто арбитром. Это — роль «чужака», а повторять свою чуждость он не хотел. Если его суду суждено быть уважаемым, это будет потому, что его власть как Посланника Божьего признана широко.

Они разошлись с предварительным согласием, решив продолжить в следующий *хадж*. Пока же каждый из двенадцати крепко сжал предплечье Мухаммада, рука к руке, и поклялся как верующий уважать его суд. «Мы дали присягу Посланнику, что не станем приобщать к Богу сотоварищей, не будем воровать, прелюбодействовать, убивать наших детей и не послушаемся Мухаммада в том, что справедливо, — вспоминал один. — Если мы исполним это, нам — рай; если же совершим эти грехи — Бог накажет нас или простит, как пожелает».

Формула отмечает поворотный момент. Они поклялись в верности и послушании самому Мухаммаду, а не только Богу. Впервые с первой ночи на Хире одиннадцать лет назад Мухаммад действовал не только как Посланник. Теперь он действовал и как вождь, принимая политическую роль, которой так боялись его мекканские противники. В начале пятидесятых он входил в политику своей миссии.

Мединская делегация вернулась домой с попутчиком: Мусабом, специально выбранным Мухаммадом, чтобы учить и разъяснять аяты. Мусаб справился: привлечённые единством коранического послания — особенно ценного для поселения, разрывающегося внутри, — всё больше аусов и хазраджей принимали *ислам*.

В каком-то смысле Медина была готова больше, чем Мекка. Как и мекканцы, большинство мединцев уже были наполовину монотеисты: признавали *ал-Лаха* высоким Богом, хотя многие следовали культу *Манат*, одной из «дочерей Бога»; но их экономика не строилась на традиционной вере и паломничестве, как мекканская, — а значит, им проще сделать скачок прочь от племенных божеств. И без единой «традиции отцов», как в Мекке, контролируемой *Курайш*, притягательность древнейшей традиции, на которой стоял Коран, была выше. Тем более что она уже была знакома Медине, где три меньших племени были иудейскими.

Современных евреев может удивить, что в VII веке в Аравии были еврейские племена. С сегодняшних точек зрения — и политических, и религиозных — это кажется невозможным. Но и западных христиан нередко так же удивляет факт, что христианство — вера во многом ближневосточная. Ширь Византийской империи

значила, что — за исключением большей части Аравийского полуострова, где расстояние и ландшафт отгоняли имперское влияние, — большинство жителей Ближнего Востока того времени были христианами. По крайней мере номинально. Вера следовала за политикой: благоразумно исповедовать веру тех, кто у власти; а византийцы при Ираклии снова теснили персов. И всё же иудаизм выстоял. Лишённый политической мощи, он процвёл широкой диаспорой.

Как *Курайш* когда-то пришли в Мекку после обвала марибской дамбы в Йемене и последовавшего краха экономики, так и аус с хазраджем поднялись на север в том же переселении и заняли Медину. Но если Мекка к тому моменту была почти заброшена, Медина — нет. Там уже жили потомки палестинских евреев, расселившихся по Ближнему Востоку волнами — особенно после смелого, но обречённого восстания Бар-Кохбы против Рима во II веке. Часть осела в цепочке оазисов на юг из нынешней Иордании в северо-западную Аравию: Табук, Тайма, Хайбар и самая южная — Медина. Со временем они встроились в арабскую племенную систему — настолько, что некоторые историки называли их «полностью арабизированными». Как все, в повседневной речи они называли Бога *ал-Лахом*. Многие носили имена типа Абдулла — сокращённо от *абд ал-Лох*, «раб Божий». Говорили на местном хиджазском арабском; и хотя их можно было отличить по мелочам внешности — вроде пейс, предписанных Писанием и по сей день у ультраортодоксов, — эти детали не сильнее различий любого другого племени. Делало их особенными не столько понятие Бога, сколько утверждение, что Бог говорил именно с ними. У них, в конце концов, была Книга.

В эпоху, когда мало кто умел читать, Книга была предметом иконическим. Слова на пергаменте обрели иной — видимый — слой существования. Они были буквально «Писанием». У каждого еврейского племени был свой свиток Танаха — и к нему относились с высшей почтительностью, как и ныне в синагогах. Иудеи — и по расширению христиане — потому и звались «народом Книги» — той, где Бог говорил к ним. Но теперь Бог говорил ко всем остальным в Аравии — и на этот раз, как объявлял Коран, «на вашем языке... на ясном арабском». Более того, новая Книга обнимала и еврейскую, и её младшую христианскую сестру. Со временем добрая треть Корана перескажет многие библейские истории — и пойдёт дальше, заявив, что пришла не только обновить, но и завершить прежние откровения.

Не важно, что растущее тело Корана ещё не было переписано на пергамент: всякий раз, когда его читали, он записывался в памяти слушающих. Письмо ещё не вытеснило память, как это случится после изобретения печати. Слова жили в уме, а не на странице; ассонансы и аллитерации Корана, его рифмы и удвоения образов делали его ещё «запоминаемее». «Икра!» — «Читай/провозглашай!» — повелел голос Мухаммаду. *Коран* — буквально «чтение, декламация» — создан быть произнесённым вслух. С каждым чтением и прослушиванием он крепчал. И в

Медине — благодаря стараниям Мусаба — всё больше людей отзывались на его музыку и послание, признавая его потенциал для единства.

К следующему **хаджу**, в начале июня 622 года, мединская делегация к Мухаммаду разрослась до семидесяти двух глав кланов. Одно число говорило, насколько они серьёзны. Но обеим сторонам нужны были гарантии. Если мединцы клянутся в полном союзе и защите — им нужно быть готовыми подкрепить клятву силой, если понадобится. И как вождь мекканских верующих — Мухаммад должен был сделать то же. Данная годом ранее клятва была половинчатой. Её назовут «клятвой женщин» — не потому, что участвовали женщины, а потому, что она не требовала «браться за оружие» в обоюдной защите — обязанность, подразумеваемая как мужская. Единственный способ, чтобы всё работало, — если теперь обе стороны берут на себя «клятву мужчин».

Всё ещё не уверенные в глубине обязательств Мухаммада, мединцы настаивали: «Если мы сделаем это, и Бог даст тебе победу, — вернёшься ли ты тогда к своему народу и оставишь нас?» На что он торжественно ответил: «Вы — от меня, и я — от вас. Я буду сражаться с теми, с кем вы сражаетесь, и заключать мир с теми, с кем заключаете вы». И так оно и было. Мухаммад больше не был связан **Курайш** или Меккой. Он формально связал себя с Мединой — и Медину с собой. Они присягнули на полной защите и помощи — **наср** по-арабски. Верующие из Медины станут **ансар** — «помощники», а пришедшие с Мухаммадом мекканцы — **мухаджирун** — «переселенцы».

Один за другим мединские старейшины сжимали руку Мухаммада и давали клятву: «Мы — из тебя, и ты — из нас. Кто бы ни пришёл к нам из твоих сподвижников — или ты сам — мы защитим вас, как защищаем самих себя». Но со временем клятва стала означать больше. Как вспоминал один из мединцев много лет спустя: «Мы поклялись сражаться в полном послушании Посланнику — в благополучии и беде, в лёгкости и трудности, и при злом стечении обстоятельств».

Тем летом 622 года началась **хиджра** (от арабского **хаджара**, «отрезать себя»; обычно переводят как «переселение» — прим. перев.). Слово несёт большой психологический вес: оно значит «перерезать», «оборвать» — со всей мучительной болью этого. В самом деле, Коран в итоге увидит переселенцев изгнанными из Мекки: «Неверные выгнали Посланника и вас из ваших домов». Это чувствовалось скорее ссылкой, чем эмиграцией.

Для людей с такой сильной «привязкой к месту» перспектива была страшной. Почти буквально перерезать пуповину. Оторвать себя от племени, рода и даже ближней семьи; от **Каабы**, путеводной звезды, по которой они ориентировались в мире; от всего, что их делало ими. На каждого требовались и мужество, и вера. Или — мужество, что приходит только с верой.

По слову Мухаммада они начали уходить в Медину раньше него — малыми группами, чтобы не привлекать лишнего внимания. Но в столь тесной Мекке уйти

незаметно было невозможно. Отцы и матери, братья и сёстры, дяди, тёти и кузены быстро поняли, что замышляют их родичи, и попытались помешать — порой силой. «Когда мы надумали отправиться в Медину, — вспоминал один переселенец, — мы втроём условились встретиться утром у тернистых деревьев Адата — в шести милях от Мекки. Сговорились: если один не придёт — значит, его удержали силой, и двое идут без него». До Адата добрались двое. Третьего перехватил по дороге его дядя с Абу-Джахлем — сказали: его мать поклялась не расчёсывать волосы и не прятаться от солнца, пока не увидит его снова. На обратном пути они сбили его на землю, связали и заставили отречься от *ислама*. И дядя объявил: «О мужи Мекки, поступайте со своими глупцами так, как мы — со своим».

С женщинами были не мягче. Умм Саяма — позже она станет четвёртой женой Мухаммада, овдовев, — рассказывала, как её родня пришла в ярость, увидев её, отправляющуюся в путь верхом — с тогдашним мужем и младенцем сыном. «Делай что хочешь, — сказали мужу, — но не думай, что мы позволим тебе увезти нашу родичку». «Они сорвали поводья верблюда из руки моего мужа и забрали меня у него, — вспоминала она. — А вскоре явилась и родня мужа, и началась свалка — кому достанется ребёнок у меня на руках: моей семье или семье мужа. “Мы не оставим мальчика с вами, раз вы оторвали его мать от нашего родственника”, — заявили свёкры; и к моему ужасу, обе стороны тянули моего малыша между собой, пока не вывихнули ему плечо».

В итоге семья мужа забрала ребёнка, семья Умм Саямы — её саму, а муж один ушёл в Медину. «Так я была разлучена и с мужем, и с сыном, — говорила она. — Не оставалось ничего, как каждый день сидеть в долине и плакать» — пока обе семьи не смиростивились. «Тогда я оседлала верблюда, взяла сына на руки — и отправилась к мужу в Медину. Ни одной души не было со мной».

Вот что значил исход: юноша, забитый своими же родственниками; одинокая решимость молодой матери с раненым ребёнком — ехать одной через пустыню; отчаянные попытки семьи удержать их; и звонкая пустота в домах — словно эти люди умерли. С каждым уходом эффект нарастал — тем сильнее, когда уходили видные верующие, как Умар и Усман, рождённые в элите Мекки и потому более на виду. Всё лето 622-го один дом за другим пустел. Люди проходили мимо — «двери стучали, колыхаясь, пустые, без жильцов», — и понимали, что ещё одна семья ушла ночью. К началу сентября сотни мужчин, женщин и детей совершили *хиджру*.

Некоторые вожди, вроде Абу-Джахля, пытались принизить происшедшее. «Никто не будет плакать по ним», — бросил он. Но плакали. Это было будто у тебя отняли самых близких. И пока над городом висел траурный сумрак, гнев сосредоточился на Мухаммаде — причине всех этих страданий. Возможно, ему разумнее было уйти вместе с первыми переселенцами; но он решил остаться в Мекке, пока не убедится, что как можно больше его людей вышли в безопасность. Озабоченные опасностью,

двое из самых верных — кузен Али и уважаемый Абу-Бакр — остались с ним. Но время вышло. Как назло, умер старый аль-Мут'им, временный покровитель Мухаммада. До самой Медины у него не было защиты вовсе.

«*Курайш* увидели, что Посланник заключил присягу верности не из их племени и вне их территории, — пишет Ибн Исхак, — и что его последователи обосновались в новом доме, обрели защитников и в безопасности от нападения. Они испугались, что Мухаммад присоединится к своим в Медине, чтобы войной идти на Мекку. И они собрались в свой совет — где вершились важнейшие дела — обсудить, что делать с Посланником, ибо теперь они страшились его». Если Мухаммад нанёс столь глубокую рану тканям мекканского общества — кто знает, что он сделает дальше? И всё же страх войны — преувеличен, и, возможно, Ибн Исхак пишет будущее назад. Мекканцы никогда всерьёз не считали мединцев силой: хазрадж и аус были столь разобщены, что угрожали лишь самим себе. То, что Мухаммад поклялся взять в руки оружие в защите Медины при нужде, вовсе не значило, что кто-то тогда считал войну между Меккой и Мединой вероятной. Население — примерно равное, по двадцать пять тысяч; мединцы — земледельцы, не воины. К тому же Мухаммад неизменно отвечал на насилие ненасилием — подставляя другую щёку, где мог. Если мекканцы и боялись «войны», то — войны идей, а не железа.

Мухаммад разрушил саму идею племенной верности и «кто я», воззвав к высшей инстанции. Но если прежде его вызов был на уровне принципов, теперь он действовал — и, хуже того, побудил действовать других. Не важно, что *Курайш* практически вынудили его. По их меркам его союз с Мединой был актом нелояльности своему народу — и они открыто предъявили обвинение в измене. Один вождь хотел посадить Мухаммада в тюрьму: «Заприте его, держите в кандалах и ждите, пока смерть его настигнет». Но другие опасались обратного эффекта: у Мухаммада всё ещё были сочувствующие в Мекке — если они нападут на тюрьму и освободят его, авторитет совета рухнет.

Другой предлагал изгнать Мухаммада не только из Мекки, но и со всего Хиджаза: «Выгнать его прочь и удалить с наших земель. Нам всё равно, куда он пойдёт; вред, что он приносит, исчезнет, и мы вернём общественное согласие». Но и это отвергли: Мухаммад сумел бы увлечь кочевые племена своими завораживающими стихами — и тогда Мекка могла бы оказаться под ударами бедуинов: «Он может повести их на нас, сокрушить нас ими, вырвать власть у нас из рук и поступить с нами, как захочет».

Решение, которое устроило всех, придумал Абу-Джахль — такое, что достигало цели, сохраняя внешний мир: «Возьмём по одному молодцу — сильному, родовитому — от каждого клана, — заявил он, исключив лишь *хашимитов*, — и пусть они ударят его мечами одновременно — и убьют. Если это сделают все разом — ответственность за кровь ляжет на все кланы поровну, и *хашимиты* не смогут отомстить — не всему же *Курайш*».

С иронической «восточной» уместностью это можно было бы назвать планом «Убийство в Восточном экспрессе»: в знаменитом романе Агаты Кристи убивают все — а значит, по закону — никто. Если все участвовали в смерти Мухаммада — никто один не будет отвечать, и принцип кровной мести окажется пустым. Да и велика вероятность, что новый вождь *хашимитов* Абу-Лахаб «отец пламени» не стал бы её и поднимать. Скорее, он понял бы, что остальные сделали ему услугу: он уже изгнал Мухаммада из рода — и будет рад принять денежную *дия* — «выкуп за кровь». Остальные кланы скинутся в общую суму. Мухаммада не станет — и последствий не будет.

Но в план была вшита огромная слабость: он требовал тайны, а с таким числом участников кто-то да проговорится. Мухаммада предупредили той ночью — если не человек, то, как говорит предание, ангел Джибрилл. Он послал слово верному Абу-Бакру — встретиться, — а юный кузен Али вызвался приманкой. Пока будущие убийцы собирались у дома, ожидая, что хозяин выйдет на рассвете, цель тихо выскользнула через зад — и направилась к месту встречи с Абу-Бакром.

С первыми лучами Али вышел, закутавшись в плащ Мухаммада, — и откинул капюшон, когда нападавшие бросились. «Где твой товарищ?» — кричали они. — «Вы хотите, чтобы я следил за ним? — парировал Али. — Вы хотели, чтобы он ушёл — он ушёл». Как бы ни тянуло их убить Али из одной ярости — они сдержались, зная: это уже точно вызовет кровную месть. Али был избит, но выжил — задержался в Мекке ещё на несколько дней, закрыв дела Мухаммада, а затем отправился в путь один — пешком.

Совет *Курайш* быстро собрал погоню за Мухаммадом, назначив награду — сто верблюдиц — всякому, кто схватит его — живым или мёртвым. Но Мухаммад и Абу-Бакр предвидели это. Зная, что сначала их будут искать на северной тропе к Медине, они ушли милях на пять в противоположную сторону и укрылись в пещере высоко на склоне горы Саур, над южной дорогой караванов в Йемен.

То, что произошло в пещере, стало частью мусульманского предания. Пещеры всегда были нагружены символами, сколько есть священных легенд. Можно соблазниться Платоном и его «аллегорией пещеры» в «Государстве», где переплетаются тени и реальность (или, говоря современно, виртуальное и актуальное). Но легенды о пещерах столь повсеместны, что, кажется, универсальны. Если идти по-фрейдовски, пещера — символическая утроба; метафизически — безопасное место, где спят, видят, растут — прежде чем снова выйти в мир. И в любом случае — не только убежище, но и инкубатор.

Для Абу-Бакра пещера на Сауре была местом обновления веры: он тревожился, что их найдут, а Мухаммад уверял — Бог сохранит. Для Мухаммада — местом духовного укрепления и дальнейшего откровения. «Они были вдвоём в пещере, — говорит Коран, — и Посланник сказал своему спутнику: “Не печалься: Бог с нами”».

Тогда Бог ниспослал дух Свой на Посланника и укрепил его силами невидимыми вам». И силами природными тоже.

Ибн Исхак рассказывает, как на третий день — когда охотники расширили поиск и достигли Саура — тысячи пауков словно ниоткуда натянули плотный лабиринт паутины на входе в пещеру. Увидев густую сеть нитей, преследователи решили, что в эту пещеру никто не входил годами — и прошли мимо, оставив нам образ Мухаммада и Абу-Бакра, скрытых тончайшей вуалью: сама природа сговорилась их укрыть.

Когда непосредственная опасность миновала, Абу-Бакр тайно послал освобождённого им бывшего раба привести верблюдов и проводника — и трое отправились в Медину дугой, уводящей от преследования: сперва ещё южнее, затем на запад — к Красному морю, затем на север — и лишь потом в горы. Даже на быстрых верховых верблюдах путь занял десять дней; лишь 24 сентября они подошли к окраинам Медины.

«Жара предполуденного часа стала нестерпимой, солнце было почти в зените, — пишет Ибн Исхак. — Переселенцы, державшие дозор — высматривая Мухаммада, — на день уже оставили наблюдение и ушли к оазису в тень. Потому первым мединцем, увидевшим прибытие Мухаммада, был не один из верующих, а человек из одного из еврейских племён: он с криком побежал нести весть. “Аус и Хазрадж, ваше счастье пришло!” — кричал он». Слова, о которых ему, возможно, вскоре предстояло пожалеть.

Тринадцатая глава

Новости о прибытии Мухаммада разошлись мгновенно. Люди выбегали ему навстречу, умоляя остановиться у них и принять их гостеприимство, но он всем отказывал. Он остановится там, где остановится его верблюдница, сказал он, — и отпустил повод. Та прошла в центр оазиса и забрела на каменистый двор, который когда-то служил кладбищем, а теперь использовался лишь для сушки фиников. Здесь она опустилась на колени — сначала подломились передние ноги, с той самой невероятной ловкостью, потом задние, и, наконец, она улеглась на землю с тихим, вздохоподобным хрипом, будто говоря: «Дальше — ни шагу».

Подобно паукам, что оплели плотной паутиной вход в пещеру на горе Саур, эту верблюдницу стали почитать как священное животное, вемое свыше. Когда она преклонила колени и Мухаммад с неё спешился, хиджра свершилась. Мекка была местом рождения ислама, но его колыбелью — тем местом, где он будет расти и крепнуть — стала Медина, и именно с прибытия Мухаммада в Медину впоследствии начнут отсчёт мусульманской эры — «после хиджры», АН. Пройдёт семь лет, прежде чем он снова ступит на землю Мекки.

Двор для сушки фиников принадлежал двум юным сиротам из того же клана хазраджей, к которому когда-то принадлежала прабабка Мухаммада; опекуном мальчиков был их дядя. Сходство их судеб с судьбой самого Мухаммада делало выбор места поистине вдохновенным. Кроме того, поскольку клан был небольшим, покупка земли у сирот едва ли могла вызвать у более сильных кланов чувство обиды, будто их обошли. В итоге опекун настоял, чтобы земля была подарена, пообещав сам выплатить своим подопечным её цену (и Мухаммад проследил, чтобы обещание исполнили). Так и было сделано. Этот на первый взгляд неподходящий клочок земли стал новым центром мира верующих.

То, что они построили здесь за несколько месяцев, было поразительно простым: открытый двор, окружённый стеной из сырцового кирпича, с крытым пальмовыми ветвями навесом посередине для тени и пристройками-навесами вдоль южной и восточной стен для ночлега. Никаких роскошных священных интерьеров, какими станут мечети после того, как ислам обретёт империю. Подобно самым ранним синагогам и церквям, это было одновременно местом собраний и местом молитвы (само слово «синагога» — от греческого «схождение вместе»). Светское и священное происходило бок о бок, легко перетекая друг в друга, как это и было тогда почти везде в мире. Единственной деталью, которую узнает современный мусульманин, была ниша в одной из стен — указатель киблы, направления молитвы. Но указывала она не на Мекку — пока ещё нет. Она была обращена к городу Ночного путешествия, к Иерусалиму — в ту же сторону, куда обращали лица в молитве и иудеи, и христиане.

В первый год в Медине переселенцы трудились так тяжело, как мало кто из них трудился прежде. Они были горожанами; их мускулы только знакомились с физическим трудом. Они мало что знали о строительстве или земледелии и учились на ходу, что называется, на своей шкуре. И хотя они старались относиться к этому с юмором — рассказывают, что Али однажды был весь в кирпичной пыли, и Мухаммад с улыбкой прозвал его Абу-Тураб, «отец пыли», — многие из них болели, иммунитет был подорван чисто физическим переутомлением. Одно дело — смело порвать со старым и посвятить себя новой жизни, и совсем другое — проживать эту новую жизнь изо дня в день, сталкиваясь с ней в буквальном, приземлённом смысле.

То, что поддерживало их, — опьяняющее чувство идеализма. Они строили не просто новый двор, не просто новый дом. Они строили целое новое общество с радикально иным представлением о том, как люди должны относиться друг к другу. Как бы иронично это ни звучало в контексте современной политики, ближайшей

параллелью для этих горожан, впервые напрягающих непривычные мышцы, можно, пожалуй, назвать опыт ранних сионистских пионеров в Палестине — тоже в большинстве своём городских эмигрантов, только из Европы. Чувство тесной общности, физические тяготы и общая цель, подпитанные коммунитарными и эгалитарными идеалами, создавали возбуждающий *esprit de corps*, усиленный ощущением исторической осознанности. Воодушевлённые видением согласия человека и Бога, эти ранние мусульмане принялись за то, что каббалисты позже назовут *тикун олам* — «исправление мира». Из разбитых черепков жизни они намеревались сложить обновлённое целое.

Новая община должна была стать их новой семьёй. Мухаммад настоял, чтобы каждого мекканского переселенца «усыновил» мединский верующий — чтобы считали его не гостем, а братом или сестрой, вне зависимости от возраста, родства или места рождения. Рождалось не ещё одно племя, а ядро своеобразной надплеменной общности. Они ещё не называли свою веру «Исламом» с прописной буквы и себя — «Мусульманами» с прописной; такой язык появится позже, после смерти Мухаммада, когда ислам распространится по всему Ближнему Востоку и институционализируется. Пока они называли себя просто му'минин — «верующими», и именно это ощущение, сияющая вера в то, что они — авангард нового общества, держало их вместе столь мощно.

И всё же ни одно изгнание не рвёт до конца уз связи с домом. Даже тот, кто уходит по собственной воле, невольно сосредоточивается на покинутом месте. Эмигранты начинают день с новостей на родине, разыскивают магазины с привычной едой и сближаются с земляками, с которыми «там» и не заговорили бы. Это больше, чем простая ностальгия. Словно такими действиями можно уменьшить физическую дистанцию, даже приглушить чувство вины за уход. Если повезёт, это притупляется по мере адаптации. Но когда эмиграция не добровольна, а вынужденна, покинутое место только разрастается в сознании.

«Изгнание — это неизлечимая трещина между человеком и родной землёй, между “я” и его истинным домом», — писал Эдвард Саид, говоря о современном палестинском изгнании. Ощущение тяжкой несправедливости не выветривается, но нарастает, кристаллизуется. Даже когда изгнанник обустроивает новую жизнь, место, что осталось позади, остаётся родиной — фокусом надежды на совершенное будущее. Лишь изгнанник мог увидеть древнюю Палестину как землю, «текущую молоком и мёдом», как её представляли авторы Еврейской Библии, превращая каменистую почву, больше годную для колючек, в своего рода рай, который должен был существовать, пусть и никогда не существовал. В изгнании они тем сильнее утверждали своё право принадлежать. Лимон в дворике,

оливковая роща, жизнь, что была и нет её — всё это идеализируется в памяти. Потому и храм в Иерусалиме, бережно воссозданный в умах раввинов II–III веков, писавших Мишну, был куда ближе к совершенству, чем тот, что римляне обернули в пепел.

В первые годы в Медине чувство изгнания поддерживала и терминология: мухаджирун — «переселенцы» из Мекки — и ансар — «помощники» из Медины (то же слово Коран употребляет для двенадцати апостолов Иисуса). Эти названия сохраняли верность идее Мекки и сознанию изгнания.

«Изгнанники всегда ощущают свою инаковость как сиротство», — писал Саид, и метафора особенно пронзительна применительно к Мухаммаду. Все переселенцы в сущности сами себя «осиротили», порвав с матерями и отцами, кланом и племенем; для человека, родившегося без отца, эффект был кратно сильнее. Он выстрадал чувство дома в Мекке, а когда обрёл — у него отняли. Но, возможно, эта потеря была необходима. Чтобы творчески мыслить вне привычного порядка, полезно оказаться вне его. Как ни больно, выдавливание из Мекки могло оказаться лучшим, что с ним случилось.

В мекканской логике Мухаммад теперь был абсолютным чужаком. Но если элита города думала, что он тихо ушёл в ночной мрак изгнания, — она ошибалась. То, что казалось его слабостью, окажется его силой; то, что выглядело поражением, обернётся победой.

Ему исполнилось пятьдесят три; борода и косы уже серебрились. Но если он и чувствовал возраст, виду не подавал. Он словно не нуждался во сне: днём работал наравне с прочими переселенцами, ночи проводил в медитации. Корановские откровения шли одно за другим, но многие из них стали конкретнее. Так и должно было быть. Сплочённость и дух общины привлекали всё больше «помощников», вскоре они превзошли переселенцев числом. Их просьбы о наставлении росли соразмерно, и откровения стали направлять Мухаммада во всём — от времени молитв и десятины до урегулирования супружеских споров. Как однажды метко сказал Марио Куомо: «Стихами ведут кампанию, прозой управляют».

Мухаммад научился не просто принимать голос Корана, но и «работать» с ним: обдумывал вопрос или дилемму и ждал, пока голос укажет путь. Прежде всего откровения теперь касались отношений верующих с «прочими», и немало их принципов войдёт в то, что станет первой крупной «законодательной» работой Мухаммада. В Медину клановые вожди позвали его мирить их, и документ, составленный в течение года после прибытия, действительно это сделал. Но он

пошёл дальше простого арбитража: в его руках монотеизм стал средством разрешения конфликтов.

Слово «монотеизм» появится лишь в XVII веке — его придумал английский философ Генри Мор, — но куда более широкая и гибкая монотеистическая идея существовала уже две с лишним тысячи лет. Как отмечает историк Джеймс Кэрролл, иудейские книжники, писавшие большую часть Еврейской Библии во время вавилонского плена (VI век до н. э.), мыслили «единого Бога» не как конкретную личность, а как утверждение единства. Персонифицированный Яхве, «территориальный» бог Израиля, уступает место неизречённому Элохím — универсальному Богу — тому же, кого в Мекке называли Аллахом. В этой древней и широкой концепции, говорит Кэрролл, «Бог этого народа — Бог всех людей, связанный не с кланом или племенем, а со всем сущим». Бог — «примирение всех противоположностей».

Теперь Мухаммад перевёл эту идею в политическую плоскость. Соединив идеализм с прагматизмом — истинное мастерство политика, — он составил арбитражное соглашение, которое опиралось на племенной принцип, чтобы выйти за пределы племени. Некоторые историки с некоторой помпой назовут его «конституцией Медины», но как ни назови, документ был примечателен для своего времени. С одной стороны, он прекращал междоусобицы в Медине, оформляя взаимный оборонительный союз. С другой — закреплял новую, инклюзивную идентичность как принцип, связывающий вместе все кланы и племена. В основе всего оазиса оказался термин, что впоследствии станет краеугольным для ислама: умма — «община, народ, нация», и всё это вместе.

«Это документ Мухаммада, посланника, регулирующий отношения между верующими — и переселенцами, и помощниками — и теми, кто состоит с ними в союзе», — так начинался текст. «Они — единая община (умма), отличная от прочих».

«Те, кто состоит с ними в союзе», — это были не только все кланы ауса и хазраджей, принявшие ислам или нет, но и иудейские племена, перечисленные клан за кланом. Как монотеисты, «иудеи — одна община с верующими», — утверждал документ, снова употребляя слово «умма». «Каждый должен помогать другому против любого, кто нападёт на участников этого документа. Они должны искать взаимного совета и консультации».

Проливать кровь между участниками соглашения отныне запрещалось. «Если возникнет спор или разногласие, грозящее бедой, его следует передать Богу и

Мухаммаду, посланнику Бога». То есть «если стороны призваны заключить мир и сохранить его, они обязаны это сделать» — призваны, разумеется, Мухаммадом, который становится гарантом соглашения. И ещё один пункт, имевший далеко идущие последствия: «Стороны договора обязаны помогать друг другу при любом нападении на Медину». Внешняя атака казалась маловероятной: опасность шла не извне, а от самих же мединских племён; потому этот пункт понимался скорее как формальная часть языка межплеменных союзов.

Если у некоторых вождей были сомнения, они на время их подавили, признавая равный статус де-факто племени верующих ради более высокой цели — мира между всеми. Ставя печати под понятием «уммы», вряд ли они представляли себе её потенциальную силу, способную подменить все существующие политические единицы. Но если они этого не осознавали — Мухаммад осознавал. По сути, он соединил «место в поисках идентичности» с «идентичностью в поисках места».

Легко представить коллективный вздох облегчения в мекканской верхушке, когда Мухаммад ускользнул. Они избавились от угрозы — да ещё и без кровопролития. Пусть не так, как задумывали, но они быстро убедили себя, что так даже лучше. Они видели его в последний раз, думали они, и как удачно, что он бежал в какой-то финиковый оазис вроде Медины. Пусть проповедует там сколько угодно — толку не будет. Его отодвинули на обочину. И те родственники, что ушли за ним туда, в глушь, скоро образумятся и вернутся в Мекку. Что им ещё делать? Финики трясти?

Ответ последовал быстро. Годы притеснений и оскорблений, бойкот, страдания его последователей, попытка убийства — всё это растянуло пределы ненасилия до разрыва. Мухаммад пытался убеждать и даже идти навстречу лидерам курайшитов — как теперь казалось, меньше чем без толку. На фоне обиды изгнания подставлять другую щёку стало казаться в лучшем случае неэффективным, в худшем — самоубийственным. Так что если мекканская элита рассчитывала на спокойную жизнь без него, их ожидало разочарование. Где раньше преследовали его, теперь преследовать станет он.

Формой преследования стала раззия — набег, обычай почти традиционный у бедуинов-скотоводов, особенно в голодные годы, когда стада вымирали от засухи. Небольшие отряды на конях или быстрых верховых верблюдах налетали на торговые караваны — чаще в узких ущельях, где уязвимее был хвост колонны. Это был элемент бедуинского образа жизни: живёшь тем, что даёт пустыня; нет пастбища — есть жирные караваны. Чаще одного только риска было достаточно: договорённые откупы вождям племён обеспечивали охрану на их землях, но если территория спорная или бродят разбойники, караваны всё же становились целью.

И всё же действовала своя негласная «Женевская конвенция»: товары и скот — добыча, человеческая жизнь — нет. Убей кого-то в набеге — и закон кровной мести взовётся над тобой, действуя столь эффективно, что раззия редко приводила к гибели людей.

Ансар — «помощникам» и прочим мединцам — нет нужды было участвовать в ранних рейдах, к которым призывал Мухаммад, но у мухаджиров причин хватало. В Медине все хорошие земли уже были заняты; им оставалось работать наёмными руками, если вообще удавалось найти работу. До сих пор они держались на доброте «помощников», но им нужно было себя показать — особенно в культуре, столь сильно основанной на понятиях мужественности и чести. Стремясь превратить клеймо изгнания в знамя дерзкого вызова, они увидели в набегам способ ударить по мекканцам туда, где больнее всего: по кошелькам купцов. Не быть объектом действий, а самим действовать.

Ранние мусульманские источники называют эти набег «военными экспедициями», но на деле весь 623 год они едва дотягивали до этого уровня — и были поразительно безуспешны. В марте — через семь месяцев после хиджры — тридцать переселенцев во главе с дядей Мухаммада Хамзой попытались перехватить караван под началом Абу Джахля, но «расстались без боя» после вмешательства местного бедуинского шейха. Через месяц с удвоенной силой попробовали снова — уже против каравана Абу Суфьяна, — но и тут «не дошло до рукопашной», и отряд вернулся ни с чем. Несколько дальнейших выходов «на поиски курайшитов» возглавлял уже сам Мухаммад — с тем же нулевым результатом. Казалось, эмигранты столь слабы как бойцы, что даже когда бедуины угнали их молочных верблюдиц у самых окраин Медины и те пустились вдогон, они потеряли след.

Но Мухаммад едва ли рассчитывал на материальные успехи. Его многолетний опыт на торговых караванах означал, что он как никто знал про договорённости по охране, и уж конечно он не ожидал, что местные вожди дадут его рейдерам зелёный свет. Он целил не в добычу, а в нарушение привычной бесперебойности караванов. Он заявлял о своём присутствии за пределами Медины как о силе, с которой надо считаться, и делал это малой ценой. Пока по недоразумению кого-то не убили.

Случилось это в январе 624-го. Мухаммад послал восьмерых переселенцев за двести миль к югу, вглубь мекканской территории. Неясно, с какой целью. Приказ был — разведка, а не нападение, так что, возможно, он хотел сведений о весеннем караване в Дамаск. Но что бы ни было заданием, люди справлялись скверно. Двое на ночь забыли привязать верховых верблюдов и вынуждены были остаться,

разыскивая тех, что ушли в пустыню. Оставшиеся шестеро дошли до Нахлы между Меккой и Таифом, где наткнулись на четырёх мекканцев с несколькими верблюдами, гружёнными изюмом и кожами. После недель разочарований и оплошностей шестёрке было трудно устоять перед лёгкой целью, пусть и пустячной. Несмотря на то, что это был последний день из трёх священных месяцев — когда сражаться запрещено, — они напали. Один мекканец сбежал, один был убит, двоих взяли в плен.

Ожидая торжественной встречи, они вернулись в Медину с пленниками и навьюченной добычей. Но любую радость Мухаммад пресёк сам. Мекка была главным рынком для мединской продукции; большинству мединцев меньше всего хотелось ссориться с лучшими покупателями. Они и без того сомневались в разумности нападений на караваны; теперь они боялись, что случившееся в Нахле вызовет лишь ответную расправу. Как иначе? Это было почти у ворот Мекки; курайшиты потеряли лицо. Убить мекканца из-за пары тюков кожи и изюма? Чистая провокация. Не затем ли звали Мухаммада мирить, чтобы он объявил войну другим?

Весь арбитражный договор, столь трудом выстраданный, вдруг оказался под угрозой. Пункт о взаимной обороне был именно о защите, не о нападении. А налёт в Нахле был безусловно наступательным — и вдвойне, ведь он пришёлся на священный месяц. «Сражайтесь на пути Бога с теми, кто сражается с вами, но не начинайте вражды, ибо Бог не любит агрессора», — скажет Коран; суть, конечно, в том, кого считать агрессором. Медина согласилась защищаться, но согласна ли она была с тем, что это защита? И в VII веке, как и ныне, оставалась неразрешимая проблема разграничения обороны и нападения. И тогда, как и сейчас, эту границу обычно рисует тот, кто её рисует.

Единственным способом снять растущую внутреннюю критику было взять инициативу в свои руки и сослаться на признанный высший авторитет. Нужна была «ревеляция» — и она пришла. «Спрашивают тебя о сражении в священный месяц, — сказал голос Корана. — Скажи: “Да, сражение в этот месяц — великий грех; но ещё великие перед Богом — отвращать от пути Божьего, не веровать в Него, препятствовать доступу к Святилищу и изгонять его людей. Преследование (угнетение) хуже убийства”».

И далее, для ясности: «Разрешение дано тем, кто сражается, ибо они были обижены... тем, кого изгнали из домов без права — только потому, что они сказали: “Наш Бог — Бог”». Иными словами, наступление теперь санкционировалось как ответная, «задним числом» оборона. То, что сделали в Нахле, пусть и

нежелательно, но оправдано: ведь как изгнанники они были прежними жертвами. Для верующих вопрос считался закрытым. Для всех остальных — лишь открывался.

Слово, употреблённое в этом первом кораническом дозволении бою, — «киталь» (qital), однозначно «физическое сражение». Но в следующем аяте, как он позднее будет записан и упорядочен (окончательно — лишь через два десятилетия после смерти Мухаммада), идея как будто расширяется: «Те, которые уверовали, переселились и подвизались на пути Бога, — могут уповать на Его милость». Близость стихов сближает понятия: «подвизаться на пути Бога» как будто равно «сражаться». Но неизвестно, были ли изначально эти строки рядом и что именно подразумевается под «подвигом на пути Бога». Слово, обычно переводимое как «подвизаться», — не «киталь», а «джихад», которое лишь позже обретёт дополнительный смысл «священной войны».

Отчасти это вопрос перевода — точнее, толкования. В столь многозначном и нередко загадочном тексте, как Коран, прямого «один к одному» соответствия между арабским и, скажем, русским часто нет. Как и все семитские языки, арабский строит смысл на корневой игре — три согласные дают целое «семейство» значений. Даже одно и то же слово может звучать по-разному в зависимости от контекста. А Коран, как Бог, контекста не даёт: он предполагает, что слушатель разделяет его «рамку». Но то, что было само собой разумеющимся в VII веке, не понимается в XXI: изменились и язык, и рамка. Никто сегодня не говорит на хиджазском диалекте VII века, на котором написан Коран, так что учёные-мусульмановеды до сих пор ведут многолетние споры о смысле конкретных слов, не говоря уже о стихах.

Если Коран последовательно использует «киталь» для боя, то его «джихад» — «усилие, стремление» — гораздо менее конкретен. Со временем слово получит двойной смысл: и внутреннего стремления жить нравственно и приближаться к Богу, и внешней, вооружённой борьбы с врагами ислама. Этот дуализм закрепится в известном хадисе, собранном уже после смерти Мухаммада, где он различает «малый джихад» и «великий джихад»: меньший — вооружённая защита ислама; больший — усилие внутри себя, путь к Богу. И сами термины говорят, что важнее.

Теперь было ясно: если Мухаммад и надеялся выполнить миссию без насилия — это уже невозможно. Центральный вопрос, к которому Коран будет возвращаться ещё не раз в следующие годы, звучал уже не «сражаться или нет», а «когда и на каких условиях». То, как Мухаммад решал этот вопрос, до сих пор предмет ожесточённых споров. Применение силы станет «кнопкой» ислама: политику VII-

вековой Аравии будут через века использовать, толковать и искажать и воинствующие «исламисты», и столь же воинствующие анти-исламисты — немногие из которых вообще знают о нападении в Нахле, с которого спор начался.

Нахла стала переломом. Как бы ни определяли оборону и наступление, ясно было одно: до сих пор откровения велели Мухаммаду не замечать врагов — отстраняться и прощать их невежество; человек, терпеливо выдержавший многолетний прессинг и согласную оппозицию в Мекке, добивался великой моральной высоты отказом отвечать насилием на насилие. Но эта «как у Ганди» позиция стоила ему дома и едва не стоила жизни. Теперь же, став лидером, он должен был считаться с политикой силы.

Выражение «политика силы» почти тавтология — политика вообще о силе, «искусство управления». Но нынче в словах — отрицательная окраска; её оспаривал Исаия Берлин, говоря о человеке, с чьим именем её связывают, — Никколо Макиавелли. Берлин видел в нём не карикатурного циника, которого воображают, не читая «Государя», а умелого прагматика: «Если вы отвергаете рекомендуемые методы как морально отвратительные, если вам слишком страшно ими пользоваться, Макиавелли отвечает: вы вправе жить морально, быть частным гражданином (или монахом), искать свой тихий угол. Но тогда не берите на себя ответственность за жизни других и не ждите удачи; будьте готовы, что вас проигнорируют — или уничтожат». Или, по знаменитой фразе самого Макиавелли: «Все вооружённые пророки побеждали, все безоружные — терпели беду».

Мухаммада уже игнорировали, и едва не уничтожили. Он не намеревался снова быть ни тем, ни другим. Там, где Коран раньше настаивал на отказе от насилия, теперь он хотя бы условно его допускал. Началась новая глава — и уже через два месяца она развернётся в открытую войну.

Четырнадцатая глава

Битва при Бадре состоялась 17 марта 624 года, и если это было не совсем то, чего добивался Мухаммад, то именно то, что ему было нужно. Её запомнят в ранних мусульманских хрониках как первую большую победу ислама: решающее столкновение, которое возвысит честь и репутацию Медины — особенно среди окрестных бедуинских племён, которые начнут поддерживать Мухаммада, увидев, что он способен бросить вызов мекканской монополии на власть и богатство. И всё же, похоже, она случилась столько же «по просчёту», сколько «по замыслу».

Бадр — между Мединой и Красным морем — это место, где широкий вад раскрывается в прибрежную равнину. По склонам выкопаны колодцы, выдолблены цистерны, собирающие остатки зимних паводков. Оттого это главный водопой — особенно когда весенний мекканский караван, возвращаясь из Дамаска, делает здесь остановку.

Задумать удар по такому каравану — было дерзко. До тех пор Мухаммад выпускал рейдовые отряды человек по двадцать—тридцать, и единственный «успешный» — в Нахле — вышел очень спорным. Большинству мединцев, особенно с семейными и деловыми связями с торговым югом, не улыбается дальше будоражить ситуацию. Нахлы хватило. А уж бросить вызов весеннему каравану — это идти к открытой войне. Но этот риск Мухаммад, казалось, готов был принять — и даже жаждал. Мелкие налёты делали его колючкой в боку Мекки; крупный удар при Бадре поставил бы его не «обиженным изгнанником», а противником, с которым считаются. Плюс это укрепило бы позиции в самой Медине: старейшины за осторожность, но молодёжь воодушевлялась идеей бросить вызов «большому городу», особенно с такой потенциальной добычей.

Это были не пара тюков кожи и изюма. Под командованием главы уммайядского клана, Абу Суфьяна, из Дамаска возвращались более двух тысяч верблюдов, гружённых роскошными товарами. И они казались лёгкой добычей: разведчики Мухаммада докладывали всего о семидесяти вооружённых стражах.

Для такого каравана семьдесят охранников — удивительно мало. Кажется, руководство курайшитов либо не поняло новой решимости Мухаммада, либо их по-прежнему слепило презрение к «провинции». Нахла была мелочью; удар по главному годичному каравану — совсем иное, немыслимое. Но если они недооценили Мухаммада, то и он, похоже, их недооценил.

К тому времени, как он вывел людей из Медины на двухдневный путь к Бадру, это был уже не рейдовый отряд, а сила — свыше трёхсот человек. Кровапролития не ждали: охрана при таком числе благоразумно отступит. Это был замысел продемонстрировать присутствие, не устроить бой, тем более битву. С таким раскладом впервые вместе с мухаджирами выступили и мединцы, и — знак растущего авторитета — помощников было больше переселенцев. Надежды были высоки, и разговоров вокруг — тоже.

Как всегда при таком количестве участников, пустынная «виноградная лоза» зашумела. Сведения об ожидаемом налёте достигли каравана заранее, и Абу Суфьян выслал вестника в Мекку: «Придите и защитите вашу торговлю».

Курайшиты вспыхнули — тем более что доли в караване были у каждого клана. «Неужто Мухаммад и его товарищи думают, что будет как при Нахле?» — взревел давний противник Мухаммада Абу Джахль. — «Нет, клянусь Богом, на этот раз иначе!» У Мухаммада три сотни? Они покажут, что такое настоящие числа. За ночь собрали почти тысячу и марш-броском пошли к Бадру под командованием Абу Джахля, твёрдо уверенные, что Мухаммад не рискнёт сражаться при таком перевесе. Они «поставят на место» эту разномастную шайку изгнанников одним своим видом.

Тем временем, не будучи уверен, успеют ли из Мекки, Абу Суфьян обошёл Бадр: ушёл в обход, вдоль Красного моря. Так две вооружённые силы — одна с юга, другая с востока — сошлись к каравану, которого уже не было. Рецепт беды. Абу Суфьян попытался предвосхитить её: отправил гонца перехватить Абу Джахля — «Выходили защищать товар и имущество; Бог сохранил их — возвращайтесь».

Но просить Абу Джахля развернуться от столкновения с Мухаммадом — всё равно что просить пыльную бурю остановиться. Меньшее из его желаний — бой. И он тем самым возвышал Мухаммада. «Судьба подбирает врагов правителю и манит их на поле, чтобы он, победив, поднялся по лестнице, которую ему поставили враги», — сказал бы Макиавелли; курайшиты, ведомые Абу Джахлем, были на редкость «сговорчивыми» поставщиками такой лестницы.

Правда, при всей бравате Абу Джахль, возможно, точнее ощущал ставки, чем осторожный Абу Суфьян. Речь шла о престиже Мекки. Уже то, что позволили Мухаммаду «свернуть» караван, — полупоражение. Слухи полетят. В Бадре — водопой, место всем известное, «мать сплетен и новостей». Отступить — второе поражение, и уж он-то не станет тем, кто это сделает. «Дойдём до Бадра, проведём там три дня: зарежем верблюдов, накормим и напоим всех — пусть бедуины услышат о наших делах и дальше чтут нас», — обещал он.

Согласны были не все. А вдруг придётся биться? «Нет нужды вступать в бой, если речь не о защите имущества; караван цел», — возражал один вождь — и получил от Абу Джахля «трус!»: «У тебя лёгкие раздулись от страха». Другой напомнил: среди людей Мухаммада есть их же родичи: «Клянусь Богом, если вы одолеете Мухаммада, вам будет не на кого смотреть без отвращения: вы увидите того, кто убил вашего племянника или родича. Давайте вернёмся». И снова — насмешка: «Ты только потому, что сын твой у них. Не прикрывай его». И, чтобы перебить «аргумент родства», он позвал брата убитого в Нахле: «Вот твоя месть перед глазами. Встань и напомни о смерти брата». К тому времени, как тот закончил,

большинство было разогрето жаждой кровной расплаты. Кто-то развернулся, но более семисот пошли дальше.

Возможно, они бы и отомстили, не задержись они в спорах. Тот же «виноград» работал и в обратную сторону: до Мухаммада дошло, что караван ушёл, но идёт сильное мекканское войско. У него тоже был выбор: отступить домой. Но отступление выглядело бы слабостью — и в глазах своих, и чужих. Речь была уже не о караване. И не о пустом «кодексе чести». Это были репутации — Мухаммада и верующих, и мекканитов. Обеим сторонам нельзя было дать усомниться в твёрдости — одним, чтобы взять силу; другим — чтобы не потерять.

Когда мекканское войско подошло, Мухаммад и его люди уже укрепились на высотке. Ночью пролил дождь — редкость, особенно в середине марта. Меккане жались в полевых навесах, а Мухаммад использовал дождь как прикрытие: тихо отправил людей засыпать ближайшие к мекканам колодцы и цистерны, чтобы к рассвету им пришлось подниматься выше, туда, где верующие держали верх. Контроль над водой давал контроль над полем.

Под пасмурным небом бой начался ранним утром. Строй верующих стоял, мекканский — раскалывался: каждый клан бился сам по себе, без единого управления. К полудню они были разгромлены. Пали сорок четыре мекканца, включая «отца тьмы» Абу Джахля. Победу за ним записал юный переселенец, некогда пастух, которого тот когда-то ударил в лицо: «Я рубанул так, что ему оторвало стопу и половину голени; клянусь Богом, когда она отлетела, это было как косточка финика из давилки». И он услышал, как умирающий произнёс: «Поднялся ты высоко, маленький пастух».

Сказал ли он это на самом деле, история идеально передавала оскорбление для мекканитов. «Вот — курайшиты бросили вам своё самое дорогое мясо и кровь», — сказал Мухаммад людям, обозревая поле — и с печалью, и с гордостью. Соль «сливок Мекки» проиграла тем, кого считала сбродом — включая вольноотпущенников, бывших рабов мекканитов! Бадр перевернул «естественный порядок».

Рассказ пастуха о «улетевшей ноге» — один из многих «гомеровских» штрихов. Ибн Исхак и ат-Табари щедры на полевая кровь: ноги врагов отсекались одним взмахом — «и вытекал мозг костный»; животы распоротые; раны не останавливают храбрецов — «подставил ногу на кожу да дёрнул руку до отрыва и пошёл драться». Такие преувеличения в эпосах — от шумеров до византийцев — привычны. Но при всём мифотворчестве оба хрониста прилежны: рядом с подвигами — паника и

неразбериха реального боя. Упомянуты поимённо все пятнадцать павших верующих, сколь бы нелепой ни была смерть: один сорвался со скалы и сломал шею; иного конь сбросил и копытом убил; третий с размаху промахнулся и прорубил свою же ногу, перерезав бедренную артерию.

Эти повествования, как на «split-screen», перескакивают между героическим каноном и человеческой уязвимостью — между сказочным воином и перепуганным человеком, отчаянно цепляющимся за жизнь. В эпоху «пультов» легко забыть, насколько грязна ближняя схватка — это «глаза в глаза». Ты чувствуешь тухлый запах страха на лице другого, скользишь хватающей рукой по поту, слышишь рывки, стоны в каждом выпадении. В ход — мечи и кинжалы, камни, кулаки, локти, пальцы — что угодно, лишь бы выжить. И ужас обострялся тем, что часто сражались не с безымянным врагом, а с узнаваемыми людьми — порой очень близкими. В этой яростной, до предела личной битве переселенцы и меккане рубились с бывшими соседями, дальними кузенами, свояками, дядьями и племянниками — и даже отцами, братьями, сыновьями.

Во второй половине дня победители ходили по полю, забирая кольчуги, мечи, коней и верблюдов как трофеи. Сам Мухаммад взял лишь два предмета: резной двулезвийный меч и дорогого жеребьего верблюда, принадлежавшего его заклятому противнику — только что павшему Абу Джахлю. Но трофеи меркли перед выкупами за пятьдесят пленных. Среди них — сын самого Абу Суфьяна, а также родственники Мухаммада: дядя Аббас и племянник Хадиджи — ещё и его зять, муж его дочери Зайнаб. Полон решимости не делать поблажек, Мухаммад держал их наравне с прочими. Но когда Зайнаб отправила из Мекки драгоценности на выкуп (она, хорошая жена, осталась с мужем, не эмигрировав), среди них было ожерелье — свадебный дар Хадиджи. Узнав его, Мухаммад расплакался — и послал назад к Зайнаб и зятю, и украшения. Всё было слишком близко к дому.

К моменту, когда разошлись «саги», победа при таком перевесе стала для верующих знаком благоволения: Бог был на их стороне при Бадре. Кто-то говорил об ангелах, сошедших в облаках пыли; меккане позже объясняли поражение «белыми мужами на пегих конях между небом и землёй, чему мы не могли противостоять», и Коран подтвердил: «Не вы убивали их — Бог убивал». Тогда и теперь — все любят победителей, особенно неожиданных. Бадр дал взрыв уверенности; росла и слава Мухаммада. Он разгромил сильнейшее племя Аравии — и сделал это показательно — и потому удар по престижу курайшитов был нестерпим. Торговцы живут репутацией; потеряй её — пострадает экономика. И Мухаммад с ранними мусульманами будут расти в уважении обратно пропорционально падению курайшитов. Ветер заговорил: по Хиджазу и дальше —

к надждским степям, до Йемена на юге, до Сирии на севере. Старые союзы шевельнулись: «ставочники»-бедуины не могли теперь игнорировать Мухаммада.

Возмездие курайшитов было неизбежно: война — тоже, и их бедуинские союзники вовлекутся. Главная забота кочевников — примкнуть к сильному; раньше выбор казался очевидным, после Бадра — уже нет. Значит, разумно подстраховаться — особенно когда рассказы о «небесном вмешательстве» подкреплялись реальной победой против больших шансов.

Пока пленных ещё выкупали, Мухаммад отправил вооружённые делегации к бедуинам с приказом сражаться только в случае отказа от союза с Мединой. Прагматика восторжествовала: «дружба» с растущей силой лучше верности угасающей. Ибн Исхак раз за разом пишет: «они заключили договор дружбы и вернулись без боя», и с каждым таким соглашением сфера влияния Мухаммада росла, мекканская — сжималась.

Немногие племена официально приняли ислам — но это и не требовалось: клянувшись взаимной обороной и признавая авторитет Мухаммада, они присоединялись к умме; со временем вера догонит действие. Договоры скреплялись привычно — даяниями и податями; так в Медину пошёл серьёзный доход. Учреждена казна общины, скоро пополненная и удачными налётами: новые бедуинские союзники снимали покровительство с мекканских караванов. Деньги говорили громко — и поддержка Мухаммада в Медине росла. Всего за два года он стал куда большим, чем арбитр: политической силой. Впервые, возможно, он увидел себя не только лидером верующих, но и лидером всей Медины, соединив духовную и политическую власть.

Но власть уважают, пока её демонстрируют. Такова политическая логика времени, и Мухаммаду предстояло соответствовать ей. Коран учил прощению и терпению — когда за ним стояло меньшинство. Чтобы утвердить новую позицию силы, нужно было соответствовать ожиданиям эпохи. Потребовалась новая жёсткость — и ярче всего она проявится в отношениях с иудейскими племенами Медины.

Человеку свойственно горчить не столько на откровенных врагов, сколько на тех, кто был ближе всех. Только они способны так глубоко разочаровать. Чувство нелояльности — «как ты мог?» — режет глубже, отчасти как защита от признания того, что ты сам слишком много ожидал. Мухаммад, конечно, рассчитывал, что иудеи Медины окажутся самыми открытыми его посланию. Их пророки — его пророки: вдохновлённые Богом мужи, предостерегавшие свой народ, как он пытался предостеречь свой в Мекке. Коран чтит великих фигур Танаха — от Адама

и Авраама до Иосифа и Моисея, Соломона и Илии. Как и все арабийцы, иудеи называли Бога в обиходе Аллахом — «Высоким», и часто употребляли эпитет, позднее ставший привычным в Коране, — «Ар-Рахман», «Милостивый», как и в вавилонском Талмуде — «Рахмана». Казалось ясно: иудеи и мусульмане — общие потомки Авраама, первого ханифа; две ветви одной монотеистической семьи. Они — кузены, не чужие. И поскольку иудеи были изначальными хранителями «дина Ибрахим», традиции Авраама, Мухаммад считал само собой разумеющимся не просто их согласие, а горячую поддержку. Превосходство нового послания ему казалось очевидным: как можно, называя Бога Богом, отвергать его?

На первых порах иудеи Медины, казалось, были вполне открыты. Кланов трёх главных еврейских племён охотно подписали арбитраж и вошли в умму — пусть вторым кругом, как конфедераты доминирующих племен Ауса и Хазраджа. Коран обращался к «людям Писания», велел Мухаммаду сказать: «Мы веруем в то, что ниспослано нам, и в то, что ниспослано вам; наш Бог и ваш Бог — один». И верующим велено не спорить с иудеями «иначе как вежливо и справедливо», говорить: «О люди Писания, придём к общему слову: не будем поклоняться никому, кроме Бога; не будем придавать Ему сотоварищей; не будем брать друг друга в господа вместо Бога». Чтобы исключить недопонимание с христианами, дальше расширяется: «Верующие, иудеи, христиане, зороастрийцы — кто уверует в Бога и День Суда и будет творить добро — всем у Бога награда... Мы веруем в Бога и в то, что ниспослано нам, и в то, что ниспослано Аврааму и Исмаилу, Исааку и Иакову и коленам, и в то, что дано Моисею и Иисусу и пророкам; мы не разделяем между ними».

Проблема в том, что иудеи Медины не видели больше оснований признавать Мухаммада пророком, чем раньше — Иисуса. Они верили, что дни пророчества закончились двенадцатью веками ранее, с вавилонским пленом. Новых пророков быть не может. Так же, как курайшиты говорили, что не могут отказаться от «обрядов отцов», так и иудеи твердо стояли на «традициях» своих. За два года едва кто-то принял ислам — и это явно смущало Мухаммада.

В Мекке голос Корана спокойно относился к вызовам: «Ниспослали Мы писание тебе, посланник, с истиной — для людей; кто последует — себе во благо; кто сойдёт — себе во вред; ты не над ними властитель». Теперь же он, казалось, чувствовал особую ответственность за иудеев. Их равнодушие казалось невозможным — упорство ради упорства; чем больше он убеждал, тем сильнее они сопротивлялись — и тон откровений менялся, отражая его раздражение: «О люди Писания, зачем отвергаете знамения Божьи, когда видите их истинность? Зачем смешиваете истину с ложью и скрываете истину, зная её?» Вскоре к иудеям уже не

обращались, а говорили о них — уже не «вы», а «они». «Среди них есть праведные», — признаёт голос, — но другие «сделали свою религию забавой» — как и мекканцы. Не видят ли они, что предают свою же веру? Что Коран не отменяет, а обновляет её?

Но иудейские племена не видели в этом нужды: тем более, чтобы их «учил» посторонний, что «они недостаточно хорошие иудеи». Раввины отвергали корановский призыв — и Ибн Исхак отводит несколько страниц сценам, где они спорят с Мухаммадом, «возмущают» народ, доказывая, что его версии библейских историй неверны. Вряд ли эти споры в таком виде были: детали, которые «не сходятся» с канонем Запада, были широко распространены на Востоке; и до сих пор в регионе живы версии, непривычные западному уху, но естественные для восточных церквей.

Суть была не религиозной, а политической. Три иудейских племени и так оказались в меньшинстве с приходом ауса и хазраджа в V веке; теперь, с быстрым ростом влияния Мухаммада, они опасались дальнейшей маргинализации. Сплотившись, они ещё могли бы быть силой. Но они встали по разные стороны мединских междоусобиц, из-за которых Мухаммада и звали мирить, и порой были враждебны друг другу не меньше, чем кому-либо ещё. Из бывшего большинства, превратившегося в разделённое меньшинство, они видели в растущей власти Мухаммада угрозу — не столько вере, сколько будущему в Медине. И в этом они окажутся правы.

Если было очевидно, что Мухаммад глубоко разочарован сопротивлением иудеев, столь же очевидно было и то, что ему нужно утвердить себя как человека, которого отныне лучше не разочаровывать. Не взбесив большинство, он должен был показать пример тем, кто бросит открытый вызов. Самое малое из трёх иудейских племён — кайнука — и станет таким примером.

Одна из версий говорит, что «дело кайнука», как называет его Ибн Исхак, вспыхнуло из-за рынка — всего через месяц после Бадра. Молодой кайнука стал приставать к бедуинке, добиваясь, чтобы она приподняла покрывало, пока она продавала овощи. Девушка выругалась; его приятель решил «пошутить»: тихо привязал подол её платья к столбу, и когда она встала, юбка разорвалась, обнажив её. Проходивший мусульманин увидел это, бросился — убил шутника; другие подоспели — убили его самого. История кладёт вину на кайнука: они спровоцировали всё и вместо того, чтобы обратиться к Мухаммаду, «сами вершили расправу». Яркий образ полунагой жертвы сделан, чтобы разжечь воображение — никто не мог «честно» стоять в стороне. Но как минимум часть этой истории

апокрифична: в Медине тогда женщины не носили чадр; идея «покрывал» появится лишь через три года, и то — только для жён Мухаммада. Тем не менее этот «базарный скандал» послужил формальным поводом выделить кайнука.

Были, впрочем, и другие — политические. Одна — возможное «сотрудничество с врагом». Кто-то предупредил Абу Суфьяна о трёх сотнях, готовых ударить при Бадре; доказательств против кайнука не было, но их подозревали из-за тесных торговых связей с Меккой. Вероятнее, однако, они и не были главной целью; это были пешки в игре, где настоящей мишенью был их союзник среди хазраджей — Абдуллах ибн Убайй.

Ибн Убайй — опытный вождь клана; по слухам, он грезил стать «князем Медины» до прихода Мухаммада: «перебирал бусины короны». Неясно, как, при расколе ауса и хазраджа; возможно, он видел себя миротворцем и принял ислам, полагая, что Мухаммад ему поможет. Если так — быстро разочаровался: различие между «переселенцами» и «помощниками» ясно показывало, кто кому «помогает». И он был не один: многие ансар — и те, кто ислам не принял — чувствовали, что духовная власть Мухаммада не столь безупречно переходит в политическую.

Все ансар видели: ближайшие советники — Абу Бакр, Али, Омар — все переселенцы. Хотя ансар приняли их радушно, многие не до конца их «свои». Мухаджиры оставались «чужими» — «большегородскими» — и были не просто «во главе», но тащили Медину в риск конфронтации с городом, который они оставили. Наряду с неверующими, многие ансар имели оговорки к растущей политической роли Мухаммада — и громче всех говорил Ибн Убайй.

Его голос весил. Он привык, что его слушают; ему не понравилось, что критику набегов на караваны игнорируют. Он отказался идти к Бадру — а победа поставила его рассудительность под вопрос, ослабив его позиции. Мухаммаду было невыгодно нападать на него прямо — это настроило бы против него хазраджей. Умнее обойти: подрвать способность Ибн Убайй защищать союзников. Обвинение кайнука в нарушении договора — идеальный ход: обезоружить яркого критика, потенциального соперника.

Кайнука меньше всего хотели оказаться между жерновами, но оказались. Неважно, был ли «рынок» случаем, ответом за Нахлу, или уловкой против Ибн Убайй — Мухаммад обвинил их в нелояльности и велел окружить селение; они укрылись в крепости.

Это был «перебор» — в чём и был смысл: демонстрация силы и того, что у Ибн Убайй силы нет. Кайнука держались под осадой пятнадцать дней, пока не вышла вода; сдались и вверили себя милости. Все ожидали стандартного: сложить оружие; удержания доходов на годы; посадки вожаков. Вместо этого Мухаммад поразил всех: велел всем заковать в кандалы. Кара — мужчинам казнь, женщинам и детям рабство, конфискация всего имущества.

Ибн Убайй бросился заступиться. Кайнука были ему верны; теперь на кону была его верность им — его репутация вождя чести, способного защитить союзников. Но единственным оружием было возмущение: «Обратись с моими союзниками хорошо! — кричал он. — Семьсот мужчин, защищавших меня от всех — и ты хочешь косить их всех в одно утро? Клянусь Богом, я не уверен в безопасности с таким решением; я боюсь, что оно сулит в будущем». Ответ Мухаммада — отвернуться. Ибн Убайй взорвался. Как смеет он отворачиваться? Он схватил его за ворот; они сцепились. «Чтоб ты был проклят,пусти! — выкрикнул Мухаммад, жилы на лбу стянулись тёмными шнурами. — Не отпущу, пока не поступишь с ними хорошо», — держал Ибн Убайй.

Сподвижники Мухаммада ринулись было на выручку, он оторвался и поднял ладонь — «стоп». Дальше не нужно. Ибн Убайй только что признал принцип: суд вершит Мухаммад — и только он. Одним его словом — пощада. Признав это, Ибн Убайй облегчал Мухаммаду компромисс. Выдержав паузу, он «подумал» и заключил: «Они — твои. Пусть уходят в другое место». Везде — только не в Медине. Всех двух тысяч кайнука изгнать.

Коллективное изгнание было не неслыханным (эпос о «одинокое изгнание» это знает), но ко всему племени — да, редким. И хотя это мягче казни и рабства, мера была суровой. Сколько бы Ибн Убайй ни упрашивал о смягчении — тщетно. Его переиграли: влияние подорвано, хотя внешне будто укреплено.

Через три дня печальная вереница изгнанных кайнука стала ясным предупреждением: теперь командует Мухаммад. Они вытянулись из Медины — женщины и дети на верблюдах, мужчины пешком — к иудейскому оазису Хайбар в шестидесяти милях к северу. Разрешили взять лишь то, что унесут. Всё оставленное — земля, пальмовые рощи, дома — разделили между переселенцами; пятую часть — в казну. Остальные мединцы молча смотрели. Если кто и видел иронию в том, что изгнанники сами изгнали других, — вслух этого не говорил.

Кайнука были не единственными, кто заплатил после Бадра. Опасна оказалась и профессия поэта. Как бы маргинально ни звучали поэты в XXI-вековом Западе, в

VII-вековой Аравии они были «рок-звёздами» — не только одами и элегиями. Второй великий род — сатира: стих с ядовитым, часто двусмысленным остроумием; чем язвительнее, тем лучше. Но если слово остро как клинок, оно часто и клинок притягивает.

Цена сатиры сейчас станет очевидной. Одна из самых колких — Асма; её строки вдвойне обидны — от женщины. Рифма теряется в переводе, но даже буквальный смысл передаёт яд: «Скрученные мужи Хазраджа, вы станете рога носцами — позволив чужаку занять ваше гнездо? Вы пускаете надежды на него, как голодные на тёплый ячменный суп. Неужто не найдётся мужчины, который подойдёт и отсечёт кукушонка?» В Мекке Мухаммад был вынужден терпеть эту насмешку. Но не теперь. «Не найдётся ли кого, кто избавит меня от этой женщины?» — бросил он вслух. Желание вождя — закон для одного из верующих, родственника Асмы. Ночью он вошёл в её дом, нашёл её спящей с младенцем на руках, и пронзил мечом грудь. «Буду ли я отвечать за это?» — спросил он утром. Короткий ответ: «За неё и два козла не бодаются».

Другой поэт, Абу Афак, был мягче: «Пришёл всадник, раздробил нас — говорит: “это запрещено, то дозволено”. Если верите в силу, мединцы, зачем не следуете вождю из своих?» Но и это теперь было уже недопустимо. «Кто отомстит мне за этого негодяя?» — сказал Мухаммад, и нашёлся добровольец. Как и в случае Асмы, никто не потребовал кровной мести.

Третий, Ибн Ашраф, успел уйти — ненадолго. Он, член иудейского Надира, вместе с пятьюдесятью юношами поехал в Мекку, взывал к курайшитам мстить за Бадр: «Для таких битв проливаются слёзы и дожди; цвета курайшитов пали у колодцев Бадра, где столько благородных срезали». Это вызвало ответ-насмешку Хасана ибн Сабита, будущего «придворного поэта» Мухаммада: «Плачь щенком за сучкой. Бог дал удовлетворение нашему вождю и посрамил тех, кто вышел против него». Храбро или глупо, Ибн Ашраф вернулся в Медину, намереваясь переплюнуть Хасана — и был быстро убит.

И чтобы никто не пропустил сигнал, поданный изгнанием кайнука, голос Корана вмешался и велел ввести крупное изменение в религиозной практике: развернуть киблу. Если раньше верующие молились лицом на север, к Иерусалиму — как и иудеи, — то теперь — на юг: «Мы обращаем тебя к той кибле, что тебе по душе», — сказал Коран, намекнув, что прежнее «совпадение» было не по душе. «Обрати лицо к Заповедной святыне» — то есть к Каабе в Мекке.

Эта смена киблы несла двойной символизм. Во-первых, это послание Мекке. Так скоро после Бадра — восклицательный знак к заявлению войны курайшитам. Как и иудеи клялись телами не забывать Иерусалим — «Если забуду тебя, Иерусалим, отсохни, правая моя!» — так теперь тела мусульман должны были напоминать, не забывать Мекку: она — не прошлое, а вечно-присутствующее — фокус новой веры. Их молящиеся тела объявляли её своей — и её они вернут.

Во-вторых, новый поворот был знаком того, что некоторые историки назовут «разрывом с иудеями» — тем более, что он последовал вскоре после изгнания одного из племён. Несмотря на прежние декларации родства, процесс «индивидуации» ислама — определения идентичности через отличие — начался. Подобно тому, как шесть веков ранее христианство отделилось от родительской иудейской веры, так сейчас начинал отделяться и зарождающийся ислам. Наследие у ислама и иудаизма общее; будущее — уже нет. И как в любой семейной ссоре, она была обречена стать горше.

Пятнадцатая глава

Часто говорят: о человеке судят по качеству его врагов. Если это верно, то «маленький пастух», убивший Абу Джахля при Бадре, сыграл куда большую историческую роль, чем он сам понимал: с гибелью «отца невежества» качество противников Мухаммада резко возросло. Руководство мекканским советом перешло к человеку, который столь ловко сумел увести караван от Бадра, — к Абу Суфьяну, главе клана Омейядов.

Как всякий хороший военный вождь, проницательный Абу Суфьян верил в соразмерный ответ, а не в горячую вражду. Если уж рисковать жизнями людей, то не из личной ненависти, а по необходимости и долгу. В самом деле, вероятно, если бы раньше всем заправлял Абу Суфьян, Мухаммад и его сторонники никогда бы не были изгнаны из Мекки. Там, где яростное противостояние Абу Джахля лишь укрепляло Мухаммада вместо того, чтобы ослабить, Абу Суфьян стремился бы к сдерживанию, а не к подавлению. Он даже мог бы заимствовать некоторые социальные принципы Мухаммада — будь то из политического расчёта или из понимания их ценности. Хотя он и был обязан хранить традиции отцов-курейшитов, он трезво видел, что некая доля реформ необходима. Даже его собственная дочь Умм Хабиба приняла ислам; во время бойкота она была в Эфиопии, но, вернувшись, не эмигрировала в Медину, а осталась в Мекке и, кажется, влияла на взгляды отца. Итак, там, где Абу Джахль после Бадра наверняка ринулся бы к немедленной и масштабной эскалации, Абу Суфьян избрал путь более взвешенный.

Вопрос о возмездии, однако, не стоял: престиж Мекки был на кону, а вместе с ним и долговременное благополучие города. Но вместо того чтобы сломя голову бросаться в ответный удар, Абу Суфьян не торопился. Он выстроил крепкую коалицию с несколькими бедуинскими союзниками, переждал зиму и следующей весной собрал десять тысяч воинов, включая сотни всадников, для десятидневного марша на север к Медине.

Его план был не вторгаться в Медину, а вынудить Мухаммада выйти из неё. Вместо того чтобы ворваться в оазис, он остановился на окраинах и приказал разбить лагерь в ячменных полях у подножия горы Ухуд, в трёх милях к северу. Намерение было ясным: он пришёл не объявлять войну всей Медине, а сводить счёты лишь с Мухаммадом и его последователями. И чтобы не оставить сомнений, он послал гонца въехать в поселение с посланием к вождям ауса и хазраджа: «Оставьте нам разбираться с нашим двоюродным братом Мухаммадом — и мы не тронем вас. Нам нет нужды сражаться с вами». Речь, значит, шла о Курейш против Курейша. Нет необходимости другим племенам вмешиваться.

Подход был просчитан идеально. Абу Суфьян был хорошо осведомлён о расколах в Медине и прекрасно понимал, что политическая власть Мухаммада всё ещё оспаривалась. Было ли его послание искренним призывом к сдержанности или попыткой «разделяй и властвуй», оно звучало сильно: бархатная перчатка с видимым железным кулаком. Если большинство мединцев захотят рискнуть тотальной войной, Абу Суфьян более чем готов; если же они останутся в стороне, он охотно это уважит. Он бросал вызов не им, а только Мухаммаду и его сторонникам, рассчитывая, что те выйдут на открытое поле, где его армия быстро и эффективно с ними разделается.

Но некоторые верующие разгадали стратегию — прежде всех Ибн Убайй, вождь клана, который схватился с Мухаммадом из-за судьбы кайнука. Мухаммад предпочёл держать его ближе, а не отталкивать, и сохранил его в совете, несмотря на возражения других. Теперь Ибн Убайй убедительно настаивал, что верующим следует оставаться на месте. «Клянусь Богом, всякий раз, когда мы выходили из Медины навстречу врагу, нам наносили тяжёлые потери, и ни один враг не входил в неё, чтобы мы не нанесли тяжёлых потерь ему. Оставьте их. Если они останутся там, где стоят, им хуже не придумаешь. А если войдут в Медину, мужчины биться будут с ними лицом к лицу, женщины и мальчики забросают их камнями с крыш, и им придётся уйти».

Он указывал, что ячменные поля уже втоптаны конницей Абу Суфьяна, — защищать там нечего. Пусть входят, если смеют; верующие имеют преимущество — знают каждый переулочек и тупик, каждую точку обзора и убежище. Городской бой — кошмар любого полководца, и Ибн Убайй считал, что Абу Суфьян рисковать не захочет. Если тот рассчитывает на выход Мухаммада в поле, зачем делать ему приятно? Тем более, что армия сможет стоять у Ухуда лишь пока выдержит без свежей воды. Рано или поздно им придётся свернуть лагерь и уйти. Оставалось лишь выжидать.

Но если благоразумие — лучшая часть доблести, то молодые и пылкие сторонники Мухаммада слушать о нём не желали. Во главе с мухаджирами, всё ещё страдающими от обиды изгнания, они утверждали, что игнорировать вызов Абу Суфьяна — значит уступить нравственную высоту. Им хотелось чего-то более славного, чем отсидка. Они одолели мекканцев при Бадре, где шансы были против них, — теперь случай доказать себя вновь, против сил куда больших. «Выведи нас к этим псам, о Посланник Бога!» — кричали они.

Что должен делать лидер в такой ситуации? Он может последовать, как ему кажется, более мудрым курсом, но тогда рискует разочаровать свою базу — в случае Мухаммада мухаджиров. Со временем его авторитет окрепнет настолько, что перевесит запрос толпы, но он, вероятно, понимал: ещё не время. Была и другая причина. Он уступил вмешательству Ибн Убайя в деле кайнука и выглядел великодушным, но уступить ему снова — лишь поднять того в глазах людей. Так или иначе — из чувства обязательства перед мухаджирами или из опасения усилить влияние Ибн Убайя — Мухаммад позволил молодым сторонникам перекричать его лучшее суждение. Он облачился для битвы — меч, шлем, кольчуга (двойная, чтобы вмещать возросшую с возрастом и любовью к сладкому талию). А когда Ибн Убайй вновь попытался возразить, что выход к армии мекканцев — это прямой путь к поражению, Мухаммад ответил, что поздно: «Не к лицу пророку надеть кольчугу, чтобы снять её без боя».

Ибн Убайю ничего не оставалось, кроме как приказать трёмстам людям своего клана присоединиться — хоть жестом поддержки. Но даже с ними за Мухаммадом в тот день вышло менее тысячи. Если при Бадре соотношение было два к одному, теперь — десять к одному. А с наступлением ночи стало ещё хуже.

Жест Ибн Убайя был именно жестом — и не больше. Добравшись до окраины Медины, он осадил коня и объявил, что дальше не пойдёт. Сражаться за пределами этой черты — значит перейти от обороны к нападению, а договор Медины — только об обороне. «Мухаммад не послушал меня и внял мальчишкам и людям без

рассудка, — резко сказал он своим. — Не вижу смысла класть головы в этом неудачном месте». И он вернул людей назад, оставив Мухаммада ехать, как он был уверен, к неизбежному поражению, а себе — собирать осколки и, наконец, быть признанным лидером Медины.

Оставшись с семьями, Мухаммад вновь положился на хитрость против числа. Ночью он провёл людей через харру — древние лавовые поля по краям ячменных полей, столь острые и каменистые, что мекканская конница пройти не могла. К рассвету его люди заняли позиции, имея гору Ухуд за спиной и харру по бокам. Теперь конница могла атаковать только спереди; Мухаммад поставил на пригорке пятьдесят лучников с жёстким приказом не сходить с места: «Защищайте нас от конницы стрелами. Что бы ни случилось — побеждаем ли мы или они — стойте, чтобы нас не ударили с тыла». Стратегия была превосходной — пока лучники выполняли приказ.

Битва при Ухуде началась на рассвете в пятницу, 25 марта 625 года, чуть больше чем через год после Бадра, — и закончилась совсем иначе. К вечеру это был разгром для Мухаммада. Он был ранен, и шестьдесят пять его людей лежали мёртвыми. Хотя так могло и не быть.

Ничего возвышенного в этой битве не было. Звучали не трубы и марши, а вздохи и хрипы, звон стали, ругань, ржание и фыркание испуганных лошадей — и над всем этим — трели, причитания и выкрики женщин в тылу мекканского лагеря.

Это была традиционная боевая роль женщин: подзадоривать своих и издеваться над мужеством врага; их пронзительные крики должны были резать страх и вселять его в противника — как завывание волюнок в туманах другой страны. Абу Суфьян выбрал пятнадцать вдов и дочерей погибших при Бадре, и вела их его жена — знатная Хинд. «Идите вперёд — и мы обнимем вас на мягких подушках; дрогнете — не дождётесь от нас нежности», — скандировали они.

Но больше всего Хинд жаждала личной мести. И её отец, и брат были убиты при Бадре дядей Мухаммада Хамзой, и она решила видеть его мёртвым. Ради этого она публично предложила сделку эфиопскому рабу по имени Вахши: свобода и щедрая плата в обмен на то, что он отыщет Хамзу на поле боя и убьёт его.

Взяться за такое мог разве что раб с таким выигрышем на кону. Хамза был грозным воином, из редчайших, кто имеет вкус к бою. Найти его легко: где жарче — там он, узнаваемый по страусиному перу на шлеме. Один верующий вспоминал, как тот в тот день дразнил каждого встречного, особенно одного, чья мать в Мекке

занималась женским обрезанием — практикой, которую Хамза явно считал из мрака джахилии, доисламского невежества. Встречая других, он вращал мечом над головой и орал: «Иди сюда, сын блудницы!» — но этому кричал хуже: «Иди же, сын резальщицы клиторов!» Мощный взмах — и сын резальщицы пал.

Это была последняя жертва Хамзы. Против меча и кинжала он был неуязвим, но бессилен против любимого оружия эфиоплян. «Я выверил своё копьё, пока не остался им доволен, — рассказывал раб Вахши. — И метнул в Хамзу. Оно вошло в нижнюю часть живота с такой силой, что вышло между ногами. Он пошатнулся ко мне — и упал». И затем, с леденящим спокойствием: «Я подождал, пока он умер, подошёл и выдернул своё копьё».

Даже потеряв такого, как Хамза, люди Мухаммада были на грани победы. Каждый наскок мекканской конницы срывался чётким строем лучников у подножия холма; стрелы калечили множество коней. Верующие теснили врага; мекканцы дрогнули и обратились в бегство. В этот миг и надломилась дисциплина лучников.

«Я видел, как женщины, спасаясь, подхватывали юбки, открывая ножные браслеты, — вспоминал один из них. — Послышался крик: “Добыча! Добыча!” Никто не слушал командира, кричавшего, что приказ Посланника — стоять. Они покинули посты и ринулись на поле, жаждя трофеев».

Командир конницы Абу Суфьяна увидел шанс. Он собрал всадников и повёл их, чтобы ударить по людям Мухаммада с тыла, оставшегося без прикрытия. Пехота двинулась следом — и бой переломился. Один за другим верующие падали; уцелевшие бежали к склонам Ухуда. Паника стала полной, когда Мухаммада сбили ударом по голове.

Пошёл слух, что он убит. Сначала ли его пустили мекканцы, или свои — неизвестно, но легко понять, почему так подумали. Шлем удержался, но удар так вдавил металлическую личину в щёку, что она рассекла верхнюю губу, сломала нос и рассекла лоб — рана лилась, как это бывает с головой. Но не это заботило Мухаммада, когда помощники подняли его, а он с яростью увидел, что люди бегут. Какая разница, думают ли они, что он мёртв? Неужели у них столь мало веры в ислам? Неужто они правда считали, что дело лишь в нём? «Мухаммад — всего лишь посланник», — скажет затем голос Корана, отражая его гнев. — «И до него были посланники. Неужели когда он умрёт или будет убит, вы повернёте вспять?»

Он пытался собрать бегущих к себе криком: «Ко мне, рабы Божьи, ко мне!» Но услышали и вернулись лишь около тридцати — и об этом тоже голос Корана горько

отозвался: «С позволения Бога вы уже обращали неверных в бегство, но когда Он приблизил к вам цель, вы дрогнули, спорили о приказе и ослушались. Вы бежали, не оглядываясь, тогда как Посланник звал вас сзади — и Бог воздал вам печалью за печаль». Иначе говоря, поражение — Божье наказание за непослушание Мухаммаду.

Мекканцы ослабили контратаку, когда слух о гибели Мухаммада распространился. Раз Абу Суфьян ясно дал понять, что их претензия — только к нему, задача выполнена. Но не для Хинд. Пока прочие женщины курейшитов бродили по полям за трофеями — мечи, кинжалы, кольчуги, удила, седла, — жена Абу Суфьяна не глядела ни на что. Она шагала от трупа к трупу, пока не нашла нужный, — и издала вопль победы, который годы спустя морозил кровь у слышавших его. Она встала над Хамзой, обеими руками вонзила нож, распорола тело и вырвала не сердце, а орган крупнее и куда более «телесный» — печень. Завыв в торжестве, подняла её высоко, а затем, на глазах у всех, запихнула в рот и жевала, кровь залила подбородок, грудь, руки. Одни говорили, что она проглотила печень, другие — что выплюнула и растоптала. Так или иначе, это был несмываемый образ страшной мести.

Вид этого чудовищного надругательства лишь усилил панику верующих, но и заморозил мекканцев — и дал малой группе вокруг Мухаммада шанс отступить выше по склону Ухуда, побивая камнями немногих преследователей. Уже к сумеркам сам Абу Суфьян подъехал под склон и громко крикнул: «Во имя Бога, неужели Мухаммад и впрямь мёртв?»

«Нет, клянусь Богом, — ответил Омар, — он слушает тебя сейчас».

«Так слушай и ты, — крикнул в ответ Абу Суфьян». И вместо ожидаемого добивания или торжества он дал понять, что изуродование Хинд тела Хамзы не было его приказом: «Некоторым из ваших мёртвых нанесено увечье. Я ни не велел, ни не запретил; мне это ни не доставило удовольствия, ни не опечалило». В данных обстоятельствах это было почти извинение. Он поклялся отомстить за Бадр — и добился; счёт сведен, по крайней мере пока. «Война — чередуется, — объявил он. — Сегодня наш день за ваш». И, утвердившись — в отличие от Абу Джахля — как достойный уважения враг, приказал снимать лагерь и выступать обратно в Мекку.

Даже после того, как срослись нос и щёка, Мухаммад до конца жизни страдал головными болями, похожими на мигрени. Многие из его людей были не в лучшем виде. В Медину они возвращались поодиночке, зализывая и гордость, и раны. Казалось, что позиция Ибн Убайя в поселении укрепилась: вышло, как он и

предсказывал. Мухаммад подверг всех риску: безрассудно было встречать мекканскую армию в поле; сто́ит благодарить, что Абу Суфьян не добил и не вошёл в оазис. Теперь видно: растущая власть Мухаммада в Медине играет против них. Он — безусловно Посланник, духовный лидер, но политическое руководство разумнее поручить способному и предусмотрительному Ибн Убайю. Но в этом Ибн Убайй недооценил одну из поразительнейших черт Мухаммада — умение обращать неудачу себе на пользу. Любой лидер умеет извлекать выгоду из победы; тот, кто умеет обратить себе на пользу поражение, — редкость. Мухаммад уже делал это, когда его выжили из Мекки; сделает и теперь — и Ибн Убайй невольно поможет.

В следующую пятницу, когда верующие собрались в мечети, Ибн Убайй поднялся говорить. Он начал с похвал Мухаммаду, выразил облегчение и благодарность, что жизнь Посланника пощажена. Но не удержался и напомнил о своей мудрости — о совете не выходить в поле против мекканской армии: «Если бы братья послушали меня, они бы не были убиты». Это было не то, что стоило говорить, когда люди оплакивали павших и ощущали боль ран. Толпа обернулась против него; его обвинили в трусости и в худшем. «Враг Бога, тебе не место говорить здесь после того, как ты поступил!» — кричали, и вынудили уступить место.

Скоро в откровениях Корана появилось новое слово: мунафи́кин. Часто переводят «лицемеры» — это и название суры 63, начинающейся так: «Когда приходят к тебе лицемеры, они говорят: “Свидетельствуем, что ты — Посланник Божий”. Бог знает, что так оно и есть, и свидетельствует, что лицемеры — лжецы. Они уверовали — и отвергли. Они прикрываются клятвами и отвращают от пути Божьего... Когда увидишь их, внешний их вид тебе нравится; когда говорят, слушаешь их речи. Но они — как подпёртые брёвна. Они думают, что всякий крик — против них. Они — враг, берегись же их. Как они коварны!»

Но был ли Ибн Убайй действительно врагом — и даже лицемером? Грань между риторикой и демагогией бывает тончайшей. Переводить «мунафикин» словом «лицемеры» — перегружать смысл; лучше, пусть и коряво: «сомневающиеся», «колеблющиеся», «те, кто попятился». Буквально — «те, кто нырнул в норы», как пустынные полёвки. Ибн Убайй не лгал и не отвергал ислам. Он оставлял за собой право ставить под вопрос политические решения Мухаммада. Вовсе не утаивая мнения (как подразумевает «лицемер»), он открыто выступал — в современном языке — за разделение духовной и светской власти.

Новая монета обращена против тех, кто принял ислам, но не считал каждое высказывание Мухаммада наделённым божественной санкцией. Они различали

Посланника и политика — и эту грань голос Корана, казалось, стирал. Посланник стремительно становился Пророком — уже не «одним из вас», а тем, чья вся жизнь — под водительством свыше.

Клеймо лицемерия прижилось. Любой, кто сомневался в решениях Мухаммада, становился *ipso facto* ложным верующим, каковы бы ни были обстоятельства. Так, скорбному отцу одного из погибших при Ухуде сказали: «Радуйся, твой сын — в садах рая». Но его отчаяние не вместило утешения: «Клянусь Богом, не в саду рая, а в саду полыни. Вы обманули моего бедного сына и лишили его жизни, а меня — радости». И его заклеили лицемером — отныне отверженным и ненадёжным. Рьяные верующие в мечети силой выталкивали всякого, чья вера казалась им недостаточно абсолютной, отряхивая руки, как вышибалы: «Не смей сюда больше!»

Знакомая картина: сплачивание рядов после поражения, отказ признать ошибку, поиск виноватого — «внутреннего врага». В исламе это со временем приведёт к обвинениям в ереси и вероотступничестве — по мере того как политическое большинство будет проводить линию. Как писал Эдвард Саид в «Размышлениях об изгнании»: «Именно в проведении черты вокруг вас и ваших соплеменников выступают наименее привлекательные стороны изгнания: преувеличенное чувство групповой солидарности и страстная враждебность к “чужим”, даже к тем, кто, возможно, в таком же положении... Каждый, кто не кровный брат или сестра, — враг; каждый сочувствующий — агент враждебной силы; малейшее отклонение от принятой линии — акт грубейшего предательства».

Заклеймить Ибн Убайя лицемером было шагом скорее политическим, чем религиозным — и таким, какой Макиавелли позднее одобрил бы, советуя покровителю: «Некоторые знатные могут специально из честолюбия оставаться независимыми. Против таких правитель должен себя обезопасить, страшась их, будто объявленных врагов: в несчастье они всегда помогут его губить».

Ярлык вынудил развязку. После оскорбления — силой осаженного в мечети — Ибн Убайй держался особняком. Среди своих он давал волю неприязни к мухаджирам: «Они пытаются нас затмить и перевесить числом на нашей земле. Клянусь Богом, пословица “Откорми собаку — она тебя же и съест” — про нас и их». На деле Мухаммаду нужен был ещё один шаг, чтобы обезвредить его окончательно.

Теперь Мухаммад сосредоточился на расширении сферы влияния, соперничая с Меккой за поддержку бедуинских племён в засушливом центральном степном Неджде. Вожди вели тонкую игру, торгуясь между сторонами за лучшие условия

союза. Но это было опасно, особенно когда соперничество Мекки и Медины давало повод для внутренних силовых игр — как случилось у амира.

Их вождь наконец пообещал племя Мухаммаду, и тот послал сорок человек учить новой вере. Но племянник вождя хотел союза с Меккой, а не с Мединой, и увидел шанс опозорить дядю и захватить власть. Сохраняя видимость непричастности, он организовал засаду: соседнее племя перебило делегацию Мухаммада у колодца по пути к амиру. Замысел бы сработал, не выжив один верующий. Он пас верблюдов и понял, что произошло, лишь увидев над колодцем круги грифов. Он двинулся назад в Медину, а по пути наткнулся на двух людей амира, спавших крепко. Полагая, что их соплеменники устроили резню, он убил их из мести.

Теперь вождь амира формально возложил на Мухаммада вину за преступление одного верующего. Верующие возражали: «Ошибка — не умысел», — но это не помогло. Хотя тридцать девять его людей были перебиты, у Мухаммада не оставалось чести, кроме как согласиться выплатить кровную цену за двух убитых амиров. По мединскому арбитражу он обратился ко всем подписантам с требованием внести свою долю, но поскольку у клана Надир был отдельный давний союз с амиром, он потребовал, чтобы они внесли основную сумму.

Надир — одно из двух еврейских племён, остававшихся в Медине после изгнания кайнука, — считали, что их ответственность не больше, чем у прочих, за ошибку одного верующего. Ибн Исхак пишет, что когда Мухаммад явился к ним на субботний совет для переговоров, его вежливо встретили, вместе со старшими сподвижниками Абу Бакром и Омаром, — но у Надира был иной замысел. По его словам, гостей попросили подождать снаружи, пока они закончат обсуждение, и решили не платить, а убить Мухаммада. План был — сбросить с верха стены, у которой сидел Мухаммад, большой валун и списать на случай. Он сорвался в последний миг: Мухаммад вдруг ушёл «как будто по нужде» — и не вернулся, объяснив позже, что ангел тихо предупредил его о заговоре. Но ангел он был или нет, история выглядит неубедительной. Совет да ещё в субботу; уход Мухаммада без Абу Бакра и Омара, оставив их под угрозой; логистика — как взобраться с валуном на стену и сбросить его с убийственной точностью... Всё это — признаки легенды, сочинённой, чтобы оправдать последующее, понимая, что иначе его оправдать трудно.

Час не прошёл, как Мухаммад послал Надиру послание: «Покиньте мой город и не живите со мной после измены, которую вы замыслили против меня». Уже язык показателен: не «Медина» и даже не доисламское «Ясриб», а «мой город». И

«против меня», а не «против Медины». Заявление абсолютной власти: «Государство — это я».

Ультиматум принёс верующий, бывший конфедератом Надира. Поражённые тем, что конфедерат может принести такое, Назир спросили, почему он согласился. Ответ был леденящим объявлением не только их изоляции, но и нового политического порядка: «Сердца изменились, и ислам стер старые союзы».

Пока совет Надира решал, как избежать высылки, Ибн Убайй послал призыв держаться: «У меня две тысячи — бедуинов и моих, со мной; оставайтесь, и они вступят в бой рядом с вами, как и курейза». На деле курейза, другое оставшееся еврейское племя, ничего подобного не обещали — но Назир этого не знали. Доверившись слову Ибн Убайя, они ушли в крепость в центре деревни, несмотря на предупреждение старейшины, что если сопротивление провалится, будет хуже высылки: «захват нашего имущества, порабощение детей и убийство наших бойцов».

Ответ Мухаммада ошарашил всех: он велел рубить финиковые рощи Надира. В Аравии деревья драгоценны, а пальмы — особенно: в каждой — поколения труда; уничтожать пальмы — ломать не только имущество, но и историю. Это было рассчитанное заявление: Надиру уже нечего здесь держать, и предупреждение, что будет, если упрямиться дальше. К тому же это нервировало Ибн Убайя: обещанных двух тысяч не оказалось. Осада повторила судьбу кайнука годом раньше. Через пятнадцать дней — без воды и без будущего в Медине — Назир капитулировали. Им оставили жизни, позволив вывезти не более одного верблюжьего груза на троих.

Но на этот раз не было унылого исхода. В отличие от кайнука, Назир уходили скорее как на параде. Они били в барабаны и бубны, были в лучшей одежде и во всех украшениях. «Они уходили со славой и великолепием, какого в те времена не видели ни у одного племени», — вспоминали. Это был впечатляющий акт протеста, дерзкая декларация: гордиться должны они, а Медине — быть пристыженной. Двигаясь на север — к Хайбару, далее в Палестину и Сирию, — они уходили так, чтобы их манера говорила не меньше, чем причина.

Голос Корана поспешил нивелировать шок от зрелища, как верующие рубят пальмовые сады: «Что бы вы ни сделали с их деревьями — рубили или выкорчёвывали — это было по дозволению Бога, дабы Он унизил непокорных». Виноваты не верующие, а такие, как Ибн Убайй: «Посмотри на лицемеров, говорящих своим товарищам — неверным из людей Писания: “Мы не послушаем никого, кто пожелает вам зла; если на вас нападут, мы непременно придём на

помощь". Бог свидетельствует, что они лжецы». Изгнав Надир, Мухаммад не только донёс, что не потерпит вызова своей власти; он ещё раз навязал волю Ибн Убайю.

Но для вспыльчивого Омара этого было мало. Всегда воин, он уговаривал Мухаммада покончить с Ибн Убайем и велеть убить его. В ответ получил урок политики: «Что? И дать людям сказать, будто Мухаммад убивает своих сподвижников?» Сделать из Ибн Убайя мученика — себе во вред; больше пользы — держать близко, подчинённым. И правда: пять лет спустя, уже не оспариваемый, Мухаммад вернётся к теме: «Что скажешь теперь? Клянусь Богом, если бы я велел убить его тогда, когда ты советовал, старейшины Медины дрожали бы от ярости. А теперь, если я прямо прикажу им убить его — сделают».

Что до изгнания Надира — голос Корана говорил гневно в защиту решения. Если раньше он утверждал, что небольшая часть иудеев мешает посланию Мухаммада и тем самым предаёт свою веру, теперь в них осталось лишь «немного хороших». Аят за аятом скрепляли горькую полемику, по стилю и содержанию отражавшую личное чувство предательства. Изгнание и кайнука, и Надира оправдывалось клеймом «злодеев»: «Именно Бог изгнал неверных из людей Писания из их жилищ... Они думали, что крепости их защитят, но бич Божий пал на них... Если бы Бог не предписал им изгнание, Он непременно наказал бы их в этом мире». Всё это не сулило добра последнему оставшемуся еврейскому племени Медины.

Шестнадцатая глава

Взгляд за власть в VII веке был не менее пристальным, чем сегодня. Личная жизнь Мухаммада стала публичной, хотя сам термин «личная жизнь» — анахронизм. Понятие приватности — вещь относительно новая, как и идея брака как романтического союза. На протяжении большей части истории брак был договорённостью между мужчинами — то есть отцами и мужьями. Это был признанный способ укреплять родовые связи — потому браки между двоюродными были обычны. А для лидеров брак служил ещё и для оформления и закрепления союзов. Брак сближал союзников и делал вчерашних врагов ещё ближе. Это была декларация политического согласия, написанная, так сказать, плотью.

В позднем возрасте человек, столь долго преданно бывший женат на одной жене, оказался многожёном. Через три года после смерти Хадиджи у Мухаммада было уже три жены, а впереди — ещё шесть. Первую из поздних браков, с тихой вдовой по имени Сауда, устроили сподвижники, обеспокоенные глубиной его горя. Он также принял предложение близкого друга и сторонника Абу Бакра — жениться на его дочери Айше, — и чтобы не казалось, что он выделяет Абу Бакра, женился

затем на дочери Омара Хафсе, овдовевшей при Бадре. Так двое из ближайших советников стали тестями Мухаммада, а двое других — зятями, причём один — дважды. Знатный омейяд Утман женился на старшей дочери Мухаммада после того, как её первого мужа принудили развестись; когда она умерла вскоре после Ухуда, он сразу женился на её сестре Умм Кульсум. Сам Мухаммад устроил брак своей младшей дочери Фатимы со своим двоюродным братом и почти приёмным сыном Али.

Этот, на вид, «клубок» браков — часть традиционной и широкой арабской сети родства, которая делает смешным западный «ядерный» образ семьи. Линейное «генеалогическое дерево» тут превращается в густой лес лиан — и очень крепкий, уходящий в будущее. Два тестя — Абу Бакр и Омар — станут первыми двумя лидерами ислама после смерти Мухаммада, каждый признан преемником (халифом), за которыми сразу пойдут два зятя — Утман и Али. Отдавая и принимая в браке, Мухаммад выстраивал матрицу лидерства новой общины.

Но если это было ясно мужчинам, то не обязательно — женщинам, и особенно — самой младшей, самой остроязычной и самой спорной из поздних жён — Айше, дочери Абу Бакра. Если прежде вызовы лидерству Мухаммада исходили от политических оппонентов, теперь один из сильнейших прозвучит пугающе близко к дому.

Конечно, Айша не видела себя «средством альянса», тем более — «одной из многих». Если в чём она настаивала всю жизнь — так в своей исключительности. Начиная с возраста её брака. Она утверждала, что была ребёнком: шесть лет при обручении и девять — при праздновании и совокуплении. При жизни немногие спорили; впрочем, мало кто вообще смел спорить с ней. Как вспомнит один из могущественных исламских политиков: «Не было темы, которую я желал бы закрыть, чтобы она её не открыла; или открыть — чтобы она её не закрыла».

Однако будь Айша и правда столь юна, другие непременно отметили бы это тогда. Вместо этого более сдержанные рассказы называют девять лет при обручении и двенадцать — при браке, что логично: обычай велел выдавать девочек с наступлением зрелости. Но тогда это делало бы Айшу обычной — а это единственное, чем она не желала быть. Язвительная и быстрый ум, она, по крайней мере по собственным рассказам, подшучивала над Мухаммадом — и не только сходило с рук, но и любилось. Будто он дал ей лицензию на девчоночные проделки. Как нежный отец балует избалованную дочь, его забавляли её дерзость и обаяние.

Очарование, видимо, было — дерзость точно. Но временами очарование тончало — по крайней мере для современного уха. Истории, которые Айша позже рассказывала о браке, должны были показывать её влияние и живость, но в них часто слышится жёсткость — молодой женщины, которой лучше не перечить.

Был случай, когда Мухаммад задержался у другой жены, напоившей его «медовым напитком» — вроде арабского сабайона: яичные белки и козье молоко, взбитые с мёдом, к которому он питал слабость. Зная, как он щепетилен к запаху, Айша отвернула лицо, когда он пришёл, и спросила, что ел. Услышав про напиток, сморщила нос: «Пчёлы, что делали этот мёд, должно, паслись на полыни», — и была вознаграждена: Мухаммад отказался от напитка в следующий раз.

Иногда она шла дальше. Когда Мухаммад решил скрепить союз с крупным христианским племенем в испытанном стиле — женитьбой на дочери вождя, славившейся красотой, — невеста прибыла в Медину. Айша вызвалась помочь ей готовиться и, под видом сестринских советов, сказала, что Мухаммад оценит её выше, если в первую ночь она воспротивится, сказав: «Прибегаю к защите Бога от тебя». Невеста не знала, что это формула расторжения; сказав, она была тут же оставлена — и наутро без церемоний отправлена домой.

Вероятно, неизбежно, что когда разразился скандал — из-за потерянного ожерелья — в центре оказалась вспыльчивая Айша.

Это было, конечно, не «любое» ожерелье, хотя могло таким казаться. Просто нить бус. Агат? Коралл? Ракушки? Айша не уточняла — видно, она отмахнулась бы: «неважно». Достаточно — девичье ожерелье, ценимое больше всяких бриллиантов, потому что это был свадебный дар от Мухаммада.

Оно потерялось на обратном пути из северной экспедиции — добиваться поддержки крупного бедуинского племени мусталик. Когда Мухаммад сам вёл такие походы, как этот, он обычно брал одну из жён — и никому не хотелось ехать так, как Айше. Для пылкой подростки это был чистый восторг. С высоты хауда — крытой корзины на седле верблюда — она видела огромные стада коневодов и верблюдоводов северных степей, финиковые оазисы Хайбара и Фадака, лежащие в долинах как вытянутые изумруды; бедуинских воинов далёких племён — для городской девушки они были романтично суровы. А когда переговоры срывались и вспыхивал бой (как теперь), её пронзительный голос перекрывал ряды борющихся, подгоняя своих.

Люди Мухаммада одолели мусталиков, взяв пленных под выкуп или продажу. Было ещё темно, когда начали сворачивать лагерь в последний день пути домой, — как обычно, рассчитывая пройти в утренней прохладе. Перед выходом Айша отошла за пределы стана, чтобы справить нужду за худеньким кустом метёлки. Вернувшись, когда караван уже трогался, она устроилась в хауде — и, коснувшись шеи, поняла: ожерелья нет. Должно быть, нитка зацепилась за ветку, и бусины рассыпались; если поторопиться, их можно собрать. Никому ничего не сказав, она соскользнула и побежала назад.

Даже для такой решительной поиск занял дольше, чем она думала. В полутёмном рассвете все кусты были похожи, а когда нужный нашёлся, пришлось перебирать ворох сухих иголок под ним, выискивая бусины. Когда она вернулась — связав их узлом в подоле рубахи — лагеря уже не было. Считая, что она в безопасности в хауде, отряд двинулся дальше.

Дорога была ясна, а гружёные верблюды идут медленно. Здоровой девушке догнать пешком — дело часа, особенно по утрам, когда ночная прохлада ещё держится. Но вместо этого, по её словам, «я завернулась в рубаху и легла там, где была, зная, что, когда обнаружат пропажу, вернутся». Невозможно было представить, чтобы её отсутствие не заметили. Немыслимо — чтобы караван не остановился и не послал отряд её искать. Если в душе и шевельнулась паника, когда солнце поднялось и она спряталась под скрюченной акацией, — она этого не признала бы. Конечно, её хватятся; конечно, вернутся. Последнее, чего от неё ждут — чтобы любимая жена Мухаммада бежала следом за верблюдами, как бедуинская пастушка.

Но никто никого не послал: никто не понял, что её нет — даже по прибытии в Медину. В гвалте возвращения — разгрузка и стойла, встречи воинов с жёнами и роднёй, отвод пленных — её отсутствие осталось незамеченным. Каждый решил, что она «где-то рядом». И потому Айшу по счастливой — или несчастливой — случайности увидел молодой мединский воин, запоздавший и ехавший один, — разглядев её под той акацией в дневную жару. Его звали Сафван, и, как клялась Айша, движимый рыцарством столь же чистым, как пустыня, он спешил, помог ей взобраться на верблюда — и весь путь, двадцать миль до Медины, вёл животное в поводу. Так все в оазисе и увидели её вечерним въездом: сидящую на верблюде, ведомом красивым юным воином.

Она должна была заметить взгляды — и как люди отступают, не бросаясь с «Слава Богу, ты в безопасности!» Как бы прямо она ни сидела, как бы высоко ни держала голову или ни холодила взором, она видела шепчущиеся языки. И понимала, что

шепчут. Юная жена Мухаммада с ладным молодцом, движущаяся вдоль цепочки деревень долины Медины? Весть облетела быстро: от языка к языку, из дома в дом, из селения в селение. «Ожерелье», говорите... Один на один в пустыне весь день? Почему она легла и ждала, когда могла догнать пешком? Неужели заранее условленный свиданье? Обманула ли Айша Мухаммада — своей живостью и юностью?

Верили ли этому — было уже не важно. Тогда, как и теперь, скандал сам себе награда. Но важнее — он ложился в политический рельеф. Что делали или не делали Айша и Сафван — не суть. В VII-вековой Медине, как и сегодня, видимость сексуальной непорядочности — испытанный способ свалить политика. Вскоре весь оазис захлестнула волна ехидных намёков. У колодцев, в огородах за стенами, в финиковых рощах, в постоянных дворах, на рынках и в конюшнях — даже в самой мечети — люди смаковали «подробности», реальные или выдуманные.

У Мухаммада не было сомнений в невинности Айши. Он пытался игнорировать всё, пока не понял, как коварно это подтачивает его авторитет. Он отправил её в дом отца, пока решал, что делать. Но его юная любимица невольно загнала его в вилку. Разведись — как советовал теперь Али, — это будет означать, что его действительно обманули. Но если вернуть — риск выглядеть слащавым стариком, которому морочит голову девчонка. И так, и так — удар не только по нему, но и по всему его посланию. Невероятно, но будущее новой веры оказалось зависящим от репутации подростки.

Впервые в жизни ничто из того, что могла сказать Айша — а, по словам Ибн Исхака, «она сказала немало», — не помогало. Она пробовала гордое негодование, уязвлённую честь, гнев на клевету — всё без пользы. Годы спустя, всё ещё преследуемая этим, она даже утверждала, что Сафван был «импотентен» — утверждение неоспоримое: к тому времени он давно пал в бою и не мог защитить свою мужественность. Девушка под подозрением, она сделала то, что сделала бы любая: расплакалась. Если в её рассказе о слезах и есть гипербола — простительно: «Я не могла перестать плакать, пока не подумала, что печень лопнет от рыданий».

Положение Айши осложняло и то, что за четыре года брака у неё не было детей. Впрочем, ни одна из девяти женщин, на которых Мухаммад женился после смерти Хадиджи, не забеременела от него. Отсутствие детей — особенно наследника — само по себе плодило разговоры. Смысл множества браков — связывать расширяющуюся умму верующих и союзников, но такие союзы запечатывались

детьми. Смешанная кровь — новая кровь, свободная от старых разделений. Какой толк в браке без потомства?

Любая из поздних жён отдала бы хоть глаз, если не все зубы, чтобы родить ему. Быть матерью его детей — автоматически выше статус, особенно роди она сына, естественного наследника. Несомненно, каждая делала всё, чтобы забеременеть, — особенно Айша. Она завистливо смотрела, как Мухаммад души не чает во внуках — в детях дочерей Хадиджи — и более всего — в Хасане и Хусейне, сыновьях Али и Фатимы. Редкий случай, когда его видели смеющимся, — игры с ними: любящий дед, посадивший их на колени или становящийся на четвереньки, чтобы они скакали на нём верхом. Айша с досадой видела: это — настоящая радость его жизни, не она.

Поздняя бездетность Мухаммада резко контрастирует с четырьмя дочерьми от Хадиджи и сыном, умершим в младенчестве. Поскольку все жёны, кроме Айши, были вдовами или разведёнными и имели детей от прежних браков, их бесплодие маловероятно. Может, вопреки западному образу, гиперсексуализированному, многожён Мухаммад жил целомудренно? Или — с учётом физиологии: полвека в VII веке — это много — возраст притупил влечение или просто сперматогенез? Богословы позднейших веков предложат иное: отсутствие детей — цена откровения. Коль скоро Коран — последнее и конечное Слово Бога, новых пророков быть не может, а значит — и сыновей, наследующих «пророческую» линию. Иными словами, они изящно обошли тему, как богословы часто делают: человек, столь одарённый откровением, выше простой благодати потомства.

Какова бы ни была причина, бездетность Айши её жгла. Как бы она ни шутила и ни развлекала Мухаммада, она не могла дать ему того, что дала Хадиджа. Она могла быть любимицей среди поздних жён, но сколько ни старайся — не соперничать с освящённой памятью той, кого она осмелилась назвать «той беззубой старухой, которую Бог заменил лучшей». И теперь, с обвинением в неверности, она особенно уязвима. Не имея уважения матери, её легко можно было отвергнуть.

Развязка «дела ожерелья» могла прийти лишь благодатью высшей инстанции — и пришла. Когда Айша ещё раз поклялась в верности, Мухаммад вошёл в трансовое состояние откровения. «Когда он пришёл в себя, сел, и с него стекали капли воды, как дождь зимним днём, — вспоминала она. — Он вытирал пот со лба и сказал: “Радуйся, Айша! Бог ниспослал слово о твоей невинности”».

Она была оклеветана, сказал голос Корана. «Клеветники — малая группа среди вас, и будут наказаны. Но отчего, услышав это, верующие мужи и жёны не

помыслили наилучшего и не сказали: “Это явная ложь”? Отчего вы не сочли грехом повторять сказанное теми, кто не знал — думая, что это пустяк, тогда как в глазах Бога — вещь серьезнейшая? Почему вы не сказали: “Это чудовищная клевета”? Бог велит верным не делать такого впредь».

Если бы клеветники говорили правду, продолжал голос, они привели бы четырёх свидетелей прелюбодеяния; отсутствие свидетелей — само доказательство лжи. Оправдание Айши тем весомее, что для обвинения требовалось не один, а четыре свидетеля. Для оскорблённой женщины лучшего исхода не придумать: её честь оправдана свыше, распускавшие слухи — высечены. Но то, что хорошо для неё, плохо обернётся для других женщин.

Со временем эти аяты консервативные богословы истолкуют иначе и обратят против женщин: смешав прелюбодеяние с изнасилованием, они станут утверждать, что обвинение действительно только при наличии четырёх свидетелей — почти невозможных. Если же их нет — включается жуткое «лови-22»: обвиняемый насильник признаётся невиновным, а заявившая — наказывается не только за клевету, но и за прелюбодеяние, ибо, обвиняя в изнасиловании, она будто бы сама свидетельствует о «незаконной связи». Так оправдание Айши станет основой унижения, умолкания и даже убийства бесчисленных женщин после неё.

И сама Айша недолго радовалась. Исключая Хадиджу, ей пока удавалось сдерживать ревность к другим жёнам. Дочь Омара Хафса была известна умом больше, чем красотой (по некоторым сведениям, она сыграла заметную роль в оформлении письменного Корана); Сауда и Умм Салама — та, что одна с младенцем эмигрировала в Медину и стала четвёртой женой после того, как овдовела при Ухуде, — были крепкими матронами среднего возраста. Но теперь Мухаммад взял пятую: Джувайрию, одну из пленниц битвы с мусталиками. «Клянусь Богом, едва я её увидела, как возненавидела, — клялась Айша, признавая её красоту. — Я знала, что Мухаммад увидит её, как я». Но политика — не её сильная сторона. Мухаммад женился на Джувайрии не из-за красоты, а как жест к покорённому племени: оливковая ветвь, декларация, что вражда позади, — и если это и не тот жест, который избрали бы мусталики, они охотно приняли этот. Айша думала страстью, Мухаммад — дипломатией. Пока он не женился снова.

Теперь, казалось, сомнений не было: из желания. Даже приятно-человечно, что мужчина за пятьдесят способен так увлечься. Но и эта история странна, будто придумана подчеркнуть его «мужскую силу» вопреки отсутствию детей. Он пришёл, по-видимому, к приёмному сыну Зайду, но нашёл дома лишь его жену Зайнаб. Ожидая мужа, а не Мухаммада, она была «неприглядно одета», как деликатно

пишет Ибн Исхак. Смущённый видом, Мухаммад стремглав удалился, бормоча: «Хвала Богу, Который склоняет сердца людей!» Услышав, Зайд понял это как знак желания Мухаммада — и, в порыве сыновней преданности (или, по иным версиям, потому что брак и так был не лучшим), развёлся с Зайнаб, чтобы Мухаммад мог жениться на ней.

Это имело бы смысл, если бы брак между отцом и бывшей женой сына не считался инцестом и табу — даже если, как Зайд, сын приёмный. Какова бы ни была реальная история, это не повторение «дела ожерелья». Теперь откровение вмешалось немедленно — пресечь скандал в зародыше. Запрет на брак отца с бывшей женой сына подтвердили, но уточнили: запрет отныне касается «жён ваших сыновей, вышедших из ваших чресл» — то есть кровных, а не приёмных. А поскольку у Мухаммада не было живых сыновей «из чресл», откровение расширило и его отцовский статус: «Мухаммад — не отец кого-либо из ваших мужей; он — Посланник Бога и печать пророков».

Перед лицом божественной санкции острая на язык Айша могла только смириться с браком на Зайнаб, хотя дала понять, что думает: «Воистину, Бог спешит исполнить твои желания», — сказала она Мухаммаду, не замечая, что на фоне её собственного недавнего оправдания через откровение это слегка неблагодарно.

Полностью осознавая напряжение между жёнами, Мухаммад строго чередовал ночи. У него не было своей комнаты: он переходил из комнаты в комнату. Следуя требованию простоты, эти комнаты были, по сути, навесами из пальмовой крыши, рядом вдоль восточной стены мечетского двора, каждая со шторами вместо дверей во двор и почти без мебели, кроме каменного лежака, куда стлали постель на ночь и сворачивали утром. Верующие пристально следили, сколько времени он проводит с кем, чей «медовый напиток» ему милее, в каком он настроении после ночи у кого. Вряд ли можно представить себе «более публичную» частную жизнь — скорее способную к стрессу, чем к распутству, которое с таким завистливым морализаторством рисовали многие учёные Викторианской эпохи.

Другое откровение той поры, кажется, отражает стресс многобрачия. Оно началось с особого дозволения лидеру уммы жениться столько раз, сколько он пожелает: «Этот привилегий — только тебе, не дано никому из верующих». В принципе прочим мужчинам дозволено следовать традиции и брать до четырёх жён. Но — только в принципе. Далеко не поощряя многожёнство, откровение скорее отговаривало: четыре — лишь при полном равенстве в обращении. Но, добавляет Коран, «вы никогда не сможете обходиться с жёнами совершенно равно, как бы ни старались; потому, если боитесь, что не поступите равно — женитесь на одной».

Для него самого этой «единственной» навсегда оставалась Хадиджа. Прошло восемь лет после её смерти, но чем больше росли тяготы лидерства, тем сильнее он, кажется, тосковал по когда-то бывшей моногамии. Теперь его брачная ситуация требовала едва ли не столь же тонкой дипломатии, как и политическая. Вместо источника тепла и поддержки она лишь добавляла стресса — в то время как война с Меккой рвалась вновь, готовя то, что станет самым спорным решением его жизни.

Семнадцатая глава

Как любой достаточно проницательный политический наблюдатель подтвердит, лидеры, испытывающие давление внутри страны, почти всегда могут поднять популярность агрессивной внешней политикой. Эта стратегия вновь и вновь разыгрывалась в истории, и теперь Мухаммад воспользовался ею. Ослабляя оппозицию внутри Медины, он усилил нападения на торговые караваны мекканцев, вынудив курейшитов отказаться от обычного маршрута «север—юг» в пользу длинного и дорогостоящего обходного пути через безводные степи Неджда и далее вверх через юг Ирака. Даже так они оставались уязвимы. Один рейд, возглавленный недавно разведённым Зайдом, приёмным сыном Мухаммада, ударил глубоко в Неджд и захватил целый караван — купцы и стража бежали, спасая жизнь. Поэт Хассан ибн Сабит воспел событие, поддразнивая мекканцев из-за потери торговли: «Прощай, Дамасским потокам, — злорадствовал он, — дорогу преградили битвы». Работы у него было больше, чем у любого сегодняшнего поэта-лауреата, не в последнюю очередь потому, что нужно было прославлять и продолжающиеся убийства критиков Мухаммада — многие из них были соперничающими поэтами. Задача иной раз оказывалась непростой. Одна группа верующих проникла в северный оазис Хайбар и смогла убить жертву во сне, но устроила переполох, когда один из близоруких среди них оступился и скатился по каменной лестнице, разбудив окрест. Нападавшим пришлось укрываться в сточной канаве, часами дрожа и задыхаясь от вони, пока не удалось бежать — зрелище вовсе не героическое, хотя ибн Сабит и восхвалял их как «ночных путников с резвыми мечами, львов отважных в лесной берлоге, что смеются бедам в лицо».

Подобные подвиги, особенно в приукрашенном виде, могли и правда поддержать подупавший дух верующих после почти разгрома при Ухуде, но фактически лишь укрепляли сопротивление Мухаммаду. Лидер мекканцев Абу Суфьян создал коалиционную армию, где видными союзниками стали бедуины Гатафан из Неджда и еврейские племена Хайбара, где изгнанные надиры жаждали вернуть земли и имущество, конфискованные после их изгнания из Медины. В начале 627 года Абу Суфьян приказал всем сходиться на Медину — и на этот раз не собирався

останавливаться на окраине. Целью было вторжение и принудительное прекращение растущей власти Мухаммада.

Но когда по пустыне движутся тысячи вооружённых людей, «виноградная лоза» новостей гудит, и у Мухаммада было достаточно времени подготовиться. Сначала он приказал убрать ранние весенние посевы вокруг Медины, лишив врага корма для коней и верблюдов. Затем взялся за укрепления. Грубые лавовые поля к западу, югу и востоку оазиса были непроходимы для лошадей, но основной подход с севера представлял собой открытую равнину, словно созданную для массовой атаки мощной конницы Абу Суфьяна. Чтобы пресечь эту возможность, все в оазисе — женщины и дети наравне с мужчинами — взялись за лопаты, выкапывая сухую яму-ров, утыканную заострёнными кольями, чтобы пронзить коня любого, кто вздумает перепрыгивать. На каждые шестьдесят футов приходилось по десять копателей, и работа заняла шесть дней. Когда закончили, ров тянулся поперёк всего северного входа в Медину, а вынутый камень и грунт сложили за ним в высокий земляной вал.

Это было последнее, чего ожидали союзные войска Абу Суфьяна. Одна сама мысль о рве — «канаве», как они насмешливо говорили, — казалась «постыдной» и «неарабской», дешёвой уловкой, заимствованной у персов и там же и оставаться должной. В ход полетели насмешки вместе со стрелами. Что это за трусливые воины, прячущиеся за насыпями, которые возводили женщины и дети? «Но за эту канаву, за которую они вцепились, — писал один мекканский поэт, — мы бы их стерли. Испугавшись нас, они притаились за ней».

Насмешки были рассчитаны на то, чтобы выманить людей Мухаммада на открытое место — доказывать храбрость в поединке лицом к лицу, — и многие бы поддались, не настаивай он твёрдо держать позиции за валом. Он оказался прав: несколько вражеских всадников всё же попытались перемахнуть ров в самом узком месте, но были сброшены, когда кони насадились на колья. При всех численностях по обе стороны, Битва Рва — как её назовут — унесла всего пять жизней со стороны Абу Суфьяна и три — со стороны Мухаммада.

Абу Суфьяну оставалось лишь осадить, хотя успеха ожидать было трудно. Осаждать компактный, стенами окружённый город — одно, но Медина всё ещё представляла цепочку деревень, каждая со своей малой крепостью. Полностью перерезать её было невозможно. Осаждавшим оставалось блокировать главный вход и донимать защитников градом стрел. И этого хватало, чтобы играть на нервах мединцев. С вала они видели сотни тревожно мерцающих ночных костров, а днём — постоянную угрозу в виде вражеских лучников, стрелявших как винтовочные

снайперы. «Мухаммад обещал нам мир, — проворчал один из вождей клана, — а теперь никто из нас не чувствует себя в безопасности даже по пути к нужнику!»

Подобные настроения были ровно тем, на что рассчитывал Абу Суфьян, — искать слабые места в поддержке Мухаммада и использовать их. Закулисная возня — переманивание на свою сторону, двойные и даже тройные агенты — была частью войны в VII веке не меньше, чем сегодня. Ночами эмиссары сновали между оазисом и лагерями. В Медине появление любого чужака замечали даже в мирное время, а уж теперь сохранять тайну было почти невозможно — и это тоже было частью стратегии Абу Суфьяна. На взвинченных нервах и нарастающем недоверии молва перерабатывала сверхурочно.

Сначала говорили, что Мухаммад тайно предложил бедуинам Гатафан треть огромного мединского урожая фиников, если они покинут союз под началом мекканцев. Предлагал он это или нет — неважно; одного слуха хватило для распрей. Не все владельцы урожая были рады столь свободному, как говорили, обмену их собственностью. Многие считали, что осада — следствие эскалации Мухаммадом его распри с Меккой, и не видели причин платить за это, тогда как более воинственные верующие громко возражали против того, что считали постыдной попыткой умиротворить Гатафан.

Затем пошёл слух, что Абу Суфьян пытается склонить и «лицемеров», и единственное оставшееся в Медине еврейское племя — курейзу — к созданию второго фронта внутри Медины, обещая полную поддержку, если они восстанут против Мухаммада. Клялись, будто вождя изгнанного клана Надир видели, входящим в крепость курейзы, и слышали, как он пытается «вывернуть горб верблюда», призывая курейзу как единоверцев-иудеев помочь исправить зло изгнания.

Все эти слухи, разумеется, доходили до Мухаммада, но он оказался столь же искусен в психологической войне и умел поворачивать их себе на пользу. Для этого он привлёк Нуайма ибн Масуда, вождя клана Гатафан, который тайно принял ислам. «Мои соплеменники не знают об этом, — сказал он Мухаммаду, — так что прикажи, как поступить». Это казалось даром небес: Нуайм стоял на идеальном месте, чтобы сеять дезинформацию и среди несогласных в Медине, и в лагерях осаждавших. «Сделай так, чтобы они покинули друг друга, — наставил его Мухаммад, — ведь война — обман».

Это хитрое военное изречение справедливо знаменито, но обычно его не приписывают Мухаммаду. «Война — это обман» впервые встречается в китайском

трактате VI века до н. э. «Искусство войны» Сунь-цзы. И хотя мысль о том, что Мухаммад сознательно цитировал Сунь-цзы, интригует, слова, скорее всего, вложил ему в уста ибн Исхак: в космополитической Дамаской среде VIII века работа Сунь-цзы была известна наверняка, но в оазисе Медины VII века — вряд ли. Тем не менее принцип Мухаммад усваивал превосходно, что видно по замысловатой «тройной многоходовке», которую он провернул.

В истории, рассчитанной доставлять удовольствие тем, как ловко проводят врага, Нуайм отправился сперва к курейзе. Уверив, что говорит по глубочайшей тайне и желая им добра, он предупредил: любым заигрываниям Абу Суфьяна доверять нельзя — мекканцев интересует лишь добыча. Получив её, сказал Нуайм, они вернутся домой, оставив курейзу под ударом мести Мухаммада, если те пойдут против него. Значит, им стоит затребовать «заложников» у Абу Суфьяна — как залог верности.

Подстегнув тем самым недоверие курейзы, Нуайм совершил «двойной ход» и добился аудиенции у Абу Суфьяна, сообщив, что курейза решила потребовать мекканских заложников как условие сотрудничества, но на деле верна Мухаммаду. Любых заложников, которых Абу Суфьян даст, они лишь передадут верующим для казни, так что брать таких — безумие. Наконец, для «тройного хода» Нуайм вернулся к своим, к Гатафану, и сказал им, будто курейза потребует не мекканских, а гатафанских заложников — и что их союзник Абу Суфьян в доле.

Как рассказывает ибн Исхак, все отреагировали точь-в-точь по плану. Курейза потребовала заложников как условие сотрудничества, и Абу Суфьян тотчас усмотрел в этом доказательство их верности Мухаммаду. Второй фронт не образовался, и курейза защищала Медину вместе со всеми. Бедуины Гатафан, уверенные, что Абу Суфьян их предал, свернули лагерь и вернулись в свои земли, горько жалея о финиках, которые то ли были, то ли не были им обещаны. Уперевшись в ров и видя распад коалиции, Абу Суфьян был готов ухватиться за любой предлог, чтобы объявить осаду провалившейся. В конце третьей недели природа подала знак.

Ночные температуры в высоких пустынях могут падать на сорок и более градусов ниже дневных, и холод тем горше, чем сильнее контраст с дневным зноем. Но последней соломинкой стал жгучий ветер ураганной силы, завывший с гор, опрокидывая шатры и котлы. «Клянусь Богом, гнутся и гибнут наши кони и верблюды, не держится ни один котёл, не горит ни один наш огонь, не стоит ни одна наша палатка, — объявил он. — Оседлайте — уходим».

Мухаммад снова удержал огромную мекканскую армию, но последователи оценили это слабо. Они оставались полны лютой фрустрации от вынужденной бессилия осады. Как ни успешна была оборона рвом, психологически это шло поперёк привычки. Обвинение врага в «неарабском» поведении — избегать боя, а не бросаться в него — глубоко задевало чувство чести. Даже такому искусному поэту, как ибн Сабит, было трудно сложить положенную героическую повесть из женщин и детей, копающих канаву.

Ни один лидер не может позволить себе отчуждать ядро своей поддержки. Мухаммаду нужно было взбодрить верующих ясным призывом к действию — и он не медлил. На полуденной молитве той же пятницы, всего через пять часов после ухода мекканцев и их союзников, он объявил нового врага: последнее оставшееся в Медине еврейское племя. К нему явился ангел Джибрил, сказал он, и повелел «внушить ужас сердцам курейзы» — в наказание за то, что они вообще помышляли о сотрудничестве с мекканцами.

Почему курейза? Они были далеко не единственные, кто думал, что, не будь агрессивной политики Мухаммада, осады бы не было. Но сравнительно бессильное еврейское племя было удобнее целью, чем «лицемеры», которые, по крайней мере формально, приняли ислам и были рассеяны по мощным аусу и хазраджу. Слухи сделали своё: курейза была уязвима. Это была идеальная цель случая — и теперь они служили выходом для накопленного раздражения — и личного раздражения Мухаммада отказом мединских евреев признавать его пророчество, и раздражения его сторонников после трёх недель вынужденного бездействия под осадой. Где верующие были осаждёнными, они стали осаждающими. В тот же день после полудня они вырвались из мечети, схватили мечи, копья, луки — и окружили поселение курейзы.

Внутри крепости вождь курейзы созвал совет и обрисовал три возможных курса. Первый: отказаться от своей еврейской идентичности, принять ислам и принести клятву абсолютного послушания Мухаммаду как пророку. Второй: предпринять внезапную контратаку в субботу, когда Мухаммад и его люди меньше всего её ожидают. Третий — то, что можно назвать вариантом Масады: мужчинам убить женщин и детей, чтобы спасти их от пленения и рабства, а затем либо убить себя, либо биться насмерть. Но совет пребывал в отрицании. Они гораздо медленнее вождя осознавали глубину беды и спорили, что всё далеко не зашло так далеко. Они давно были союзниками ауса — те, конечно, поручатся за них. И, как обычно, оказавшись под угрозой, они цеплялись за прежний порядок вещей, отказываясь признать, что, как было сказано клану Надир годом раньше, «ислам отменил старые союзы».

Они обратились к аусу, указав, что бок о бок со всеми копали ров. Если и не были среди самых рьяных защитников, то лишь потому, что ров был на северном входе, а их деревня — в восьми милях на юге. Они не действовали против Мухаммада, уверяли они, — поступали как всякое независимое племя: держали варианты открытыми. Но аус молчали — и теперь Мухаммад безжалостно давал понять, что независимость больше не вариант.

Курейза держалась две недели, а затем признала неизбежное — и капитулировала безусловно. Но даже когда их выводили в кандалах, многие цеплялись за надежду. Худшее, чего они ожидали, — это повторение того, что случилось с двумя другими еврейскими племенами до них. Изгнание — одно. Резня — совсем другое.

Кандалы не сулили добра. Вожди ауса понимали это и, наконец, попытались вступить за бывших союзников. По крайней мере можно пощадить их жизни, настаивали они, как пощадили кайнука и надир. Но Мухаммад хотел большего, чем повторение прошлого; на сей раз он, по-видимому, намеревался подать пример на будущее. Не желая раздражать аус тем, что игнорирует просьбу, он сделал вид, будто советуется. «Люди ауса, — возразил он, — удовлетворит ли вас, если кто-то из ваших вынесет приговор курейзе?» Они радостно согласились, решив, что тем самым обеспечили жизнь пленникам. Но выбирать человека из их племени, которому предстояло решать судьбу курейзы, будет не они, а Мухаммад — и едва ли он не прекрасно понимал, что делает, выбрав Саада ибн Муада.

Этот милитарист-жесткач яростно возражал против мысли дать бедуинам Гатафан хоть одну финиковую ягоду, лишь бы снять осаду. «Отдать им наше имущество? — воскликнул он. — Нет, меч!» Кровожадность была вознаграждена кровью. Тяжело раненный стрелой при обороне рва, он умирал — и знал это. Слишком слаб, чтобы идти, его принесли к Мухаммаду на кожаных носилках, и он занял позу умирающего праведника: «Настал час мне — ради Бога — не считаться ни с чьим порицанием». Иначе говоря, именно потому, что он умирает, его решение — будто вне пристрастий. Но его склонность всегда была за меч — и не изменилась теперь, когда он вынес приговор: «Мужчин казнить, имущество разделить, женщин и детей обратить в пленников».

Некоторые исследователи подозревают, что ранние исламские историки придумали роль Саада, чтобы снять ответственность за резню с Мухаммада. Это создавало «правдоподобное отрицание»: можно было утверждать, что это решение не Мухаммада, а Саада, и что Мухаммад был обязан выполнить слово умирающего. Но сама необходимость такой аргументации говорит о болезненном осознании:

случившееся нуждается в оправдании, а значит — по сути неоправданно. Вряд ли Мухаммад поручил бы столь крайнее решение кому-то другому, тем более человеку вне круга старших советников. И даже если он не принял его лично, ясно, что, по меньшей мере, дал согласие. И более того: вместо отмены он сам руководил казнями. Вырыли рвы вдоль главного рынка Медины, и, когда всё было готово, всех мужчин курейзы — «всех, на чьих подбородках проходила бритва», как выразился ибн Исхак, — выводили малыми партиями, ставили на колени у рвов и обезглавливали.

Это была тяжёлая работа. Отсечь голову человеку гораздо труднее, чем позволяют думать лихие боевые повествования того времени. Целые бригады верующих работали сменами — утренней и дневной, отдыхая в полуденный зной. Потребовалось три дня, чтобы объявить дело сделанным и засыпать рвы.

Одни очевидцы говорили о четырёхстах захороненных телах, другие — о девятистах. В любом случае одни лишь числа шокировали. Суммарные потери при Бадре и Ухуде — всего несколько десятков, и то в жару боя; тут, в центре Медины, сотни были методично казнены. Это был демонстративно жестокий акт, волнами прошедший по Аравии. И эффект был именно тот, которого добивались: теперь всем было кристально ясно — никакой терпимости к любым формам несогласия больше не будет.

Всё имущество курейзы — дома, финиковые рощи, личные вещи — разделили между верующими, привычную пятую долю оставив в общую казну. Большинство женщин и детей распределили в рабство, часть увезли в Неджд и продали за коней и оружие. Но одной женщине — Райхане — досталась совсем иная участь. Рождённая в клане Надир, она вышла замуж в курейзу, и эта «двойная принадлежность» могла быть причиной, по которой Мухаммад выделил её — но не для кары. Он сделал Райхану своей седьмой женой.

Едва ли это был союз, согретый любовью — муж и все её мужчины-родственники были на её глазах убиты, — но важным было иное. Этот брак служил заявлением: как бы безжалостен ни был Мухаммад к тем, кто не признаёт его власть, он заботился о создании новых союзов любыми способами. Показав жестокость, пора было строить вновь.

Есть порой тончайшая грань, если не невидимая, между разумом и рационализацией. За века приведены неисчислимые «объяснения» резни курейзы. Утверждали, что они сотрудничали с мекканцами, хотя убедительных доказательств нет. Что для того времени и места это было «обычной практикой»,

— хотя нет. Что Мухаммад не приказывал сам — что верно лишь технически. Что сама курейза «не ожидала иного», хотя большинство явно ожидало. Что Мухаммад «не имел выбора», игнорируя проверенную альтернативу — изгнание. Что цифры казнённых завышены — возможно, но недоказуемо. Даже что резня «оправдана Кораном», несмотря на то, что Коран требует абсолютного прекращения вражды в момент, когда враг сдаётся.

Некоторые мусульманские богословы вообще считают, что резня не могла быть такой, как у ибн Исфаха, — слишком противоречит кораническим ценностям. Некоторые доходили до утверждения, будто рассказ намеренно искажён, чтобы опорочить ислам и сделать из курейзы «мучеников». Действительно, некоторые еврейские исследователи уподобляли курейзу повстанцам Масады, предпочёвшим массовое самоубийство римлянам, хотя курейза как раз этот вариант отвергла. Между тем добронравные христианские исследователи объясняли участь курейзы тем, что «современные западные стандарты войны неприменимы к VII-вековой Аравии», обнаруживая тем самым и живучесть ориенталистской снисходительности, и странную слепоту к ужасам средневековой и даже XX-вековой европейской истории.

Общее у всех таких объяснений одно — отчаянная попытка сделать горькое менее горьким. Трезвый реалист Макиавелли называл это «вопросом о жестокости, употреблённой хорошо или дурно». Но даже мастер реалполитик оказывался пленником своей формулировки: «Мы можем сказать, что жестокость употреблена хорошо — если допустимо так говорить о зле, — когда она применяется раз и навсегда, от нее зависит безопасность, и затем к ней не прибегают, а насколько возможно обращают к благу подданных». Четыре условных оборота в одном предложении — Макиавелли тонко подстилает соломку. Он явно понимал, что это мало что разрешает, и снова возвращался к вопросу: «Правитель должен желать славы милосердия, а не жестокости, но он обязан беречься злоупотребления милосердием». В итоге собственная логика привела его к дурной славе: он утверждал, что жестокость может быть милосерднее милосердия, — и вывел фразу, служившую оправданием репрессивным диктаторам по всему миру: «Сделав один-два показательных примера, правитель окажется милосерднее тех, кто, будучи слишком милосерден, допускает беспорядки, приводящие к убийству и разорению».

Если смотреть через призму нынешнего ближневосточного конфликта, резня курейзы 627 года кажется страшным прецедентом. Поскольку вера и политика переплетены сегодня на Ближнем Востоке так же тесно, как и в VII веке, доводы ранних исламских историй о резне до сих пор приводят — рядом с очевидным

гневом Корана на отказ мединских евреев признать пророчество Мухаммада — чтобы оправдать уродливых «близнецов» теополитического экстремизма: мусульманский антисемитизм и еврейскую исламофобию. Но если взглянуть на политическое положение Мухаммада тогда, возможно, более уместен менее эмоциональный анализ. Резня курейзы была демонстрацией беспощадности, но они были, в некотором смысле, «сопутствующим ущербом». Истинная аудитория этой демонстрации была не они, а все прочие в Медине, кто ещё таил сомнения насчёт лидерства Мухаммада. Если были сомнения, что он действует с позиции силы, — теперь их не осталось.

Принцип так же знаком и спорен сегодня, как и в эпоху Мухаммада: только демонстрацией «жёсткой линии», говорят, лидер может установить авторитет, необходимый для долгосрочных уступок. Аргумент солипсистский — неизвестно, чем бы обернулся «мягкий» подход. Но для Мухаммада, похоже, сработало. Показав готовность к крайним мерам, он получил свободу действовать мирнее — глядя в будущее, а именно — на Мекку.

Восемнадцатая

Вряд ли найдётся в истории возвращение столь символическое, как возвращение Мухаммада в город его рождения. Каждый изгнанник мечтает о возвращении. Не просто «вернуться», а быть встреченным. Быть умышленным вернуться, притом публично — чтобы восстановить справедливость. Место, куда ты возвращаешься, то же — ландшафт, люди, всё, что создаёт ощущение дома, — и всё же преображённое. Само твоё возвращение — знак этого преображения, сигнал надежды на новый старт, лучшее будущее. Этой картиной ты и живёшь в годы изгнания.

Но для Мухаммада не было единого триумфального момента, к которому вела мечта. Ни знамён, ни ликующих толп, ни цветов у ног — и бывшие враги не падали ему на грудь в слезах раскаяния и радости. Его возвращение стало постепенным, столь умело организованным, что к третьему, последнему этапу казалось — речь лишь о завершении, а не о победе.

Началось всё с буквального сна ранним 628 годом. В нём Мухаммад стоял перед Каабой с ключом в правой руке. Голова его была выбрита по-паломнически, и он был в ихраме — традиционной одежде паломника: два бесшовных куска домотканого льна, один опоясывал бёдра, другой лежал на плечах. Проснувшись, он сразу понял, что делать. Он трижды доказал силу на поле боя; теперь он явится

к ним в уязвимости почти наготы. Где сила оружия бессильна, — подсказывал сон, — обезоруживание победит.

Существовало два вида паломничества, оба перешли в ислам. Большое, хадж, совершалось в двенадцатый, последний месяц — зуль-хиджа, «месяц паломничества». Но было и малое — умра, «оммаж», — его можно было совершать в любое время. К досаде мекканцев именно умру Мухаммад и объявил намерение совершить.

Весь Хиджаз загудел от восхищения неожиданной дерзостью хода. Все сразу поняли: этим заявлением Мухаммад не просто блефует мекканцев — он делает это актом абсолютной искренности. Казалось неизбежным, что они попытаются не пустить его в город — но как? Провозглашённые хранители святыни, они строили репутацию на гарантии права паломничества всем желающим. Отвергать паломников — немыслимо; это серьёзная измена общественному долгу, ставящая под угрозу саму их «правомерность» хранителей. Да и как именно не пустить Мухаммада? Всякая вооружённая атака на полуголых паломников — пролить кровь тех, кого они обязаны защищать, — оскорбление самой идеи святыни. Одним лишь намерением совершить базовый акт благочестия Мухаммад поставил мекканцев в «двойную ловушку» их же приготовления.

Семьсот человек проделали с ним десятидневный путь — демонстративно мирной процессией. Они несли не боевое оружие вроде луков и мечей — лишь кинжалы, обязательные в походной выкладке наравне с бурдюками воды. Впереди шли семьдесят откормленных для жертвоприношения верблюдов — каждый отборный, украшенный традиционными плетёными гирляндами и ожерельями. Самым нарядным — и самым узнаваемым — был великолепный верблюд с серебряным носовым кольцом — прежняя гордость врага Мухаммада Абу Джахла, которого Мухаммад выбрал своей долей трофеев после Бадра. Символизм возвращения его в Мекку на заклание был предельно прозрачен.

Как и следовало ожидать, мекканцы выслали конный отряд, чтобы преградить путь в город. Но вместо двух очевидных вариантов — вступить в столкновение или повернуть назад — Мухаммад выбрал третий. Ночью он повёл своих по «жёсткой, каменистой тропе меж каньонов», где кони не пройдут, а затем вывел на низину в Худайбии, в нескольких милях к северу от Мекки, где одинокая большая акация давала тень зимнему водоёму. Они пришли до рассвета и развели костры, зная, что дым покажет, где они. Им ведь нечего было скрывать. Они — паломники, пришедшие с миром, а не со злобой. На рассвете они спутали верблюдов, отложили кинжалы и принялись умываться и облачаться в ихрам. К тому времени,

как мекканская конница настигла их, они были готовы идти в город, как велит обычай, пешими.

Кавалерии оставалось лишь преградить путь. Их встретили не боевые кличи, а паломнический возглас: «Лаббайка-Аллахумма лаббайка» — «Вот я, о Боже всех людей, вот я». Не декларация войны, а декларация веры массой людей безоружных, неподдающихся — и неподвижных. Они останутся здесь, объявил Мухаммад, столько, сколько понадобится, пока мекканцы не позволят войти в город. Они лишь хотели мирно завершить паломничество. Но сама мирность была вызовом.

Командир эскадрона послал гонцов в город, выпрашивать указания, и Абу Суфьян созвал экстренный совет. Но они были в тупике: пропади они пропадом, пустят Мухаммада — пропади они пропадом, не пустят. Их dilemma усугубилась, когда собственные бедуйские союзники встали на сторону Мухаммада. «Не на таких условиях мы вступали с вами в союз, — сказал один вождь. — Чтобы вы отгоняли тех, кто пришёл почтить Дом Бога? Либо дайте Мухаммаду исполнить его намерение, либо мы уйдём — увозя всех наших людей».

С чьей точки ни гляди, получился либо «сидячий протест», либо «лок-аут». Что-то должно было сдвинуться, и Абу Суфьян должен был понимать: это будет не Мухаммад. Единственным выходом были переговоры, и последующие дни высокопоставленные посланцы въезжали и выезжали между городом и Худайбией — кто явно, кто исподтишка, пытаясь убедить ту или иную группу сторонников Мухаммада отказаться от затеи.

В ответ Мухаммад призвал к обновлённой клятве верности всех, кто был с ним. По одному подходили они к нему, сидевшему под акацией, брали его руку, прижимали предплечье к предплечью и торжественно возобновляли присягу, клянясь повиноваться Мухаммаду как Посланнику Бога. Церемония произвела сильное впечатление на одного из мекканских послов. «Клянусь Богом, — доложил он, — если Мухаммад откашляется, и капля слюны упадёт на кого-то из них, он смажет ею лицо своё. Если он отдаёт приказ, они состязаются, кто исполнит первым. Если он совершает омовение, они едва не дерутся за воду, что он использовал. Если в его присутствии говорят, понижают голос из уважения к нему. Что он предлагает — разумно, и нам стоит принять».

Похоже, так и было, но тогда их сочли бы капитулировавшими — а это исключено. И Абу Суфьян, и Мухаммад должны были «сохранить лицо» — и каждый признавал нужду другого. Но если Мухаммад понимал это с самого начала, то видел и то, что

многие его сторонники — нет. Потому-то он и призывал к обновлённой присяге под акацией: он хотел быть уверен, что при любом исходе люди примут его. Но и эта уверенность подверглась испытанию.

На первый взгляд соглашение, которое он «выколотил» с мекканским советом, выглядело уступкой. Известная как «Худайбийское перемирие», она предписывала: никаких вооружённых столкновений между Меккой и Мединой на ближайшие десять лет; все мединские набеги на караваны мекканцев прекращаются. Между тем любое племя свободно примкнуть к любой стороне; если прежде оно было с Меккой или с Мухаммадом, теперь оно вправе перейти без наказания. Но умры не будет — не в этом году. Мухаммад и верующие должны повернуть назад — чтобы никто не мог сказать, что он принудил Мекку. Взамен Мекка позволит ему войти и совершить умру через год.

Это было не то, чего ожидали семьсот паломников-бывальцев, особенно из мухаджиров. Они были уверены, что на пороге долгожданного возвращения — а теперь им предстояло, как казалось, «бесславно» отойти. Тонкости соглашения от них ускользнули — особенно пункт, освобождавший бедуинские племена от прежних союзов и позволявший им выбирать между Меккой и Мухаммадом, тем самым признавая власть Мухаммада на уровне Мекки. Даже старшие советники разделились. Абу Бакр и Али видели дальние преимущества; воин Омар — одну лишь слабость. Они прошли весь путь, чтобы отделаться обещанием «в следующем году»? Вот и всё, что получаешь за отказ от войны? Голос Омара был самым громким, но далеко не единственным. «Когда они увидели, что увидели, — пишет ибн Исхак, — перемирие, отступление и обязательства, которые Мухаммад взял на себя, — они так опечалились, что были близки к отчаянию».

Если Мухаммад и был разочарован, он виду не подал. Не скажешь, принял ли он соглашение в паломнической кротости и смирении — или знал, что получил ровно то, чего хотел, и, возможно, больше. Пока он преподнёс его как испытание веры. «Будьте терпеливы и держите себя в руках, — сказал он, — Бог даст облегчение. Мы дали — и нам дали — обещание именем Бога. Мы не можем лукавить и нарушать слово».

Он видел, что им нужно больше. Они пришли так далеко, с такой верой и ожиданием; слишком многого требовать — просто повернуть обратно, ведомым семьдесят жертвенных верблюдов. Вместо этого они сделают то, ради чего пришли. Если нельзя совершить паломничество в самой Мекке, они сделают это здесь, в Худайбии. Он поднялся и велел: «Встаньте, приносите жертву и брейте головы».

Но никто не двинулся. Верно, ослышались. Как можно совершить обряды не в святилище Каабы? Что это за «суррогат» паломничества? Даже когда Мухаммад повторил приказ во второй раз — и в третий — все сидели, остолбенев.

Если в нём вспыхнул гнев от явного нарушения присяги повиновения, данной лишь что, он не выказал его. Если он на миг уступил отчаянию, внешне это не проявилось. Вместо этого Мухаммад удержал все взгляды: поднял кинжал и подошёл к верблюду с серебряным кольцом — прежней гордости Абу Джахля. Все разинули рты, когда он вслух воззвал к Богу принять жертву, запрокинул голову зверю, оголив яремную вену, полоснул кинжалом и перерезал горло.

Их оцепенение рухнуло, когда кровь хлынула в песок, и крики хвалы прокатились по всему стану. Мухаммад позвал помощника — обрезать его длинные косы и обрить голову в знак совершения паломничества — и сотни ринулись следовать ему. Один из них позже клялся, что когда всех обрили, взметнувшийся ветер поднял кучу прядей, кос и понёс их на девять миль — к самой Каабе — как знак, что жертва принята Богом.

Со временем Худайбийское перемирие станут считать стратегическим шедевром Мухаммада. Ибн Исхак напишет: «Не было в исламе победы больше этой. Прежде были одни битвы; а когда перемирие свершилось и война сложила бремя, все почувствовали себя в безопасности, стали встречаться для разговора и спора; и все, у кого был разум и кто услышал об исламе, приняли его». И бедуины, и мекканцы тонко ощутили сдвиг баланса сил, и многие теперь открыто поддерживали Мухаммада. А если кто-то из мухаджиров, бывших с ним в Худайбии, ещё сомневался в его мудрости, кораническое откровение на обратном пути в Медину фактически заставило умолкнуть: «Доволен Бог верными, когда они клялись тебе под деревом верности; Он знает, что в их сердцах, и ниспослал спокойствие им... Он удержал руки враждующих с вами — в знамение для верных. Им предстоят ещё многие дары».

Если война — обман, то и мир — в каком-то смысле — тоже. Разоружив своих, Мухаммад фактически разоружил мекканцев, загнав их в классическую «игру с нулевой суммой», где компромисс — единственное решение, и всякий компромисс — ему на пользу. За одиннадцать веков до знаменитой формулы Клаузевица, что война — продолжение политики иными средствами, Мухаммад показал обратное. То, чего не добилась война, сделает политика. Бескровное противостояние не только вынудило Мекку accommodate его; оно стало для всей Аравии публичной

демонстрацией, что он и его последователи более верны «обычаям отцов», чем сами мекканцы.

Ни Ганди, ни Макиавелли не справились бы лучше. Мухаммад перевернул условия столкновения, превратив видимую слабость в силу. Он доказал себя столь же действенным без оружия, как и с ним — и использовал язык мира столь же мощно, как язык войны. И именно эта двойственность и будет так смущать и критиков, и сторонников — тогда и теперь. В VII веке или в XXI-м он рушил примитивные схемы тех, кто пытался припечатать его как «пророка мира» или «пророка войны». Это не «или/или». Сложный человек, вырезавший гигантский профиль в истории, его видение шло дальше кажущихся непримиримых противоположностей. Он позволил себя развернуть от Мекки, понимая, что на самом деле завершил первый этап возвращения.

С мекканским перемирием на руках Мухаммад принялся закреплять то, что считал своим тылом на севере. Лишь через месяц после возвращения в Медину он возглавил поход из шестнадцати сотен человек против Хайбара — богатейшего оазиса северного Хиджаза. Его огромные финиковые плантации делились между семью еврейскими племенами, каждое со своей крепостью. Когда Абу Суфьян вёл громадную армию на Медину — с её похожей системой крепостей — он осаждал и потерпел неудачу. Теперь Мухаммад показал почти учебник, как надо. Сначала он обеспечил нейтралитет бедуинов-союзников Хайбара — Гатафан: финики, которых они не получили при осаде Медины, теперь станут платой за невмешательство. Затем вместо попытки осадить весь Хайбар он взялся за крепости по порядку. Начиная со слабейших, сдача за сдачей — и всё тем легче, что условия он предлагал на удивление великодушные сравнительно с теми, что выпали мединским евреям. Однажды показав, насколько суров он может быть, нужды повторять крайности не было.

С учётом того, что им могло грозить, кланы Хайбара охотно согласились: признали политическую власть Мухаммада и его покровительство, принесли клятву поддержки и уступили половину годового дохода в виде налога Медине. Сделку вновь скрепили браком. Сафийя, прекрасная семнадцатилетняя дочь главного вождя Хайбара, стала не только восьмой женой Мухаммада, но и второй его женой-иудейкой.

Закрепив Хайбар, он двинулся к меньшему, но также еврейски-доминированному оазису Тайма — на полпути между Мединой и древним некрополем Петрой, ныне южная Иордания. Тамашние племена не оказали сопротивления и в обмен получили условия даже щедрее хайбарских. С основными осёдлыми районами

северного Хиджаза твёрдо выстроенными за ним, оставалось лишь время, чтобы и все бедуины региона признали власть Мухаммада. А к югу — Мекка. Он был готов ко второму этапу возвращения.

В феврале 629 года он отправился с двумя тысячами сторонников на обещанную умру — вошедшую в историю как «Малая умра исполнения». Он вёл путь, верхом на Касве — рассечённоухом верблюде, на котором въехал в Медину семью годами ранее и дал ей волю идти, пока та не опустилась на колени в месте будущей мечети. Та, что вынесла его в изгнание, теперь везла назад.

Абу Суфьян сдержал данное годом ранее слово. Как согласовано в Худайбии, курейшиты отошли от Каабы и дали свободный доступ Мухаммаду и его людям. Мечта о возвращении, преследовавшая его днём и ночью годы, сбылась — он снова ступил на землю родины.

И всё же вместо пространного рассказа, которого можно было бы ждать, ранние исламские историки описали событие удивительно кратко. Обычно многословный ибн Исхак посвятил этому всего страницу, где уместно было бы с десяток. Он бегло излагает, как Мухаммад подъезжает к Каабе, касается Чёрного камня посохом, затем спешивается, обходит святыню, приносит жертву и бреет голову. Чувствуется явный недо-климакс. Точнее — пред-климакс. Будто паломничество, совершённое с молчаливой уступкой курейшитов, было «не вполне» настоящим. Если совет курейшитов сдержал слово и терпел вход Мухаммада с сжатыми губами, то точно не приветствовал его. Настоящее возвращение ещё впереди.

А сам Мухаммад? Чувствовал ли на себе ненавидящие взгляды, въезжая по знакомым переулкам? Понимал ли, что многие ещё желают ему зла, даже когда он совершает священные обряды? Или всё это стиралось чистой радостью вновь связать себя с родиной семикратными обходами Каабы — подтверждением телом того, что он знал душой всегда: он вернётся, каковы бы ни были шансы? Достоверно лишь то, что он пробыл все три отведённых дня и что очевидная искренность его паломничества привлекла на его сторону многих мекканцев — если не открыто, то молчаливо.

Его дядя Аббас, к примеру — ведущий банкир Мекки, который старательно держался подальше от племянника последние семь лет, — засвидетельствовал брак своей деверевы Маймуны с Мухаммадом в третий день умры, тем самым публично обозначив, что, если он и не принял ислам открыто, то движется к этому. Он был не единственным, кто чуял, куда дует ветер. Маймуна приходилась тёткой одному из верховных военачальников Мекки — Халида — и когда Мухаммад и его

люди ушли по окончании третьего дня, Халид и другой командир, Амр, присоединились к ним. Оба были приняты в Медине с распростёртыми объятиями — как блудные сыновья, несмотря на то, что Халид водил конницу мекканцев против Мухаммада и при Ухуде, и в Битве Рва, и нес, стало быть, ответственность за гибель нескольких верующих. Теперь это осталось позади, уверил его Мухаммад, сказав, что принятие ислама «стёрло все долги». И впрямь, Халид станет столь прославленным полководцем мусульман, что получит прозвище «меч Божий».

Но важнее всего был ещё один публичный человек, с которым Мухаммад говорил в те три дня в Мекке. Должно быть, они встречались скрытно — учитывая напряжение вокруг его присутствия, — но встречались наверняка, потому что вскоре после возвращения в Медину Мухаммад женился в девятый раз — на вдове Умм Хабибе, которая была дочерью того самого лидера мекканского совета — Абу Суфьяна. Она некогда бросила вызов отцу, рано приняв ислам, но время вызовов миновало. Речь шла о сближении. Как бы тихо это ни было сделано, согласие Абу Суфьяна на брак дочери теперь связывало его с Мухаммадом. Тестю и зятю предстояло договориться об условиях третьего и последнего этапа возвращения Мухаммада в Мекку.

Всего полгода спустя Худайбийское перемирие было оспорено: давний спор между двумя бедуинскими племенами вспыхнул с новой силой — подброшенный «ястребами» в мекканском совете, искавшими любой предлог разрушить перемирие. Поскольку одно племя было союзником Мекки, а другое — Мухаммада, конечная ответственность за их действия ложилась на покровителей — и Мекка с Мединой опять оказывались на ножах. Так и вышло: убив двадцать противников, бойцы союзного Мекке племени бежали в священный город, требуя защиты. В ответ союзники Мухаммада потребовали принудить Мекку выдать укрываемых.

Очевидно, что Мухаммад был бы прав, взявшись за оружие в защиту союзников, поэтому на сей раз Абу Суфьян проделал десятидневный путь из Мекки в Медину. Человек, осаждавший Медину всего три года назад, теперь вынужден был умолять Мухаммада о сдержанности — апеллируя к тому, что лишь с его помощью он сможет удержать «ястребов» дома.

Ибн Исхак и ат-Табари не сохранили нам слов ответа Мухаммада. Более того — они подчёркивают, что он будто бы отказался вообще отвечать Абу Суфьяну. Но это выглядит не просто непродуманно — крайне маловероятно. Бывшие враги успели проникнуться взаимным уважением — не только как родичи по браку, но и как люди чести. Даже на войне Абу Суфьян вел себя достойно — извинялся за

надругательство Хинд над телом Хамзы при Ухуде. Он видел преданность Мухаммада во время умры и понимал, что его поведение скорее соответствует духу и традициям священного города, чем поведение многих мекканцев. Но прежде всего он был реалистом. Если кто в его совете и не осознавал ещё, что их дни сочтены, сам Абу Суфьян понимал это точно. С командирами вроде Халида и Амра теперь среди ближайших советников Мухаммада сомнений не оставалось: захватить Мекку силой он сможет, реши он так. Единственное, чего добились «ястребы», — приблизили конец владычества курейшитов.

Вопрос был лишь «когда» и «как», и это-то Абу Суфьян и Мухаммад и оговорили — тихо и тайно. Так, в сущности, и сегодня заключают договоры. Публичные встречи происходят лишь после того, как основные условия согласованы в закрытых сессиях — вдали от любопытных глаз и сплетен. Там проверяется осмотрительность и медленно, с трудом выстраивается доверие. Будучи политически мудрым, ты встречаешься публично лишь с гарантиями благоприятного исхода — и об этих гарантиях тогда и договаривались Абу Суфьян и Мухаммад. По сути они написали сценарий сдачи Мекки.

Для всех прочих конец наступил резко. Как только Абу Суфьян вернулся в Мекку, Мухаммад начал мобилизацию. Он созвал контингенты всех бедуинских союзников и 1 января 630 года двинулся на юг. К моменту, когда его армия встала лагерем в однодневном переходе от Мекки, её численность выросла до десяти тысяч — за счёт тех, кто боялся расплаты или хотел оказаться на «правильной стороне истории». Или и того, и другого.

Дальнейшее, несомненно, было заранее оговорено. Абу Суфьян выехал из Мекки и въехал в мединский лагерь на приметном белом коне, принадлежавшем Мухаммаду, — знак его нахождения под защитой Мухаммада. Никому, даже самому горячему, не пришло бы в голову тронуть волосок на голове того, кто сидит на этом животном. Это была заранее назначенная встреча — для протокола. И на этот раз слова их записали.

Обмен между ними, отнюдь не враждебный, больше напоминал шутливую пикировку: с печальной добродушностью со стороны Абу Суфьяна и почти подтрунивание — со стороны Мухаммада. «Увы, Абу Суфьян, — сказал он, — не настала ли пора тебе признать, что нет божества, кроме Бога?» — «Да будут отец мой и мать мои искуплением за тебя, — ответил тот, — ты терпелив и великодушен. Если бы был иной бог с Богом, думаю, он помог бы мне хоть чем-то до сих пор».

Нетрудно представить, как Мухаммад улыбнулся — пусть внутренне — и надавил: «Не настала ли пора признать, что я — Посланник Бога?» — «Я и правда думал об этом», — сказал Абу Суфьян. И, переходя на формальную третью персону, добавил: «Тот, кто с Богом одолел меня, — это он, кого я всеми силами гнал прочь». При этом Мухаммад как бы игриво толкнул его кулаком в грудь: «И правда гнал!»

Тут же глава Мекки формально принял ислам, произнеся шахаду: «Свидетельствую, что нет божества, кроме Бога, и что Мухаммад — Его Посланник». Он поручил себя и свой город защите Мухаммада, и тот поклялся обеспечить неприкосновенность жизни и имущества всем, кто не будет сопротивляться при входе его сил. Мекка формально сдалась.

Абу Суфьян получил безопасный провод назад в город и прямо направился к Каабе — объявить условия капитуляции. «Люди курейша! Мухаммад пришёл к вам с силами, которым вы не противостанете, — провозгласил он. — В безопасности будет всякий, кто войдёт в мой дом, и всякий, кто войдёт в святилище Каабы, и всякий, кто останется у себя дома, заперев дверь и удержав руку от действия против Мухаммада».

Но даже близкие не все могли принять это — меньше всех Хинд. Оправдывая свою грозную репутацию «печенкозубицы» Ухуда, она подскочила, схватила мужа за бороду на людях и обвинила его в трусости: «Убейте эту жирную, сальную бурдюку жира! Вот уж вождь для народа!» Абу Суфьяну пришлось отмахиваться от неё, вновь обращаясь ко всем: «Горе вам, курейшиты! Не дайте ей сбить вас с пути — вы не устоите перед тем, что грядёт».

Большинство мекканцев было, мягко говоря, реалистами. В основном те, кто не приветствовал сдачу Мухаммаду, по крайней мере смирились с неизбежным. Но были «ястребы», решившие биться, несмотря ни на что, — и в лагере Мухаммада это отлично понимали. Они засыпали его вопросами: что если, войдя, они столкнутся с нападением, несмотря на уверения Абу Суфьяна? Если на них нападут, можно ли ответить тем же, невзирая на запрет на бой в святилище? Но что, если они кого-то убьют на священной земле? Не окажутся ли они «обитателями огня», то есть в аду?

Ответ пришёл в новом откровении. Да, сказано было, вам дозволено применить силу на священной земле — но лишь в последнюю очередь. То есть только если враги попытаются не допустить вас к Каабе и только если первыми нападут. Никакой инициативы насилия. Надлежит дать мекканцам все возможности сдаться

мирно; и абсолютно никакого грабежа и иного ущерба имуществу: ни добычи, ни трофеев. Вы входите в священный город — ведите себя соответственно.

Утром следующего дня, 11 января 630 года, Мухаммад сделал Мекку своей. Он разделил войско на четыре колонны, каждая входила с собственной стороны. Только южная, под командованием Халида, встретила сопротивление — один из его всадников был убит; двенадцать нападавших быстро пали, прочие бежали. «Фатх» — дословно «открытие» Мекки, слово, которое позже станет означать «завоевание» или «победу», — свершился.

Сторонники Мухаммада заполнили переулки, он въезжал — и они славили Бога. Мекканцы, укрывшиеся в святилище, подхватывали — будь то из надежды или от страха — неясно. Он был уже не враг, не терпимый пришелец — правитель. Человек, выросший на окраине мекканского общества, стал его центром; изгнанник превратился в «великого своего». Когда он коснулся Чёрного камня в углу Каабы и воскликнул «Аллаху акбар!» — «Бог велик!» — клич понёсся по всему городу. Он отозвался в переулках и отзвоном пошёл по окружающим горам — словно говоря, что дело не в том, что Мухаммад вернулся в Мекку, — а в том, что Мекка вернулась к себе. И это было его послание, когда он взошёл по ступеням к двери Каабы и обратился к толпе.

«Нет божества, кроме Бога, и нет Ему сотоварища, — провозгласил он. — Он исполнил обещание и помог Своему слуге. Он один обратил в бегство тех, кто сговорился против Его слуги». Это — новое начало, рассвет просвещения: «Люди курейша! Бог отнял у вас гордыню джахилии» — предисламской «темноты». Отныне праву привилегий конец. В исламе все равны, и Мекка больше не феод удела узкой элиты: «Вот — всякая притязаемая привилегия наследия, кровью или богатством, отменяется. Она — прах под вашими ногами». И затем, глядя вниз на поднятые лица, спросил напрямик: «Люди курейша, что вы думаете, что я намерен сделать с вами?»

Вопрос был риторическим. Он знал, чего они опасались: расправы, порабощения, конфискаций. «Лишь доброе», — ответила толпа, — «ибо ты — благородный брат племени и сын благородного брата племени». И если прежде они так мало ценили его «благородство», что прогнали его из племени, теперь они не только принимали его назад как «одного из нас», но и наперебой провозглашали его своим лидером и Посланником Бога.

Мухаммад вырос до момента. «Кровопролития меж нами больше не будет, — провозгласил он. — Бог сделал Мекку святой в день Сотворения небес и земли, и

она — святая святынь до Дня Суда. Недозволительно никому, кто покоряется Богу и верует в День Суда, проливать здесь кровь. Не было дозволено никому до меня — и не будет дозволено никому после меня».

Предстояла всеобщая амнистия. «Ступайте, — сказал он, — ибо вы — освобождённые». И слово, которое он употребил — ат-тулака', «освобождённые», — звучало многозначно. Свободные не только от физических уз — кандалов и верёвок, — но и от уз мрачного прошлого. Он говорил: это не завоевание, а освобождение: революция, достигнутая мирно — и мирно принятая.

И с этим — почти в точности через два года после того, как он впервые увидел это во сне — он взял ключ от Каабы в правую руку, повернул его в замке — и вошёл.

ЧАСТЬ 3. ПРЕДВОДИТЕЛЬ

Девятнадцатая глава

Девятнадцатая

О чём мечтает человек, когда мечта уже осуществилась? Вот уже восемь лет Мекка была магнитом жизни Мухаммада — центром молитвы, борьбы, всех мыслей о будущем. И теперь она принадлежала ему. После стольких лет сопротивления и притеснений мечта изгнанника сбылась: не просто возвращение, а возвращение в атмосфере всеобщего признания. И всё же Мухаммад не упивался ни победой, ни лёгкостью, с которой она досталась.

Ранние историки не передают ни восторга, ни подъёма. Напротив, ощущается почти разочарование — и нетрудно понять почему. Когда шестидесятилетний человек внезапно достигает того, чего более всего желал, в нём нет того триумфализма, которого можно было бы ожидать от более молодого. Величие свершённого омрачает некая печаль: он понимает не только, через что пришлось пройти, чтобы прийти к этому, но и сколько ещё потребуется в будущем. Вступая в Каабу, Мухаммад, должно быть, почувствовал всю тяжесть совершённой революции и осознал, что осуществлённая мечта — это лишь пробуждение к более сложной реальности.

Ближе всего к тому, что он, вероятно, ощущал, подводят воспоминания другого человека, который сумел добиться невозможного. В 1989 году драматург и бывший диссидент Вацлав Гавел стал президентом Чехословакии после падения коммунистического режима и провёл первые за многие десятилетия свободные выборы. «Это было время возбуждения, стремительных решений и бесконечных импровизаций, — вспоминал он, — совершенно захватывающее, даже авантюрное время. Это была, в некотором смысле, сказка. Слишком многое могло пойти наперекосяк. Мы шли по совершенно неизвестной местности. И у нас не было ни малейшего основания верить, что она не провалится у нас под ногами. Но этого не произошло. И настало время, когда действительно было чему радоваться. Революция со всеми её опасностями была позади, и впереди открывалась перспектива строить демократическое государство, в мире. Может ли быть более счастливый момент в жизни страны, столь долго страдавшей от тоталитаризма?

«И всё же, — продолжал Гавел, — именно в тот славный исторический миг со мной случилось нечто странное... Я пребывал в каком-то глубоко подавленном состоянии. Я чувствовал себя странно парализованным, внутренне пустым. Давление волнующих событий, которое до тех пор придавало мне удивительную энергию, внезапно исчезло, и я ощутил усталость, почти неуместность. Поэзия закончилась и началась проза. Только тогда мы осознали, насколько трудна и во многом неблагодарна работа, что ждала впереди, насколько тяжёлое бремя мы взвалили. Только теперь мы смогли оценить вес той судьбы, которую выбрали».

Именно это чувствуется и у Мухаммада: вместо ликования — внезапная ноющая усталость. Он уже не мятежник, не видящий радикал, а человек, совершивший, казалось бы, невозможное всего за два десятилетия. Но сколько энергии может быть у одного человека? Плата за двадцать лет была видна в глубоких морщинах у глаз и на щеках, в морщинистом лбу, сведённом от головных болей, которые с ранения при Ухуде становились всё сильнее. Теперь, входя в Каабу, он должен был понимать, что требования управления зарождающимся государством только усилят эту изнурённость, и чувствовать, что с этого момента тело начнёт сдавать.

Как бы то ни было, держался он с необычайной сдержанностью. Хотя привычный образ рисует его демонстративно сокрушающим идолов внутри Каабы, никаких исторических свидетельств этому нет — не в последнюю очередь потому, что святилище почти наверняка было свободно от каких-либо изображений. Ни ибн Исхак, ни ат-Табари не приводят подробностей о том, что произошло, когда он повернул ключ и вошёл внутрь — и, возможно, так и должно быть. Это был личный момент, не записанный: можно лишь представить, как он закрыл за собой дверь, приветствуя тишину, когда мужские крики и женские радостные причитания стихли за толстой каменной стеной, и он снова оказался один, шепча во тьме тихую молитву хвалы и благодарения. Хотя он ещё не знал этого, это было одним из последних частных мгновений, на которые ему будет позволено рассчитывать.

Он вышел, чтобы торжественно посвятить Каабу единому Богу, затем велел разбить тотемы в окружающем её precinct и поехал на близлежащий холм Сафа. Там он сидел три дня, пока мекканцы выходили из своих домов и выстраивались, чтобы принести клятву верности Богу и Мухаммаду как его посланнику. Среди них, ближе к концу третьего дня, была элегантно одетая женщина, закрывшая лицо покрывалом. Заговорила она лишь когда подошла её очередь приносить присягу — и тогда стало ясно, кто это и почему она скрывала лицо. Это была жена Абу Суфьяна — Хинд, та самая женщина, что столь ужасно изуродовала тело Хамзы при Ухуде.

На собрание опустилась напряжённая тишина — все ждали, как Мухаммад поступит с ней, ловя каждое слово их напряжённого обмена репликами. «Прости мне прошлое, — взмолилась она человеку, которого совсем недавно публично называла бурдюком, полным сала, — и Бог простит тебя».

«Ты не станешь изобретать клеветнические рассказы», — ответил Мухаммад, приглядываясь к ней. Она возразила новой просьбой — о прощении или, по крайней мере, о забвении. «Клянусь Богом, — сказала она, — клевета постыдна, но иногда её лучше игнорировать».

Он испытал её ещё: «Ты не ослушаешься меня в исполнении приказов делать добро». И тут её ответ прозвучал нетерпеливо, если не дерзко: «Мы не стали бы сидеть здесь столько времени, ожидая, чтобы принести присягу, если бы собирались послушаться тебя в таких вещах». Но, возможно, она почувствовала: что бы она ни сказала, если только не проявит открытой враждебности, Мухаммад не намерен мстить ей.

Коран настаивал на прощении бывших врагов, раз они приносят присягу. И если клятва Хинд была явно далека от горячей, он всё равно принял её — возможно, уважая её прямооту больше, чем самую униженную декларацию покорности. Это был шанс исцелить старые раны, и он слишком хорошо знал, что исцеление требует времени. Резня курейзы уже показала, что он способен на безжалостность, когда считает это необходимым; доказывать это вновь он не нуждался. Напротив, отказ от мести даже там, где она казалась оправданной, создавал чувство долга и лояльности куда более надёжное, чем то, что можно получить силой. Великодушие работало именно потому, что было неожиданным.

Кроме того, публичное прощение Хинд тем крепче связывало с ним её мужа Абу Суфьяна — а это было необходимо, если его видение единства должно было осуществиться. Он не рассматривал случившееся как завоевание по принципу «победитель забирает всё», а как воссоединение того, что никогда не следовало разделять. Он видел не принудительное подчинение побеждённых, а новый союз добровольно присоединившихся — в котором старые вражды отменены, и всех желающих принимают в умму на равных. Соответственно он отверг возражения Омара и других ведущих советников, принял просьбу Хинд о прощении и, что называется, протянул руку через «проход» — назначил ведущих мекканцев на высокие административные и военные посты. Среди одарённых был не только сам Абу Суфьян, но, примечательно, и его сын от Хинд — Муавия.

Сознательно или нет, Мухаммад вновь формировал будущее руководство ислама. Муавия стал одним из его писцов, а через несколько лет занял влиятельный пост наместника Сирии после того, как эта огромная провинция перешла под власть

мусульман. Но на этом его восхождение не остановилось: всего через девятнадцать лет после смерти Мухаммада, когда Али, к тому времени четвёртый халиф, был убит, Муавия утвердился во главе всей мусульманской державы и основал династию Омейядов со столицей в Дамаске. Его мать к тому времени будет уже мертва, но, будучи аристократкой до конца, Хинд, несомненно, сочла бы вполне уместным, что её сын и его потомки заняли халифат.

Если большинство других мекканцев не удостоились подобных милостей, то, по крайней мере, против них не последовало расправ — или почти не последовало. Единственным исключением были двенадцать поимённо названных людей, среди них — четыре поэтессы, чьи сатиры особенно раздражали, и один мужчина, который, казалось, не мог питать к Мухаммаду ничего, кроме ненависти: Икрима ибн Абу Джахль, сын его давнего противника — «отца тьмы». Сообщалось, что Мухаммад приказал убить этих двенадцать «даже если они окажутся под завесами самой Каабы», если только они не испросят прощения. Половина из них сделала именно это и приняла ислам — причём никто не примечательнее и с большим видимым эффектом, чем Икрима: Мухаммад затем назначил его на высокий административный пост в Мекке, превратив сына яростного врага в неотъемлемую часть нового согласия.

Так всё и было сделано, казалось. Город, изгнавший его, теперь формально принадлежал ему. Всё, что Мекка так долго отвергала, было принято — и почти без кровопролития. И всё же, разумеется, на этом ничего не заканчивалось.

[Автор: примечание «отец тьмы»; см. прежний вопрос о «джахилии»]

Никогда не бывает точки, где можно сказать: «Вот, закончено!» Менее чем через две недели после того, как он вошёл в Мекку победителем, Мухаммаду пришлось сразиться ещё раз. На этот раз — не с курейшитами, а с их врагами.

Для хаввазин — большой конфедерации кочевых племён, союзных городу Таиф в шестидесяти милях к юго-западу — сдача Мекки лишь делала курейшитов сильнее прежнего. Поскольку сам Мухаммад — из курейша, они мыслили по-старому и решили, что он — новоиспечённый царь курейшитов. Таиф явно следующий на очереди, а ничем хорошим это не пахло. Всего десятью годами ранее, после смерти Абу Талиба, они отказали Мухаммаду в защите. Казалось неизбежным, что теперь он захочет отомстить.

Возглавляемые тридцатилетним харизматичным вождём по имени Малик, хаввазин решили опередить события. В знак решимости и уверенности тысячи воинов выступили по дороге на Мекку в сопровождении женщин и детей, а также скота — по некоторым сведениям, лишь верблюдов было сорок тысяч. С этим шагом

соглашались не все. Один престарелый воин, ослабевший настолько, что ехал в хаудахе, возражал, что они просто подвергают всех опасности, но самоуверенный Малик резко его одёрнул. Спустя считанные дни молодой вождь пожалел, что не прислушался. Он не добрался и до середины пути к Мекке. Мухаммад и объединённые силы мекканцев и мединцев встретили его войско у источника Хунайн, и последовавшая битва обернулась разгромом. Половина мужчин хаввазин была пленена вместе с большинством женщин, детей и скота; сам Малик с уцелевшими укрылся за стенами Таифа, где запер ворота и приготовился к осаде.

Победа оказалась с горчинкой. Среди пленников была одна пожилая женщина, которая всё твердила — к забаве стражи, — будто она родственница Мухаммада. Эта простая бедуинка? Очевидно, жалкая попытка вымолить снисхождение, думали они. Но когда её вместе с её родней привели к Мухаммаду, она обратилась прямо к нему: «О посланник Бога, — сказала она, — я Шайма, твоя кормилица-сестра, которая присматривала за тобой, когда ты был ребёнком у нас».

Неужели? Пятьдесят пять лет прошло с тех пор, как он в последний раз видел её. Он помнил, что её клан входил в конфедерацию хаввазин, но могла ли эта хрупкая седая женщина быть той подростком? «И где доказательство?» — спросил он. В ответ она закатала рукав и показала руку: «Вот шрам, что и ныне ношу, — сказала она, — от того укуса, когда я несла тебя на бедре к пастухам в Вади Сарар, а ты прикусил меня».

Это было правдой. Перед ним стояла старшая дочь его кормилицы Халимы — девочка, в чьих руках он извивался и сопротивлялся, когда она лишь пыталась уберечь его, — и теперь, после стольких лет, умоляла его о милосердии. Вот что приносят война и победа? Когда этому будет конец? Воспоминания детства нахлынули на новопризнанного главу государства, напоминая о необычайном пути, который он прошёл. Сдерживая слёзы, он ошеломил всех: расстелил свой плащ и пригласил Шайму сесть на него рядом. Она может жить с ним — в почёте и любви, — сказал он, или вернуться в родные места к своей семье, выбрав себе из пленённых верблюдов всё, что пожелает, в возмещение утрат. Будучи бедуинкой до мозга костей, она выбрала второе.

Остальные пленные хаввазин были обязаны Шайме своими жизнью и свободой, хотя тысячами верблюдов и прочим скотом пришлось пожертвовать: их Мухаммад теперь раздал как награды. По сотне верблюдов получили ведущие мекканцы — вроде Абу Суфьяна и его сына Муавии, по пятьдесят — вожди бедуинских племён, союзных Мекке, и так далее по нисходящей — «всем тем, чьи сердца следовало склонить». Если у кого-то ещё оставались сомнения, что верность Мухаммаду

выгодна его бывшим противникам, внушительность этих наград их развеяла. Где они ожидали подчинения, они неожиданно оказались в выигрыше — и тем охотнее приняли Мухаммада.

Мухаммад двинулся к Таифу, но вскоре решил, что время и политический расклад справятся с Маликом лучше, чем осада хорошо укрепленного города. После сдачи Мекки сопротивление Таифа теряло смысл. Так и вышло: десять месяцев спустя Малик признал это, когда Таиф формально принял власть Мухаммада.

Одно Малик угадал верно: захоти Мухаммад — мог бы провозгласить себя царём Мекки, да и всего Хиджаза. Его приветствовали, он принял присяги; он был сильнейшим человеком, какого только помнили живущие. Но, добившись всего этого, он не сделал ни одной из вещей, которых ждут от победителя. Он не построил мечеть у самой Каабы и не воздвиг дворца для двора. Он даже не объявил Мекку своей столицей. На самом деле он вовсе туда не переселился. Всего через два месяца после того, как четыре колонны вошли с ним в город, большинство этих людей вновь вышло из него и прошли за ним обратно — двести миль до Медины.

Похоже, это решение далось ему несладко. Если сердце принадлежало одному городу, то душа — другому; и трудно сказать, какой из них был чем. Мекка — город святыни Каабы, но Медина — город, давший ему убежище. Если Мекка — место рождения, то Медина — место, где он как бы родился заново. Его видение родилось в одном, а осуществилось — в другом. Казалось бы, выбрать невозможно.

Но Мухаммад ничем не выдал, что его хоть сколько-нибудь тянет остаться в Мекке — тем более сделать её центром управления. Он вернулся домой — и всё же не домой. Будто, завладев Меккой, он перестал быть «из Мекки» — будто, вернувшись, освободился от самой нужды возвращаться. Мекка всегда будет центром паломничества — и он подчеркнул это, вернувшись из Хунайна, чтобы совершить умру, малое паломничество почитания. Но затем, пробыв в городе всего пятнадцать ночей, он ушёл. Вернуться ему было суждено лишь однажды.

Некоторых мединцев раздражило, что громадные награды раздавались ведущим мекканцам, а не им, но теперь Мухаммад указал им: где мекканцы получили верблюдов, мединцы получают его самого. «Я намерен жить и умереть среди вас», — поклялся он им восемь лет назад, и, готовясь к обратному пути, он подтвердил клятву. «Если вы огорчены благами этой жизни, которыми я привлекаю людей к исламу, разве вас не устраивает, что другие заберут стада и табуны, а вы заберёте с собой посланника Бога?»

Хотя слово «фатх» позднее станут переводить как «победа», для Мухаммада это явно не было так. Для него это было действительно «открытие» Мекки — одновременно буквальное и фигуральное. Закрытые двери разделяют людей, отсекают тех, кто внутри, от тех, кто снаружи; открытые — приглашают, соединяют. Тем же движением, которым Мухаммад закрыл дверь в старую эпоху, он открыл дверь в новую. Он объединил Мекку и Медину так, что это выходило далеко за рамки географии. Это больше не было «или-или»: он вернулся в один дом — и теперь возвращался в другой.

Кто знает, чувствовал ли он, что дверь открыта к чему-то куда большему — и что совершится это не им, а теми, кто рядом? Но кто мог бы предугадать такое тогда? Ведь возвращение Мухаммада было не единственным в 630 году. В великой ближневосточной шахматной партии того времени его покорение Мекки могло казаться едва заметной отметкой на экране «радара».

Когда он в конце марта возвращался в Медину, куда как более значимое событие произошло в семистах милях к северу: византийский император Ираклий торжественно вернул в Иерусалим реликвии «Истинного креста». Для тех, кто знал о обеих новостях, было бы очевидно, какая важнее. Достижения Мухаммада выглядели бы бледной тенью подвигов Ираклия. Но история очень скоро перевернула эту оценку, заставив византийского императора играть вторую скрипку по сравнению с Мухаммадом.

Их пути последнего десятилетия развивались удивительно синхронно. В 620-м, когда Мухаммад впервые столкнулся с перспективой изгнания из Мекки, Ираклий тоже был на грани поражения — персы стояли у ворот Константинополя. Иерусалим уже был в руках персов, и центр христианского мира пребывал под осадой, страдая от голода. Ираклий был вынужден просить мира на унижительных условиях, затем покинул столицу — своего рода самоизгнание, почти столь же долгое, как и у Мухаммада. Но, как и Мухаммад, Ираклий обрёл силы в изгнании, перестроил армию и возобновил борьбу с персами.

Точно так же, как Мекка и Медина почти непрерывно сражались между 622 и 628 годами, так и Византия с Персией. В 627-м, когда Мухаммад отбил осаду Медины Абу Суфьяном в Битве Рва, Ираклий одержал неожиданную победу над персами при Ниневии, на севере нынешнего Ирака. Через три месяца его войско разорило дворец Хосрова в персидской столице Ктесифоне, близ будущего Багдада, спровоцировав убийство Хосрова собственным сыном. В то же время, когда Мухаммад и Абу Суфьян заключали Худайбийский договор, молодой Хосров просил мира у Ираклия — безуспешно. Император использовал преимущество,

быстро вытеснив персов из Египта, Сирии, Палестины и Анатолии и в августе 629-го триумфально вернувшись в Константинополь. Пока Мухаммад совершал умру в Мекке, Ираклий играл паломника в Иерусалиме, возвращая Истинный крест «на место».

Никаких признаков в византийских источниках, что Ираклий был даже в курсе событий в далёкой Аравии. И откуда бы ему знать? Сколько себя помнили, арабы играли в великой северной драме империй роль периферии. В византийских глазах они были провинциалами, незначительными в большой политике. Никто не ожидал, что это изменится — тем более так быстро.

Зато нет сомнений, что Мухаммад и его советники отлично знали, что происходит. «Римляне (византийцы) потерпели поражение в ближней земле, — комментировало одно из откровений по поводу временного верховенства персов, — но они обратят поражение в победу в считанные годы. Бог дарует победу, кому пожелает». Весть о входе Ираклия в Иерусалим стала подтверждением предсказания — а всего через девять лет появится иное понимание «кому пожелает», когда Омар войдёт во главе объединённого арабского войска в Иерусалим — в одном из самых мирных «завоеваний» в чересчур конфликтной истории этого города — и утвердит ислам как новую силу Ближнего Востока.

Для благочестивых мусульман стремительность арабских завоеваний — проявление воли Божьей. Даже современные историки порой в растерянности, прибегая к затёртым ориенталистским идеям вроде «родо-племенного импульса к завоеванию». На деле такие культурные допущения сомнительны и излишни. Политический анализ объясняет больше: хотя Ираклий довёл Персидскую империю до края гибели, долгая война оставила и его державу не в лучшем состоянии. Несмотря на показную благочестие в Иерусалиме, власть Византии над далёкими провинциями была как никогда шаткой — её разъедали яростные фракционные распри, прикрытые богословскими спорами. Две державы фактически измотали друг друга, создав в регионе огромный вакуум силы.

Любой вакуум силы требует заполнения — и для недавно объединённой под знаменем ислама Аравии время было идеальным. Если для византийцев и персов Аравия была почти *terra incognita*, то обратное никак. Ещё до рождения Мухаммада влиятельные мекканские купцы пустили корни в землях своей торговли: им принадлежали имения в Египте, дома в Дамаске, фермы в Палестине, финиковые сады в Ираке — у них был прямой интерес в этих землях. Крах прежней политической структуры был почти открытым приглашением новой силе войти и взять управление в свои руки.

К 634 году арабские силы стояли у ворот Дамаска. В 636-м они решительно разбили Ираклия при Ярмуке, юго-восточнее Галилейского моря. В 638-м нанесли подобный удар персам при Кадисии в южном Ираке. Год спустя Омар ввёл их в Иерусалим, а к 640-му они контролировали уже и Египет, и Анатолию. Менее чем через столетие после смерти Мухаммада мусульманская держава охватит почти всё наследие и Персии, и Византии — и больше — от Испании на западе до границ Индии на востоке, со столицей в новом городе Багдаде.

Легко поддаётся соблазну вообразить, что, стоя в Каабе в тот январский день 630 года, Мухаммад понимал: это начало момента в истории, который ждёт, чтобы его ухватили; что он предвидел — ранее незамеченный народ объединится во имя его и Бога и заявит новую идентичность, выйдя из кулис на мировую сцену. Но Коран постоянно напоминал ему: он лишь человек — к тому же уставший. Если он и чувствовал масштаб начатого, то относил это к воле Божьей, а не своей. Стоя в одиночестве во тьме святилища, ему, вероятно, хватало самого момента. И, может быть, надежды наконец найти покой. Но покоя не было.

Двадцатая глава

Теперь каждый миг жизни Мухаммада обретал особый смысл для окружающих. За каждым жестом следили, каждое слово и движение разбирали. Всё, что он говорил или делал — или что, как говорили, говорил и делал, — стало предметом острейшего общественного интереса. Как бы он ни настаивал на простоте и отсутствии показухи, вокруг него сложился эквивалент королевского двора. Писцы и поэты прославляли его, экономические и политические советники боролись за его внимание, привратники контролировали поток просителей. Даже среди ближайших друзей кипели интриги и обиды: все стремились к «первому кругу», желая отметить свою близость к центру силы. И к его растущему огорчению это касалось даже его жён.

Не то чтобы он сам когда-либо чувствовал себя комфортно в ситуации множества поздних браков и связанных с ними обязательств времени. Он тщательно чередовал ночи с каждой по очереди, но их крохотные комнатки, выстроенные рядом вдоль стены мечети, почти не давали приватности. Ещё до сдачи Мекки просители набивались в эти комнаты, умоляя ту или иную жену «замолвить словечко», иной раз даже отталкивая их в стремлении к его вниманию. «Откровение о занавесе» двумя годами ранее мало помогло. «Когда вы приглашены к посланнику — входите, а когда поели — расходитесь. Если просите у его жён чего-

нибудь — обращайтесь к ним из-за занавеса. Так чище и для ваших сердец, и для их», — велел голос Корана.

Речь шла именно о занавесе — куске муслина, перегородке в каждой комнатке, дававшей хоть каплю уединения. Это относилось только к жёнам Мухаммада — и нет ни единого исторического указания, будто он намеревался сделать из этого приказ любой женщине покрываться. Коран призывал к скромности обоих полов, но нигде не предписывал «покрывал» — и само слово «вуаль» вводит в заблуждение. То, что назовут «покрывалом», было на деле тонкой накидкой, и когда её стали использовать в исламе — десятилетия спустя после смерти Мухаммада — это во многом было делом статуса. Подобно тому как в древней Ассирии и Персии аристократки носили покрывала как знак отличия, так и женщины стремительно поднимавшейся исламской знати. Как дорогой маникюр или туфли Prada сегодня — это был публичный маркер: знак, что эти женщины — выше всякой «чёрной работы». У них были служанки, и они могли позволить себе демонстративно непрактичную одежду.

Здесь, конечно, горькая ирония: всю жизнь Мухаммад противился самой системе аристократии по рождению и богатству. Но задуманная им протодемократия выродилась в череду династий. Классовые различия росли — и вместе с ними, как в иудаизме и христианстве до того, — стремительно поднимавшаяся мужская клерикальная элита. Эти люди становились «привратниками веры», развивая принципы ислама (ислам — покорность) в институт Ислама — нередко проецируя собственный консерватизм на Коран. Созидая массив шариатского права, они пытались навязать «покрывало» всем женщинам, а затем довели идею до буквальности — в крайних формах, вроде бурки, оно стало почти саваном. Ни одна из жён Мухаммада, уж точно — не прямолинейная Аиша, не могла знать, что простой кусок муслина вырастет в такое. Она могла принять накидку как знак отличия, но «вуаль» как попытку размыть её присутствие и заставить молчать? Привыкшая к видимости молодая женщина и не помышляла стать невидимой.

Пока же ни занавесы, ни накидки — тем более вуали — не могли сдерживать напряжение между жёнами. Время супружеской близости стало столь ценным ресурсом, что им даже торговали: одна уступала «свою ночь» другой за услугу; вспыхивали яростные споры — кто любимица. Через несколько месяцев после его возвращения из Мекки разлад дошёл до предела — и он не выдержал. По сути он объявил забастовку против роли многожественного мужа и стал спать один — в маленькой кладовке на крыше мечети. Слух об этом разлетелся мгновенно — вместе с ним и молва, что он собирается развести всех девятерых.

Непосредственной причиной его раздражения была обида жён на рабыню по имени Мария — говорили, её прислал в дар коптский патриарх Александрии. Мухаммад взял её наложницей и поселил в доме на окраине Медины, вне поля зрения мечети и жён. Он стал всё чаще бывать там — очевидно, спасаясь от глаз общественности. Но как бы он ни старался быть осторожным, его привязанность к Марии стала предметом горячих сплетен — тем более, когда жёны, непривычно единогласно, публично выступили против того, сколько времени он проводит с ней.

Некоторые рассказы гласят, что у Марии родился от него сын, которого он назвал Ибрахимом, или Авраамом. Если это правда, это только усиливало обиду жён. Одна мысль, что рабыня подарила ему то, чего не сделала ни одна из них, была бы невыносима. Сын — естественный наследник — был единственным, чего так больно недоставало в жизни Мухаммада. Его существование ставил бы их положение под угрозу, вынуждая играть вторые роли рядом с наложницей.

И всё же странно: хотя никто из поздних жён не имел от него детей, именно эта девушка, названная в честь матери Иисуса, якобы родила. Символизм очевиден: сын Марии и Мухаммада, названный в честь человека, которого Коран чтит как первого ханифа, библейского монотеиста, — это звучало бы привлекательно для христиан всего Ближнего Востока. Но, вероятно, младенец родился не в действительности, а в благодушной фантазии мужского общества. Хотя Коран неоднократно утверждал, что дочери ценны не менее сыновей, рождение Ибрахима служило бы своего рода подтверждением мужской силы Мухаммада. Но и в таком случае это было бы жестоким утешением: как и единственный сын Хадиджи много лет назад, Ибрахим, по-видимому, умер в младенчестве — вскоре после покорения Мекки.

Была ли его уединённость вызвана горем по Ибрахиму или стремлением уйти от давления жён, требовавших отказаться от Марии, ночи на крыше мечети бросили Медину в панику. Так демонстративно отвернувшись от жён, он рисковал поколебать весь баланс новой уммы. Почти все его браки были союзами — то с ведущими советниками, вроде Абу Бакра и Омара, отцами Аиши и Хафсы, то с недавними врагами — вроде Абу Суфьяна, отца Умм Хабибы. Это были не те люди, чьих дочерей можно было обидеть без последствий — даже посланнику Бога.

Аиша снова плакала, пока, казалось, не лопнет печень. Даже обычно невозмутимая Умм Салама тихо плакала. Для воина вроде Омара, отца Хафсы, эти слёзы стали последней каплей. Брутально прямой, он ворвался в комнату к дочери. «Он развёл тебя?» — потребовал он.

«Не знаю, — ответила она несчастно. — Он заперся один в верхней комнатке».

Оставив её плакать, Омар вышел в мечеть — и обнаружил, что она полна плачущих мужчин. Разъярённый ещё сильнее, он взбежал на крышу, где муэдзин Билал стоял у двери кладовки. «Испроси мне разрешения войти», — приказал он, но Билал вернулся, качая головой: «Я объявил о тебе, но он не ответил». Омар мерил шагами двор, пока не выдержал и снова поднялся — и вновь Мухаммад промолчал. С третьей попытки Билал вышел и объявил: «Посланник примет тебя».

Натянутый до предела, Омар наклонился и вошёл через низкую дверь — Мухаммад лежал на боку на циновке. В комнате ничего, кроме куч невыделанных шкур: ни ковра, ни ложа, ни следа привычного комфорта. Последнее место, где ожидал бы увидеть главу растущего государства. Не то чтобы Омар тратил время на удивление, тем паче сочувствие: будучи человеком действия, он перешёл сразу к делу. «Ты отвернулся от своих жён?» — спросил он.

«Нет», — ответ последовал мгновенно. И, услышав его, Омар громко выкрикнул «Аллаху акбар» — «Бог велик». Мужчины внизу поняли смысл крика и подхватили его с облегчением: кризис миновал. «Но я не подойду к ним месяц», — тихо добавил Мухаммад, когда шум стих. И, как всегда, сдержал слово.

Ни ибн Исхак, ни ат-Табари не дают вразумительного объяснения, почему Мухаммад настоял на месяце одиночества — будто, отстраняясь от жён, он отстранялся и от требований мира, который создал. Скудное укрытие на крыше было мединским эквивалентом мекканской горы Хира: место созерцания, чтобы примириться с тем, чего он достиг, и тем, что впереди. Он должно был понять: в его жизни больше нет места для личной привязанности, а значит, отношения с Марией заканчиваются. Его жизнь уже не принадлежала ему — она принадлежала умме. И он наверняка чувствовал: осталось ей недолго — потому что, выйдя по истечении месяца, он разрешил ситуацию браков новым кораническим откровением, предвосхищавшим его смерть.

Его назовут «аятом выбора», ибо он предлагал жёнам варианты. «О посланник, скажи своим жёнам: “Если вы желаете жизни этой и её украшений, приходите — я обеспечу вас и отпущу с честью. Но если вы желаете Бога, Его посланника и будущего обиталища — рая, тогда Бог приготовил для вас великую награду”». То есть жёны были свободны выбрать развод — и Мухаммад позаботится, чтобы они были обеспечены, — либо свободно принять свою публичную роль со всеми её последствиями. И это тоже было оговорено: «Посланник ближе к верующим, чем они сами к себе, и его жёны — их матери. Вам не дозволено жениться на жёнах посланника после него — воистину, это тяжко пред Богом».

Если женщины решали остаться с ним — им предстояло принять роль, выходящую далеко за рамки обычного брака. Их связывали с новым тканью Аравии так туго, что они становились не просто его жёнами, а матерями всех верующих — «Матерями правоверных». Учитывая, что ни одна не родила ему ребёнка, это была удивительная формула. Она вводила идею самого Мухаммада как «отца верных», ставящего его в позицию родоначальника третьей мировой монотеистической веры. Если он не породил сыновей по крови, он породил их духовно — множество. В некотором смысле все верующие мужчины — его сыновья, а значит, им запрещено жениться на своих матерях. Жёны будут не только вдовами после его смерти, но и вдовами на всю жизнь.

Все девять выбрали остаться. Они стали, скажем так, весталками ислама — почитаемыми, уважаемыми и целомудренными. На личном уровне это звучит сурово для современного уха — особенно для Аиши и Хафсы, которым едва исполнилось по двадцать. Может, им не приходило в голову, что Мухаммад умрёт; а может, они искренне приняли жертву личного — ради политического. Но особенно для Аиши это была судьба ироничная, даже жестокая: ей предстояло всю жизнь быть «матерью для всех» — и вместе с тем тем же откровением ей было отказано в шансе когда-либо забеременеть и иметь собственного ребёнка.

При всём уважении к ним, большинство жён сыграло небольшую роль в формативных событиях ислама. Но можно сказать, что одна Аиша своей дерзостью сыграла за всех девятых. Через два десятилетия после смерти Мухаммада она взойдёт на красного верблюда и поведёт войско против его двоюродного брата и зятя Али, только что провозглашённого четвёртым халифом. Устрашающе выкрикивая боевые кличи изнутри бронированного хаудаха, даже когда её люди гибли буквально у её ног, она оставила неизгладимую картину — настолько, что сражение под Басрой в Южном Ираке назовут «Битвой Верблюда». К её хаудаху к концу прибоем вонзилось столько стрел, что он, говорили, «торчал иглами, словно дикобраз». Одна стрела пронзила броню и застряла в её плече — но её это не остановило, и лишь когда она сдалась, заметили рану. Как бы ни спорили о её политической мудрости, её мужество было неоспоримым.

Она вернулась в Мекку, не сломленная поражением. По-прежнему огненно откровенная, даже будучи оттеснённой после той битвы, она утвердилась как главная «Мать правоверных»: единственная, вышедшая замуж девственницей; единственная, кто мог поддразнивать Мухаммада и заставлять его улыбаться; самая юная, самая живая — и, как она настаивала, любимая. Пережив всех остальных вдов, она описала свою жизнь с ним — никто не остался спорить: по сути, она написала мемуары в форме тысяч хадисов — сообщений о поступках и

словах Мухаммада, которыми мусульмане руководствуются как примером и предметом размышления. Она придавала им живость образами, до сих пор щекочущими подростковое воображение — например, как свешивала пальцы ног над его лицом, чтобы подразнить, — слишком щекочущими для поздних клериков, и они сократили её вклад в свод хадисов с нескольких тысяч до нескольких сотен. Но пока она жила, немногие осмеливались её оспаривать. Даже в вынужденной тиши она внушала уважение.

Публичные требования к Мухаммаду росли с каждым днём. Некогда маргинальный пальмовый оазис Медина стал центром власти на сотни миль вокруг, с отростками до Бахрейна и Омана на восточном побережье, до границ византийских владений на севере и к югу — почти до всего Йемена. Представители бедуинских племён и независимых царств стекались нескончаемым потоком с дарами, спешили приносить клятву и оговаривать условия союзов. Это был «год делегаций», и каждую нужно было принять и почтить — требовалось личное участие Мухаммада.

Десятки делегаций прибыли, но особенно значимой была делегация Наджрана — на полпути между Меккой и побережьем Йемена. На крупной караванной развязке город уже более века был домом для крупнейшей в Аравии христианской общины. Если бы Наджран принял ислам, это стало бы важнейшим политическим сигналом — особенно на фоне видимого возрождения Византии на севере. Фактически его обращение задало бы тон для всего христианского Ближнего Востока.

Коран говорил с арабскими христианами мощно: пророческая роль Иисуса полностью признавалась, а о Марии в Коране будет сказано даже больше, чем в Евангелиях. Но в Наджране не было единодушия. Политически союз с Мухаммадом выглядел разумно — но как это совместить с богословием? Сторонники утверждали, что он — Утешитель (Параклет), о приходе которого предсказывал Иисус в Евангелии от Иоанна, что он воплощает Святого Духа, «второй Иисус». Противники говорили: Параклет должен иметь сыновей, у Мухаммада их нет — значит, это не он. Решив разрешить спор личным диспутом, делегация прибыла в Медину — только чтобы обнаружить: спор снят.

Вместо того чтобы встречать их окружённым обычной свитой, Мухаммад на этот раз отпустил помощников. Он принял христиан лишь с четырьмя членами своей ближайшей семьи: дочерью Фатимой, её мужем Али и их сыновьями Хасаном и Хусейном. Не говоря ни слова, он медленно и нарочито взял край своего плаща и широко расправил его над головами этой малой семьи. Это те, кого он укрывает под своим плащом, гласил жест. Это его самые близкие, «люди дома» — ахль аль-байт, Дом Мухаммада, его плоть и кровь.

Сознательно это было или инстинктивно — жест был вершиной театрального мастерства, эквивалентом безупречного «фото-момента» VII века. В арабо-христианской традиции говорилось, что Адаму было видение яркого света, окружённого четырьмя другими, и Бог сказал ему, что это — его пророческие потомки. В тот миг, когда делегаты из Наджрана увидели, как Мухаммад расправляет плащ над четырьмя членами своей семьи, им показалось, что видение Адама исполнилось. Пророческое послание, начавшееся с Адама и переданное через Авраама и Моисея, воплощённое в Иисусе, обрело завершение в человеке, которого Коран называет «печатью пророков». Они приняли ислам на месте.

Этот тщательно обставленный приём ясно показывает: Мухаммад остро понимал, как отягощён смыслом каждый его жест. Но это понимание должно было тяжесть прибавлять. Он начинал миссию в полной скромности — всего лишь посланником. И Коран ставил смирение самым высоким достоинством, неустанно предупреждая против гордыни. Но теперь всеобщее благоговение грозило перечеркнуть смирение. Как бы он ни делегировал полномочия, его откровения — слово Бога, и верующим оставался небольшой шаг к тому, чтобы всякое его слово — до междометия или случайной фразы — считать отражением воли Божьей. При всём настаивании Корана, что он лишь человек, клятву послушания ему приносили в одном дыхании с клятвой Богу.

Его общественная роль заполнила всё его бодрствование — а теперь и ночь, и день. Усталость виднелась в покрасневших глазах и всё более глубоких морщинах на лбу. Будто мало «головной боли власти», давние физические головные боли с Ухуда стали мигренозными — истощая и тело, и ум. Все ожидали его в Мекке на месяц хаджа — Зуль-Хиджа — но он не поехал, послав вместо себя Абу Бакра — возглавить паломников из Медины.

Ибн Исхак объясняет отсутствие так: Мухаммад объявил, что это — последний год, когда тому, кто не принял ислам, дозволено участвовать в хадже, и потому сам он не поедет, пока Мекка не будет свободна от язычества на время паломничества. Но довод вызывает вопросы. Язычники или нет — Мухаммад совершал малую умру год назад — и годом ранее. «Свободная от язычников» Мекка была не истинной проблемой. Скорее сказала усталость достигнутой революции. Или — нечто большее, чем усталость?

В течение этого года Аиша запомнила, как Мухаммад проводил ночи напролёт на кладбище Медины — стоя на страже у мёртвых. Их было уже так много. Среди простых камней, едва выше колена ребёнка, были могилы двух из его четырёх

дочерей, а также приёмного сына Зайда. Для отца пережить своих детей — тогда было не редкостью — но не менее болезненно, чем сейчас: словно перевёрнут порядок жизни и смерти.

Здесь же лежали многие из ранних сторонников: одни — от ран в бою, другие — от болезни, совсем немногие — от старости. «Мир вам, люди могил», — слышала Аиша. — «Счастливы вы — лучше вам, чем живым». Будто он жаждал присоединиться к ним, уйти от требований к себе и обрести покой.

Он так же зорко стоял у могил прежних противников — вроде ибн Убайя, главаря «лицемеров», умершего несколькими месяцами ранее. Омар вспоминал своё потрясение, увидев Мухаммада на погребении: «Я бросился к нему и сказал: “Ты будешь молиться над врагом Бога?” Но он улыбнулся: “Оставь меня, Омар. Мне дана возможность выбора — и я выбрал”. Затем он молился и шёл с телом ибн Убайя, пока его не опустили в могилу». Это было признание не только искренности ибн Убайя — возможно, и ценности человека, не боявшегося спорить с его решениями. Теперь таких не осталось.

Чем больше людей окружало его, тем явственнее Мухаммад ощущал одиночество. «Бог вселил в него любовь к уединению», — говорила Аиша, пытаясь объяснить, почему он предпочитал общество мёртвых обществу жён. Но даже посреди ночи подлинного одиночества не было. Хоть он и просил людей не следовать за ним на кладбище, они всё равно шли — и, хотя держались в стороне, он чувствовал их в темноте — они стояли на страже у него, пока он стоял на страже у других. Делали они это, несомненно, из заботы и любви, но бремя столького внимания лишь прибавляло усталости. Они, возможно, полагались на него больше, чем у него оставалось сил отдавать. Но как бы ни была велика его усталость, оставалось то, что он знал — ещё предстоит: последнее возвращение в Мекку — на хадж.

Двадцать первая глава

Как и любой шестидесятитрёхлетний человек — возраст, о котором тело напоминает так, как молодому и не представить, — Мухаммад, разумеется, знал, что не вечен. Отправляясь в то, что его сподвижники называли Паломничеством исполнения, он, казалось, чувствовал: совсем скоро его будут помнить как Последнее паломничество. «Не знаю, увижу ли я вас ещё в этом месте после этого года», — скажет он толпе, заполнившей в марте 632 года священный участок вокруг Каабы. Двухнедельный путь из Медины оказался изнурительным переходом, а пять дней самого хаджа — ещё более утомительными, тем более что все взгляды были устремлены на него. Но именно поэтому он знал: он должен завершить его, как бы

ни был велик физический износ. Это был единственный полный хадж, который он совершал как первый мусульманин, и как таковой он устанавливал исламские обряды паломничества. Каждое слово, каждая пауза, каждый жест закреплялись в коллективной памяти окончательно, а древняя традиция хаджа — обновлялась. Вместо того чтобы отвергнуть доисламские ритуалы, Мухаммад теперь официально включил их. Места молитвы, обход Каабы, жертвоприношения, обривание головы — всё это и многое другое было очищено и заново посвящено Богу его примером — последней демонстрацией его видения единства. Вбирая старое в новое, «обычаи отцов» — в складывающуюся религиозную традицию ислама, он соединял прошлое и настоящее, тем самым задавая образец будущему.

В эти пять дней он обращался к собравшимся паломникам несколько раз, и во многом коллективная память сходится. Не должно быть возмездия за кровопролития времён доисламской джахилии. В эту новую эпоху «знайте, что каждый верующий — брат верующего, и все верующие — братья». Никого нельзя принуждать к обращению, а христиан и иудеев особенно следует уважать: «Если они сами по доброй воле примут ислам, они в числе верующих, с теми же правами и обязанностями; но если они держатся своей традиции, их нельзя совращать с неё». И, быть может, всего ёмче — в той фразе, которую чаще других цитируют из этих дней, — Мухаммад говорит о себе в прошедшем времени: «Я оставил вам одну вещь, держась за которую вы никогда не сойдёте с пути: Коран, книгу Бога».

Для многих благочестивых мусульман этой фразы достаточно. Но существуют и другие её версии — и здесь коллективная память расходится. По этим версиям, Мухаммад сказал: «Я оставил вам две вещи», а не одну. Первой по-прежнему был Коран, а вот вторая остаётся предметом спора. Либо он сказал «Коран и сунну (примерную жизнь) своего пророка» — сунна, буквально «обычай» пророка. Либо он сказал «Коран и людей дома пророка» — *ахль аль-бейт*, своих кровных потомков по линии зятя Али и внуков Хасана и Хусейна.

И ибн Исхак, и ат-Табари цитируют людей, которые были там и клянутся, что собственными ушами слышали одну или другую версию. Но, как и с любимыми «показаниями очевидцев» сегодня, то, что они слышали, могло столь же сильно отражать их готовность услышать именно это, как и реальность сказанного. Вскоре станут утверждать, что альтернативные варианты одной фразы сходятся по сути, поскольку *ахль аль-бейт* воплощает сунну так же, как это делал сам Мухаммад. Но станут утверждать и обратное: раз он был «печатью пророков» — то есть последним и окончательным, — его пример уникален на все времена. Спор выльется в два тесно связанных, но очень разных принципа будущего устройства

ислама — и его обостряют расходящиеся толкования другого заявления, сделанного Мухаммадом всего неделей позже.

Когда хадж завершился, паломники, возвращавшиеся в Медину, остановились на ночлег у ключа, известного как Гадир Хумм, — «Пруд Хумма». Там их встретил Али, только что вернувшийся из Йемена, где он подавил последнее сопротивление Мухаммаду. Налоги и дань были уплачены, в воздухе витало ликование, и Мухаммад велел соорудить наспех помост: верблюжьи седла на сложенных пальмовых стволах. После вечерней молитвы он позвал Али подняться и стать рядом с ним. Высоко подняв руку зятя в своей, он почтил его особым благословением: «Кому я — *маула*, тому Али — *маула*. Да будет Бог другом тому, кто ему друг, и врагом тому, кто ему враг».

Для *shi'at* Али — «последователей Али», которые вскоре сократят своё имя до «шиитов», — смысл был ясен: Мухаммад назначил своего ближайшего родственника своим халифом, преемником. Значит, линия преемства пойдёт по крови Али — через его сыновей Хасана и Хусейна. Но для тех, кто со временем назовёт себя суннитами — по сунне, практике Мухаммада, — всё было далеко не так определённо. Если таково было намерение пророка, почему он просто не сказал об этом? Благословение в Гадир Хумме было, конечно, спонтанным проявлением любви к Али, и никто не сомневался ни в его близости к Мухаммаду, ни в его достоинствах. Но идея наследования по крови, утверждали они, противоречит принципам ислама, по которым все равны перед Богом.

Кроме того, слово «*маула*», как и многие слова арабского VII века, охватывает широкий спектр родственных значений. Оно может означать «господин», «лидер», «покровитель», «друг», «доверенное лицо» — и что именно, зависит от контекста, а контекст бесконечно спорен. Да и вторая часть формулы ничуть не конкретнее. «Да будет Бог другом тому, кто ему друг, и врагом тому, кто ему враг» (формула, сильно упрощённая позднее в политическом жаргоне до неверного «враг моего врага — мой друг») была обычной формой заключения союза или дружбы. В данных обстоятельствах она явно выделяла Али для особой чести, но означала ли назначение преемником Мухаммада — должно было, как и столько в этой истории, остаться делом веры, а не чёткой записи. Возможно, всё это не имело бы столь жгучего значения, если бы Мухаммаду не оставалось жить всего два месяца.

Болезнь началась всего через несколько недель после его возвращения в Медину. Сначала это казалось очередным мигренеподобным приступом, и все думали, что всё пройдёт через день-два, ну три. Но не прошло. Приступы уходили и возвращались — и каждый раз становились сильнее. Потом поднялась лихорадка,

и с ней головная боль усилилась, простреливая в затылок парализующими спазмами. По его настоянию жёны перенесли его в комнату Аиши, и там он лежал на приподнятой каменной лежанке, пока они по очереди ухаживали за ним.

Стоял конец мая, и жар раннего пустынного лета делал крошечную комнату душной даже для совершенно здорового. Но состояние Мухаммада стремительно ухудшалось: к лихорадке и страшной боли добавилась ослепительная чувствительность к свету и шуму. Со светом можно было справиться, повесив ковёр в дверном проёме, а вот тишины не сыщешь. Комната Аиши стала больничной — а на Ближнем Востоке, тогда как и теперь, больничная комната — место собраний. Родные, сподвижники, помощники, сторонники — все, кто претендовал на близость к центру силы, — шли непрерывным потоком, днём и ночью, со своими заботами, советами, вопросами. Даже будучи болен, Мухаммад не мог их игнорировать. Слишком многое зависело от него.

Жёны обматывали ему голову тряпицами, смоченными холодной водой, надеясь «вытянуть» жар и ослабить боль. Но если облегчение и было, то кратким. По мере ухудшения состояния женщины должны были понять: это не ни лихорадка, ни очередная мигрень, а недуг, известный на Ближнем Востоке с самых древних времен. «Головная боль бродит по пустыне, раздуваясь, как ветер, — говорится в древнем шумерском заклинании. — Сверкая, как молния, низвергается сверху и снизу. / Яркая, как звезда небесная, нисходит, как роса. / Встаёт враждебно на пути путника, обжигая его как день. / Этого человека поразила — и питается им, / Как грозовой ураган, связанный смертью». Это была не просто головная боль, а смертельная болезнь; по симптомам и длительности последних десяти дней недуга у Мухаммада картина классическая для бактериального менингита.

Невозможно точно знать, как он заразился. Некоторые его сподвижники подозревали, что всему виной ночные бдения на кладбище, к которым он вернулся после поездки в Мекку. Они вспомнят, как он обращался к мёртвым: «Мир вам, о люди могил!» — и обещал присоединиться к ним: «Бог позвал к себе ещё одного Своего раба, и вскоре он откликнется на зов». Несомненно, изнурение, усугублённое бременем управления, сделало его уязвимее к инфекции. Возможно, и травма головы, полученная при Ухуде: бактерии могут попасть в череп через микротрещину, воспалив оболочки мозга и спинного мозга — менингес. Даже сегодня менингит часто смертелен; что говорить о VII веке, когда антибиотиков и в помине не было.

И всё же — несмотря на явные слова Мухаммада во время хаджа, что жить ему осталось недолго; невзирая на ночное обещание присоединиться к мёртвым; даже

вопреки очевидному ухудшению — лишь на десятый, последний день болезни кто-то сумел вслух признать, что он умирает.

Снаружи, в дворе мечети, было не протолкнуться. Не желая расходиться даже спать, люди разбили там ночлег — всем хотелось быть там, где первыми услышат вести о состоянии Мухаммада. Казалось, что в его смерть просто невозможно поверить. Сейчас, когда почти вся Аравия объединена под его руководством? На заре того, что ощущалось как новая эпоха? Как может посланник Бога уйти именно сейчас, когда будущее кажется столь многообещающим?

Конечно, само их присутствие во дворе свидетельствовало: на каком-то уровне они понимали, что происходит. Но даже понимая, они отказывались верить, будто отрицание могло изменить реальность и Мухаммад не столь смертен, как они. Они ждали, а шум их молитв и тревоги складывался в непрерывный гул, пропитавший воздух в маленькой комнате Аиши.

С каждым днём, пока Мухаммад не появлялся, даже этот ровный гул тревоги стихал. Вся Медина будто поникла лицом к лицу с невыносимым. И парил в умах всех — но не звучал ни на чьих устах, ведь произнести было бы признать происходящее — один первостепенный вопрос: кто возьмёт на себя руководство? Али — двоюродный брат и зять, которого он возвысил в Гадир Хумме? Абу-Бакр — спутник, с которым он бежал из Мекки, вызывавший и любовь, и уважение? Суровый воин Омар, чей голос, отточенный полем, внушал повиновение? Кто мог претендовать на власть? Или, точнее, кто мог бы её осуществлять? Сейчас как никогда казалось необходимым, чтобы Мухаммад выразил волю ясно и прямо помазал преемника. Но он этого не сделал.

Почему? И чего же он хотел на самом деле? Эти вопросы будут преследовать ислам веками. Каждый будет утверждать, что знает мысли Мухаммада, имеет прозрение в его видение будущего ислама. Но при отсутствии ясного и недвусмысленного обозначения преемника никто не сможет доказать это сверх сомнения. За десять дней его болезни все пятеро мужчин, которым суждено стать первыми пятью халифами ислама, будут входить и выходить из его больничной комнаты: двое тестей — Абу-Бакр и Омар; двое зятьёв — Али и Усман; и шурин — Муавия. Но как это произойдёт и в каком порядке — останется источником разногласий.

Суннитские учёные будут говорить, что Мухаммад столь доверял доброй воле и порядочности своих помощников и сподвижников, что не мог решиться выбирать между ними — и вверил Богу, чтобы Он привёл их к верному решению. «Моя

община — умма — никогда не согласится на ошибку», — скажут они, что он заявил. Казалось бы, это решительное одобрение консенсуса — но на деле вышло наоборот. Фраза истолковывалась так: те, кто не согласен с большинством, «в ошибке»; их несогласие — доказательство, что они не истинная часть уммы. Шиитские учёные, напротив, утверждали: Мухаммад уже избрал Али своим преемником — и сделал бы это вновь, лежа в той маленькой комнатке у стены мечетного двора, если бы его воле не воспрепятствовали.

Разобщённости Мухаммад боялся больше всего — и она-то и была тем, чему он был бессилён помешать, когда болезнь вдохнула новую жизнь в накопившиеся вокруг него обиды и ревности. Пока жар пожирал его, он то погружался, то всплывал из потного забытья — всё ещё слыша споры, но не в силах их остановить. Ат-Табари рассказывает тревожный эпизод, случившийся на девятый день болезни: Мухаммад собрал силы и позвал Али, молившегося в мечети. Но за ним никто не пошёл. Аиша настаивала на своём отце: «Не желаешь ли увидеть Абу-Бакра?» Её соперница Хафса возразила, предложив своего: «Не желаешь ли увидеть Омара?» Утомлённый настойчивостью, он махнул в знак согласия. Позвали и Абу-Бакра, и Омара, а Али — нет.

Может показаться неприличным, даже бессердечным уговаривать больного сделать в их пользу, но кто мог винить этих молодых женщин за то, что они продвигали собственные интересы — и интересы своих отцов — против Али? Впереди их ждала пугающая доля пожизненных вдов, и они это знали. Каждый в тесной комнате заботился об умме — но каждый также тревожился о собственном положении. По законам политики, каждый убеждён: общее и личное благо совпадают — и это чувствовалось в том, что ат-Табари называет «эпизодом с пером и бумагой».

В присутствии Абу-Бакра и Омара состояние Мухаммада, казалось, чуть улучшилось — та обманчивая передышка, что порой предшествует концу. Он выглядел вполне ясным: приподнялся, пригубил воды и, по мнению многих, предпринял последнюю попытку сообщить волю. Но и она обросла неоднозначностью. «Принесите пишущие принадлежности, чтобы я продиктовал вам нечто, и тогда вы не впадёте в заблуждение», — сказал он.

Просьба звучит просто — да и вполне разумна при таких обстоятельствах, — но она вызвала почти панику в комнате. Что хотел он написать? Общие наставления, как им поступать? Религиозный совет общине, которую он покидал? Или — единственное, что и казалось должным, и страшило более всего: завещание.

Намеревается ли умирающий пророк, наконец, неопровержимо назвать преемника?

Единственный способ узнать — позвать писца. Но этого не случилось. Вместо этого стали спорить — вызывать ли его. Говорили, что это утомит Мухаммада, что ему нужно отдыхать, что в комнате быть тишине. И, настаивая на тишине, сами повышали голос.

Картина странная: было видно, что тот, кого они так любят, готов сообщить предсмертную волю — возможно, даже назвать преемника раз и навсегда. Это было единственное, что каждый хотел знать — и в то же время единственное, чего никто не хотел знать. Но сцена до боли человеческая. Все заботились, все старались защитить Мухаммада, не допустить приставаний других, облегчить ему жизнь — даже когда она уходила. Каждый старался изо всех сил — и делал это горячо — голоса росли, каждое сердитое слово и визгливая слогово-нотка словно пронзали уши больного, пока он не вынес этого. «Оставьте меня, — сказал он наконец. — Пусть в моём присутствии не будет пререканий».

Он был так слаб, что слова едва слышались шёпотом. Лишь Омар смог расслышать — но этого хватило. Пользуясь своей властной статью, он положил конец спору. «Посланник Бога изнурён болью, — сказал он. — У нас есть Коран, книга Бога, этого достаточно».

Но — недостаточно. Могло бы быть — и, возможно, должно было, — и слова Омара поныне цитируют как пример совершенной веры, — но не стало. Коран дополняют сунной — практикой Мухаммада, закреплённой в огромном корпусе хадисов, переданных теми, кто считал себя наиболее близким к нему, — и непрерывным накоплением правовых решений, образующих шариат. Пока же Омар восторжествовал. Слова произвели действие — и в комнате воцарилась несколько стыдливая тишина. Если Мухаммад и правда собирался назвать преемника, он оставил это слишком поздно. В лихорадке, ослеплённый мучительными спазмами, он уже не мог настоять на своей воле. Писец так и не пришёл; к рассвету следующего дня Мухаммад едва мог пошевелиться.

Теперь он признал: конец близок. Он сделал ещё одну просьбу — и эту исполнили: «Вымойте меня семью мехами воды из семи колодцев, чтобы я вышел к людям и наставил их». И хотя он этого не произнёс, все жёны наверняка понимали: это часть обряда омовения тела умершего. Когда всё было сделано, он попросил отнести его на утреннюю молитву в мечеть.

Его поддерживали двое — Али и его дядя Аббас. Несколько шагов по двору до самой мечети, должно быть, показались бесконечными, а тень мечети стала сладостным облегчением после слепящего утреннего солнца. Мухаммад жестом попросил усадить его рядом с кафедрой, где его старый друг Абу-Бакр встал, чтобы вести молитву вместо него. Те, кто там был, вспоминали: он улыбался, слушая. Говорили, его лицо сияло — кто знает, что это было: сияние веры или жар лихорадки и близкой смерти. Они смотрели, как он слушает распев слов, которые впервые услышал от ангела Джibriля, — и убеждали себя, что видят его не в последний раз. Он поправляется, силы возвращаются — всё будет хорошо. Но когда утренняя молитва закончилась и Али с Аббасом отнесли его обратно в комнату Аиши, ему оставались считанные часы.

Одни видели яснее других. «Клянусь Богом, я увидел смерть на лице пророка», — сказал Аббас Али, когда они уложили Мухаммада на лежанку и вышли из комнаты. Это был последний шанс добиться ясности о преемстве. «Вернёмся и спросим его. Если власть предназначена нам — узнаем; если другим — попросим наставить их, чтобы они обращались с нами хорошо».

Но Али не мог вынести мысли о том, чтобы оказать на Мухаммада ещё больше давления. Или, возможно, и он не был готов к слишком ясному ответу. «Клянусь Богом, нет, — сказал он. — Если её удержат от нас сейчас — после него нам её не дадут».

Не то чтобы это помогло. Пока двое говорили, Мухаммад утратил сознание — и больше не пришёл в себя. К полудню того понедельника, 8 июня 632 года, он умер.

«Он умер, — скажет Аиша, — положив голову у меня на груди», — или, как с изысканной точностью в оригинале арабского: «между моими лёгкими и моими губами». Она держала его — и, внезапно почувствовав, как тяжела стала его голова, опустила взгляд — и увидела пустое остекление смерти в глазах. Её рассказ станет частью суннитской традиции, но останется оспоренным: шиитская традиция утверждает, что, когда он умер, голова Мухаммада лежала не на груди Аиши, а на руках Али.

Кому было суждено держать умирающего пророка, имело значение. Какие уши слышали последний выдох, какие руки он коснулся, чьи объятья поддерживали — всё это обретало особую остроту, будто дух его вырвался из тела в тот самый миг, чтобы войти в душу того, кто держал. Это была ли Аиша — дочь человека, которому суждено стать первым халифом, — или Али — тот, кто, по убеждению многих, и должен был быть первым? Что бы ни было, — слов не требовалось, чтобы разнести

весть. Это сделал вой. Каждая из жён разразилась страшным, пронзительным воплем, как будто раненное животное прячется в кустах умирать. Он говорил о крайней муке, о боли и скорби за пределом понимания — и прокатился по оазису со скоростью звука. Мужчины и женщины, стар и млад — все подхватили вой и отдались ему.

«Мы были как овцы в дождливую ночь, мечущиеся туда-сюда в панике», — вспомнит один из них. Овцы, то есть, без пастуха и без убежища. Они были не только по ушедшему — но и по себе: без него они остались без вождя. Как такое возможно? Разве не видели они его только что в мечети, с сияющим лицом, пока они преклоняли колени, склоняли головы, отвечали на молитву? Это слишком ужасно, чтобы мыслить, слишком страшно, чтобы принять.

Даже Омар — самый суровый из воинов — не смог это постигнуть. Тот, кто ещё вчера утверждал, что им достаточно Корана, оказался столь же неспособен, как и толпа, принять торжество смерти. Прежде чем кто-то успел его остановить, он поднялся во дворе мечети и воскликнул, что это не так. Проклятие тем, кто позволяет себе такую мысль! «Клянусь Богом, Мухаммад не умер, — настаивал он. — Он ушёл к своему Господу, как Муса ушёл и был скрыт от своего народа сорок дней, и вернулся после того, как говорили, будто умер. Клянусь Богом, посланник вернётся, как вернулся Муса, и отрубит руки и ноги всем, кто утверждает, что он умер!»

Но если он и хотел успокоить толпу, вид столь мужественного человека, впавшего в истерическое отрицание, лишь усилил панику. И тут рядом с ним появился небольшой, сутулый силуэт Абу-Бакра. «Тише, Омар, тише, — сказал он, — успокойся», — и взял исполина за руку, медленно отведя его в сторону.

Все взгляды обратились к Абу-Бакру, когда он занял место Омара перед перепуганной толпой. Голос его был удивительно крепким — совсем не таким, какого ждёшь от столь хрупкого тела, — когда он прочитал кораническое откровение, ниспосланное после того, как верующие обратились в бегство при Ухуде, уверившись, что Мухаммад убит: «Мухаммад — не более, чем посланник. Неужели, если он умрёт или будет убит, вы обратитесь вспять?»

А затем он добавил то, чего все так боялись — и что, в то же время, было нужнее всего: «Те, кто поклонялся Мухаммаду, — Мухаммад умер. Те, кто поклоняется Богу, — Бог жив, бессмертен».

Повисла ошеломлённая тишина — слова осели — и тогда отреагировал Омар. «Клянусь Богом, — вспоминал он, — когда я услышал слова Абу-Бакра, я был так поражён, что ноги не держали, и я рухнул на землю, зная, что пророк умер». Трезвая ясность старшего смирила грозного исполина, обратив его в плачущего ребёнка. И с подтверждением смертности начались ритуалы скорби. Мужчины и женщины поровну — обеими ладонями — шлёпали себя по лицам; колотили кулаками по грудям, отчего тело отзывалось, как полое дерево; скребли ногтями лбы, пока кровь не текла в глаза и слёзы не становились красными. Они хватали пригоршни пыли и сыпали на волосы, валялись в отчаянии весь день, до вечера и всю ночь.

Похороны оказались на удивление скрытными — глубокая ночь, с такой будничностью, что это почти шокирует на фоне будущих великолепной гробницы и священных пределов. Али и трое его родственников заняли комнату Аиши и принялись за дело ближайших мужчин-родичей. Они готовили Мухаммада к земле: омывали, натирали травами, обёртывали в саван, сидели в молитве рядом с телом. Но другие думали наперёд. Без назначенного наследника «потерянным овцам» предстояло выбрать одного из своих вождем. Если Али надеялся, что это будет он, — надежда оказалась тщетной. Пока масса верующих горевала во дворе мечети, вожди мединских кланов собрались с остальными старшими помощниками Мухаммада на шуре — традиционном совете старейшин, — чтобы решить, кто станет преемником.

Шура длилась всю ночь на понедельник и далеко в следующий день. Каждому клановому и племенному старшине, каждому аксакалу полагалось сказать своё слово — и обстоятельно. Успех зависел от консенсуса — высокий идеал, но на деле означавший: собрание продолжится, пока несогласные не будут либо убеждены, либо просто утомлены и подавлены идти за большинством.

Али мог бы казаться естественным кандидатом по близости к Мухаммаду — но именно эта близость и сыграла против него. Говорили: избрать его как ближайшего родственника — риск превратить руководство уммой в наследственную монархию, что противно всему, за что стоял Мухаммад. Потому-то, утверждали они, он никогда и не объявлял наследника: он верил в способность своего народа решать самому, в святость решения всей общины — или, по крайней мере, её представителей.

Это был довод в пользу демократии — как бы ограниченно она ни понималась. И, как история любит, — довод против того, что случится уже через полвека, когда сын Абу-Суфьяна, Муавия, создаст первый суннитский дом в Дамаске, передав трон старшему сыну. На деле это был довод против всех последующих династий столетий: халифатов, шахств, султанатов, княжеств, королевств, президентий. И

хотя он победил сразу после смерти Мухаммада, ему суждено было спать ещё тринадцать веков.

Дядя Али, Аббас, убеждал его оставить бдение у тела и предлагал сменить его, пока молодой человек заявит свои права на шуре. Но, как и тогда, когда Аббас уговаривал его добиваться ясности в последние часы Мухаммада, Али отказался. Оставить человека, который был ему отцом и наставником, прежде чем вернуть его земле, из которой он вышел? Нет. Он остался у тела, и когда во вторник стемнело, пришла весть: шура достигла согласия. Первым халифом станет не Али, а Абу-Бакр.

К этому времени прошли уже сутки с половиной с того момента, как Мухаммад испустил дух, и по вполне понятным причинам в июньскую жару вопрос захоронения стал неотложным. Обычай велел хоронить в сутки, но пока все племенные и клановые вожди заседали на шуре, Али и Аббас не видели иного выхода, как ждать. Теперь, когда власть перешла к Абу-Бакру, всё было иначе. Раз Абу-Бакр наверняка обратит похороны Мухаммада в сцену утверждения собственной избранности, Али лишит его этой возможности.

Глубокой ночью, в ранние часы среды, Аиша проснулась от скрежещущих звуков, звучавших по всему двору мечети. Поскольку тело Мухаммада находилось у неё, она перебралась к супруге Хафсе — всего в нескольких дверях. Погружённая в горе, она не поднялась посмотреть. Если бы поднялась, узнала бы: её разбудил стальной лом, врывающийся в каменистую почву. Кирками и лопатами Али и его родичи копали могилу Мухаммаду. И копали её — в комнате Аиши.

«Пророк должен быть похоронен там, где умер», — скажут позже: так, якобы, говорил Мухаммад. Раз он умер на лежанке в этой комнате, здесь и должен быть погребён. Они выкопали могилу у ног лежанки, и когда яма стала достаточной, приподняли настил с завернутым телом, соскользнули с ним в землю так, чтобы он был обращён к Мекке, словно в молитве, — затем быстро засыпали и положили простой каменный плит.

Не было ни помпы, ни церемониала, ни массóвой процессии, ни толп скорбящих, ни панегириков. Мухаммад был похоронен в мёртвую тишину ночи — так же тихо и неприметно, как родился — и хочется думать, что именно так он бы и пожелал. Войдя в могилу, он снова стал просто человеком, свободным от неусыпного всеобщего внимания, окружавшего его. Мир и покой, которых он так искал, наконец стали его. Он, наконец, обрёл их.

